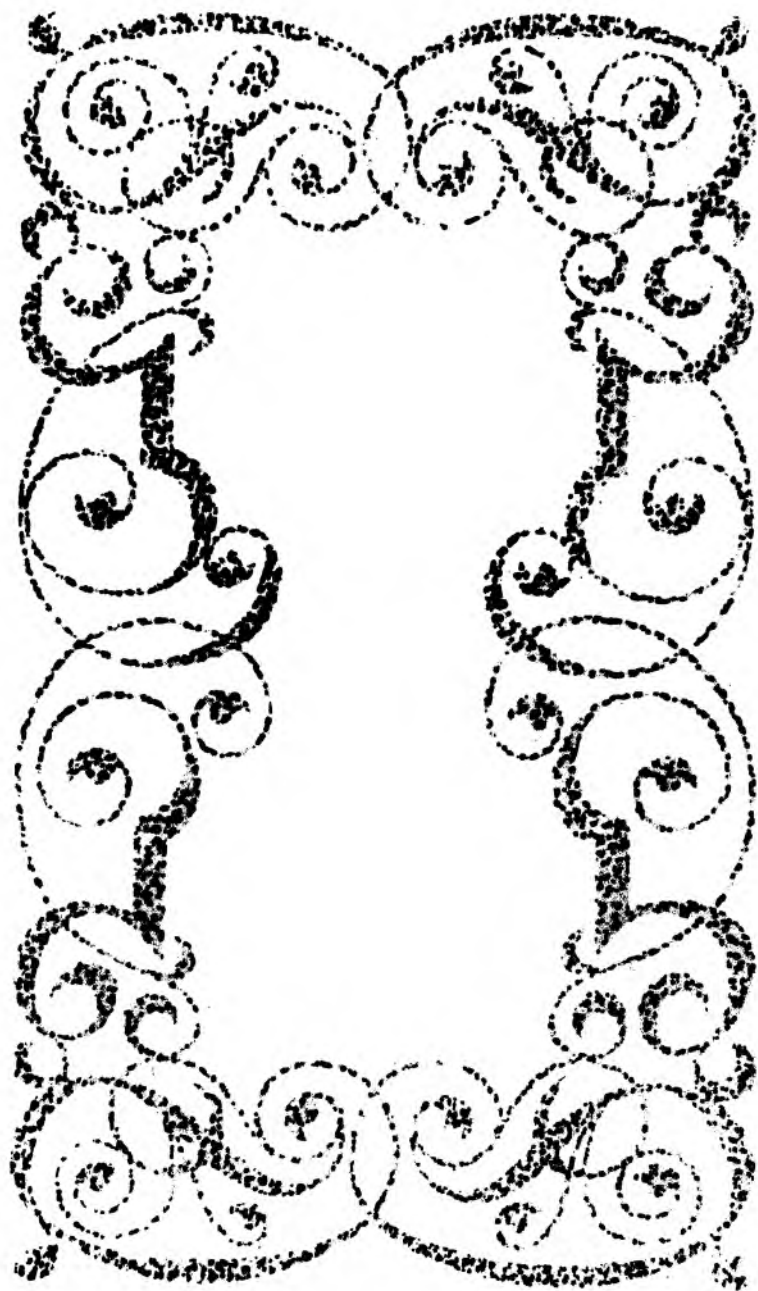




АНДРЕ
МОРУА

— IS —
*Собрание сочинений
в шести томах*

5
ТОМ



АНДРЕ МОРҪА



АНДРЕ МОРУА



Собрание сочинений
в шести томах

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

1992

АНДРЕ МОРУА



Собрание сочинений
том пятый

ОЛИМПИО,
ИЛИ ЖИЗНЬ
ВИКТОРА
ГЮГО
ЧАСТИ I-VII

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

1992

84.4 Фр
М 79

Перевод с французского

Составление
и общая редакция
Мориса Ваксмахера

М $\frac{4703010101-2710}{080(02)-92}$ 2710-92

ISBN 5-253-00564-1

© Ваксмахер М.
Составление. 1992.



ОЛИМПИО,
ИЛИ ЖИЗНЬ
ВИКТОРА
ГЮГО
ЧАСТИ I-VII

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Почему Гюго? Мне нечего искать заступников. К Жорж Санд меня привели Марсель Пруст и Ален, но я не помню такого времени, когда бы меня не восхищал Виктор Гюго. Я еще не знал грамоты, но уже с волнением слушал, как мать читала нам «Бедных людей», в пятнадцать лет я был потрясен, прочитав «Отверженных»; всю жизнь я открывал новые стороны его гения. Как и многие читатели, я лишь постепенно постиг красоту его больших философских поэм. И наконец, я прочел и полюбил последние стихи старого Орфея и нашел в сборниках «Все струны лиры», «Мрачные годы» и «Последний сноп» прежде неведомые мне шедевры.

Почему Гюго? Да потому, что он самый большой французский поэт и необходимо узнать его жизнь, чтобы понять противоречивую натуру этого гениального художника. Как этот осторожный, бережливый человек был вместе с тем щедрым; как этот целомудренный юноша, этот примерный отец семейства стал на склоне лет старым фавном; как этот легитимист превратился в бонапартиста, а затем в патриарха Республики; как этот пацифист лучше всех воспел знамена Ваграма; как этот буржуа предстал в глазах буржуа мятежником, — все это должен объяснить каждый биограф Виктора Гюго. За последние годы прояснился ряд обстоятельств его жизни, было опубликовано много писем и записных книжек; я задумал обобщить разрозненные документы и попытался добиться, чтобы из них возник облик человека.

В моей книге содержится множество неизданных текстов (письма Гюго к госпоже Биар, к его снохе Алисе, к его внукам, к графу Сальванди, к полковнику Шарра, письма Адели Гюго к Теофилю Готье и письма к ней Огюста Вакери, выдержки из записных книжек Сент-Бёва, письма Эмиля Дешана к Виктору Гюго, Леопольдины Гюго к отцу, Джеймса Прадье к Жюльетте Друэ — и так далее), но привлечение новых материалов не было главной моей целью. Я отказался ввести

в свою книгу многие письма, сами по себе интересные, но не прибавляющие ничего существенного. Надо остерегаться, как бы не похоронить своего героя под грудой свидетельств. Я не хотел также отяжелять рассказ исследованиями поэтики Гюго, его религиозных убеждений, истоков его творчества — все это уже сделано другими, и сделано хорошо. Словом, я описывал жизнь Виктора Гюго, не больше и не меньше, стараясь не забывать того, что в жизни поэта творчество занимает столько же места, как и внешние события.

Я многим обязан исследованиям и комментариям тех людей, которые сейчас лучше всех знают Виктора Гюго, — Раймону Эшолье, Анри Гиймену, Дени Сорэ. Когда я собирал материалы в Доме Виктора Гюго, хранитель музея Жан Сержан и его помощница Мадлен Дюбуа руководили моими поисками в их великолепных коллекциях; в каталогах их выставок я почерпнул новые и очень полезные сведения. Мои друзья в Национальной библиотеке — Жюльен Кэн, Жан Порше, Жак Сюффль, Марсель Томà, Жан Прине — предоставили в мое распоряжение рукописи, записные книжки и бумаги Виктора Гюго. Жан Помье любезно разрешил мне опубликовать отрывки из посмертной статьи Сент-Бёва, находящейся в собрании Шпельбера де Лованжуля, а Марсель Бутерон разрешил мне воспользоваться материалами из пятого (еще не изданного) тома писем Бальзака к Чужестранке.

Щедро снабдили меня документацией госпожа Андре Гаво (урожденная Лефевр-Вакери), госпожа Люсьенна Дельфорж и господи Жорж Блезе, Альфред Дюпон, Жан Монтаржи. Филипп Эриа, Франсис Амбриер, Габриель Фор. Пьер де Лакретель, чья мать была подругой Алисы Гюго-Локруа, охотно рассказал мне то, что он знал о среде, в которой Виктор Гюго провел последние годы своей жизни. Наконец, моя жена, с обычной своей добросовестностью, собрала для меня драгоценную переписку. Без нее мне бы не справиться с задуманной мною работой, самой обширной и самой трудной из всех, какие я предпринимал до сих пор. Что касается меня, то я приложил все усилия к тому, чтобы, не погрешив ни против благоговейного своего отношения к великому поэту, ни против правды, последовательно рассказать все то, что при нынешнем состоянии исследований известно о его жизни.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ВОЛШЕБНЫЕ ФОНТАНЫ

Глава первая
ПО КРОВИ ОН СЫН ЛОТАРИНГИИ И БРЕТАНИ..

О память! Слабый свет среди теней!
Заоблачная даль тех давних дум!
Прошедшего чуть различимый шум!
Сокровище за горизонтом дней!

*Виктор Гюго*¹

Около 1770 года в Нанси жил мастер ремесленного столярного цеха Жозеф Гюго, пользовавшийся привилегией покупать для своих поделок лес, сплавляемый по Мозелю, имевший, кроме мастерской, несколько небольших домов в городе. Он был человек суровый, с крутым характером. Отец его пахал землю в Бодрикуре, «по соседству с лотарингскими лугами, где родились Жанна д'Арк и Клод Желе». В молодости он служил в легкой кавалерии в чине корнета, то есть аджюдана. Променив плуг на саблю, он затем расстался с саблей ради рубанка: фамилия Гюго немецкого происхождения, довольно часто встречающаяся в Лотарингии. В XVI веке некий Жорж Гюго состоял капитаном гвардии и получил дворянское звание; некий Луи Гюго был аббатом в Эстивале, а затем епископом Птолемаидским. Состоял ли столяр Гюго в родстве с епископом? Никто этого не знал, но дети столяра охотно уверовали в это и рассказывали, что Франсуаза Гюго, графиня де Графиньи в письмах к их отцу называла его «брат мой». Жозеф Гюго имел от первой жены, урожденной Дьедонне Беше, семь дочерей, а от второй — Жанны-Мargarиты Ми-

¹ Виктор Гюго. Однажды вечером, когда я смотрел на небо... («Созерцания»). Здесь и далее, кроме случаев, специально оговоренных, стихи даются в переводе Н. Горской.

шо — пять сыновей, и все пошли добровольцами в армию Революции. Двое из них погибли под Висамбуром, а трое уцелевших стали офицерами. После падения монархии военная карьера стала новой формой перехода из одного класса в другой, а членов семейства Гюго, казалось, инстинктивно тянуло к военному поприщу.

Третий сын — Жозеф-Леопольд-Сигисбер Гюго — родился в Нанси 15 ноября 1773 года. Густая пышная шевелюра и низкий лоб, глаза навывкате, толстые чувственные губы и слишком яркий румянец — все это придавало бы вульгарность его внешности, но выражение доброты, глаза, блестящие умом, и очень ласковая улыбка делали его обаятельным. Образование он получил у каноников нансийского капитула, но рано прервал учение, так как в возрасте пятнадцати лет пошел волонтером в армию. Он знал латынь, математику, довольно хорошо писал в стиле своего века, и не только военные рапорты, но и мадригалы, песенки, письма в духе Руссо, а позднее — причудливые романы, полные всяких ужасов и катастроф. Человек веселый, приятный собеседник, он был, однако, подвержен приступам мрачного настроения и тогда воображал, что его преследуют враги. В 1792 году, будучи капитаном Рейнской армии, он познакомился с Клебером — в ту пору командиром батальона, с лейтенантом Дезексом и генералом Александром Богарне, первым мужем будущей императрицы Жозефины. Солдаты любили капитана Гюго, находили, что он славный малый, хоть и вспыльчивый, но отходчивый и, в сущности, при всей своей телесной мощи, человек мягкий, правда, блиставший отвагой в сражениях.

Он действительно отличался храбростью, несколько раз был ранен, под ним в боях были убиты две лошади. В 1793 году его послали на подавление Вандейского восстания и назначили старшим адъютантом его лучшего друга Мюскара, командовавшего батальоном. Гюго было тогда двадцать лет, а Мюскар — тридцать четыре. Мюскар был офицер кадровый, выслужился из солдат, по национальности баск. В 1791 году, прослужив в королевской армии семнадцать лет, он имел только чин старшего сержанта. Революция и война дали ему наконец возможность выдвинуться. У него имелись данные, необходимые в смутные времена для того, чтобы стать военным трибуном: высокий рост, зычный голос, красноречие, прямота и, разумеется, отвага. За шесть месяцев

кампании он получил три повышения в чине. В 1793 году 8-й батальон Нижнерейнской армии избрал его своим командиром.

Мюскар и Гюго были созданы для взаимного понимания. Оба крепко верили в принципы 1789 года, были жизнерадостны, свободомыслящи, отличались пылкостью и честностью. Как это бывает во всех гражданских войнах, война, которую Конвент предписал им вести в Вандее, была жестокой. Какие приказы они получили? Сжигать одиноко стоящие дома и, главное, замки, уничтожать все сельские пекарни и мельницы, превратить мятежный край в пустыню. Упорный, неуловимый враг, скрывавшийся то в перелесках, то за живыми изгородями, то в канавах, то в оврагах, непрестанно тревожил республиканцев, и они нервничали. И синие, и белые расстреливали пленных. Леопольд Гюго, который был всем обязан Революции, разделяя ее страсти; он даже подписывался *санкюлот Брут Гюго*, но сердце его оставалось человеческим, и «разбойники Шаретта» скоро узнали, что этот синий не лишен чувства жалости. Быть может, благодаря своей репутации человека великодушного республиканский офицер Леопольд Гюго и встретил довольно благожелательный прием у бретонки Софи Требюше, на старинной ферме, почти что замке, Ренодьере в кантоне Пти-Оверне, когда он попросил там приютить на час его измученных солдат.

Юная и стройная, миниатюрная девушка-бретонка с большими карими глазами, энергичным и даже надменным личиком, с прямой линией носа, как у античных греческих статуй, «могла похвастаться крепким здоровьем, великолепным цветом лица, радовала взгляд своим решительным и задорным видом. В легкой ее поступи, в гармоничных движениях было что-то изящное и вместе с тем сельское...» Отец ее, имевший еще двух дочерей, был капитаном корабля, приписанного к Нанту, торговал неграми, ее дед по матери, господин Ленорман дю Бюиссон, занимал пост прокурора в гражданском и уголовном суде Нантского судебного округа. Семейство Требюше и Ленорманы при монархии были, «как все», монархистами. Буря Революции их разделила. У Софи Требюше одни родственники стали белыми, а другие — синими; ее дед — Ленорман дю Бюиссон, — судейский чиновник по своему положению и сутяга по призванию, согласился стать членом Революционного

трибунала в Нанте, что не вызывало уважения у его внучки, возмущавшейся крайностями террора.

Софи Требюше, осиротевшую в детстве, воспитала ее тетка, госпожа Робен, вдова нотариуса, — особа решительная, роялистка и вольтерьянка, привившая свои взгляды и девочке. Госпоже Робен было шестьдесят лет, когда ей в 1784 году доверили воспитание племянницы. В 1789 году она благожелательно смотрела на созыв Генеральных штатов, но в 1793 году, напуганная жестокостями, имевшими место в Нанте, и казнями уважаемых ею людей, она решила укрыться вместе с племянницей в маленьком городке Шатобриане, где у них были родственники. Близ него, в самой середине края, охваченного восстанием, находилось поместье Ренодьера, уже два столетия принадлежавшее семейству Требюше.

Как все девушки, выросшие без матери, Софи Требюше обладала характером решительным и независимым, вдобавок она не верила в Бога, была добра и великодушна; она смело скакала верхом на лошади в окрестностях Шатобриана по дорогам с высокими откосами; защитой ей служило свидетельство о благонадежности, выданное девице Требюше, несомненно благодаря старику Ленорману, якобинцем Карье, ужасным проконсулом Нанта, и она пользовалась этим талисманом для того, чтобы спасти священников, не присягнувших новому уложению о духовенстве, или устраивать побеги шуанам.

Ведь она тоже стала «горячей вандейкой, питавшей ужас перед деспотизмом Конвента». По правде сказать, обеим этим женщинам, укrywшимся в Шатобриане, оставалось только выбирать между двумя видами террора — террором якобинских солдат и террором «разбойников», то есть шуанов. Красный террор или белый террор. Поэтому Софи предпочитала маленькому городу, раздираемому ненавистью, свой простой дом на ферме Ренодьере. Ей нравилось ходить в сабо, работать в саду. В Пти-Оверне «мужики» еще называли ее «наша барышня», как в старые времена. Эта независимая амазонка, немало гордившаяся своими родственными связями с окрестным мелким дворянством, стойкая душа, всегда занятая цветами, погруженная в грезы, видевшая себя в смутных мечтах невестой некоего героя, с каждым днем все больше привязывалась к таинственному краю, где она поселилась.

Маленькая армия синих, голодная, измученная, доведенная до отчаяния ненавистью, которая ее окружала, в отместку грабила и убивала мятежников. Бравый Мюскар — прекрасный человек, отнюдь не отличавшийся кровожадностью, говорил со вздохом: «Прискорбно командовать войсками, когда они позорят своих начальников». Тем не менее он проклинал «всех фурий, вероломных негодяев, мегер», которые поддерживали отношения с шуанами и помогали им устраивать засады на патриотов. Софи Требюше принадлежала к этой категории вандейцев и разделяла их злобные чувства, тем более что в Ренодьере синие однажды дали волю «кровоавому разгулу и разврату».

И все же, когда в один прекрасный летний день 1796 года она, возвращаясь с верховой прогулки в Шатобриан, встретила на дороге веселого капитана Гюго, который «прочесывал» перелески в поисках «разбойников-шуанов», у нее нашлось достаточно причин быть с ним любезной. Во-первых, молодой офицер не нес ответственности за происходившую резню. Она слышала, что он имеет влияние на Мюскара, и притом влияние благотворное. А главное, подошедший крестьянин только что сообщил «своей барышне»: «Синие нагрнули. А тут совсем близко наши священники. Займите остолопов». Она принялась (и очень успешно) кокетничать, тотчас согласилась принять капитана Гюго с его солдатами и увела отряд в Ренодьеру.

Подали фрукты и прохладительные напитки. Начался разговор. Молодой капитан произвел впечатление. Он имел некоторое образование, мог цитировать Тита Ливия и Тацита, декламировать стихи Вольтера, элегии Парни, сам сочинял мадригалы и акrostихи «в таком стиле, какой приятен красоткам». Кроме того, он отличался грубоватой, но заразительной жизнерадостностью, всегда готов был и петь, и сражаться. Мюскар сочинил в его адрес следующую шутовскую эпитафию:

Здесь спит краса и гордость батальона;
От смеха умер он и умирал, смеясь,
За мрачным Стиксом рассмешил Плутона,
И мертвые теперь признали смеха власть.

Завязать добрые отношения с могущественным в краю офицером было на руку барышне Требюше, и она еще раз встретила с ним. Она с любопытством наблюдала за этим двадцатитрехлетним капитаном с чувственным ртом и ласковыми глазами. А его самого, хоть он и

возил за собою в походах, по примеру своих начальников, доступную девицу, «пышногрудую, но скудоумную», Луизу Буэн, именовавшую себя «женою Гюго», хоть он и хвастался, довольно грубо, своими любовными победами,— его привлекала молодая бретонка, обладавшая мужским умом и мужской храбростью. С ее стороны было искусным политическим ходом пригласить Гюго и Мюскара к тетушке Робен. Двери большинства домов в Шатобриане были закрыты перед офицерами Республики. Тем более их тронуло радушное приглашение. Мадемуазель Требюше блистала умом и такой свежестью, что казалась прелестной. Вскоре оба офицера называли ее запросто — «Софи», а госпожу Робен — «тетушка». Со своей стороны, Софи, испанская душа, заинтересовалась молодым капитаном. Он спасал женщин, заложников, детей. Ей приятно было совершать с ним верховые прогулки по дорогам Бокажа, идущим меж высоких откосов, и в беседах храбро доказывать ему, что война против шуанов несправедлива. Гюго горячо защищал Республику, но восхищался твердым характером очаровательной девушки и гордился тем, что не посягает на ее честь, а она гордилась, что так смело говорит с противником.

Недолго длилась эта странная идиллия. Мюскар поссорился со своим генералом и из 8-го батальона Нижнерейнской армии был отозван Директорией в Париж. Санкюлот Брут Гюго грустил, расставаясь с юной бретонкой. Тетушка Робен тоже жалела об этой разлуке. Она была в достаточной мере философом, чтобы принять новые времена, и не стала бы противиться браку своей племянницы с офицером республиканской армии. Но Софи, мнение которой она постаралась выпытать, заявила, что «брак несколько ее не привлекает». Она уехала в Ренодьеру возделывать свой сад. Однако Гюго и в Париже не забывал «маленькую Софи из Шатобриана» и продолжал писать ей письма, хотя и держал при себе для временного сожительства пышногрудую девицу Луизу Буэн. Гюго писал Мюскару: «Я часто прижимаю ее к сердцу и чувствую сквозь два прелестных полушария, как нарастает волнение, воодушевляющее мир!.. Задернем занавес...»

Удивительное дело — этим веселым и распутным офицером при всяких неприятностях овладевала какая-то странная мания преследования. Когда Мюскар, командир батальона, получил другое назначение, Гюго

надоел штабу жалобами на нового своего начальника, называл его «негодяем, которого следует не только заковать в кандалы, но и предать смерти», «грязной душой», «крокодилом, извергнутым водами Рейна». От недовольного постарались избавиться, назначив его докладчиком военного совета — должность, дававшая ему право получить квартиру на Гревской площади в здании ратуши. В этой официальной резиденции он не имел права поселять свою наложницу. Луиза Буэн немедленно исчезла, проявив и скромность, и внезапно возникшее равнодушие, что было обычным в те времена, и капитан мог на досуге мечтать о Софи Требюше. Она отвечала на его письма с «крайней сдержанностью» и «целомудрием чувств», совсем не похожими на «забавное краснобайство и шуточный тон», характерные для посланий капитана. Но, может быть, сама эта сдержанность и пленяла его. Во всяком случае, он сделал Софи Требюше предложение.

Она была круглой сиротой, была на полтора года старше жениха, нуждалась в поддержке. Однако ее, по-видимому, совсем не соблазнял этот брак — понадобились настояния всех ее друзей в Нанте, чтобы она дала согласие. Она приехала в Париж в сопровождении своего брата; Гюго «ошеломил ее своими любовными восторгами», и 15 ноября 1797 года их соединили гражданским браком в мэрии IX округа, на улице Фиделите. Из брачного контракта явствует, что у капитана Гюго, кроме жалованья, было некоторое недвижимое имущество и доходы, невеста же выходила замуж без приданого — поместье Ренодьера ей лично не принадлежало. Однако великодушный солдат согласился заключить контракт на основе общности имущества, и, хотя жизнь в годы Директории была очень дорога, он никогда на это не жаловался. «Деньги, — говорил он, — это нерв войны, но только войны. А того, что я имею, — для мирной жизни достаточно, я в долги не влезаяю и забот не внаю».

Супруги прожили в Париже два года; Гюго был страстно влюблен в свою умную бретончку, а ей немного надоедали шумные разглагольствования мужа и его вольные шуточки, ей досаждал чрезмерный любовный пыл этого могучего мужчины с бычьей шеей. Но она все терпела, будучи женщиной скрытной, упорной и властной. У нее остались очень плохие воспоминания «о печальном времени, прожитом в древней ратуше, где

в дни Революции пострадали и картины, украшавшие стены, и сами стены». У молодых супругов не было ни белья, ни посуды. Софи тосковала о Ренодьере, о своем саде, о морском воздухе родной Бретани. Лучшим их другом стал секретарь трибунала Пьер Фуше, сын нантского сапожника, старый знакомый семейства Требуше, ровесник капитана Гюго, весьма, однако, отличавшийся от него темпераментом, человек осторожный, целомудренный, заядлый домосед. Воспитание, которое Фуше получил у своего дяди-каноника, более пригодно было для ораторианца, чем для солдата. Разделяло друзей только одно: политика. Докладчик дел был республиканец, а секретарь трибунала — роялист, но оба в спорах не питали ненависти друг к другу.

Через несколько дней после женитьбы Гюго секретарь трибунала сочетался браком с Анной-Виктуар Асселин и попросил капитана Гюго быть свидетелем в мэрии. На свадебном обеде Леопольд Гюго наполнил свой бокал и воскликнул: «Пусть у вас родится девочка, а у меня мальчик, и мы их поженим. Пью за здоровье будущей семьи».

В Париже времен Директории, когда и в модах, и в шутках царила нескромность, супруги Гюго посещали места всяких увеселений. Софи носила воздушные одеяния, которые, как говорил ее муж с отвлеченной непристойностью языка того времени, «дозволяли пылливому взору любоваться самыми сокровенными прелестями красавиц». В «Идалийских садах», на углу улицы Шайо и Елисейских Полей, где показывали весьма смелые живые картины, как, например, «Соединение Марса и Венеры за прозрачной завесой облаков», они встретили полковника Лагори, друга детства Софи Требуше. Виктор-Фанно Лагори был уроженцем Майенны. Присоединившись к Революции, он сохранил аристократические манеры, приобретенные в коллеже Людовика Великого, где тогда преподавали монахи-иезуиты. Он носил прекрасно сшитый синий фрак, синие короткие панталончики без выпушки, «черную треуголку с крошечной кокардой» и белые перчатки. Короче говоря, в одежде его было строгое, классическое изящество. Встреча с ним доставила Софи Гюго явное удовольствие; несомненно, благородная сдержанность Лагори особенно выигрывала по контрасту с шумной развязностью майора Гюго. Во времена распушенности нравов молодой полковник со сверкающими, как алмаз, глазами жил без любви-

цы. Этот стойк и мечтатель охотно читал по-латыни поэтов Древнего Рима, любил и французскую поэзию. «У него был незаурядный, богато оснащенный ум, и он умел его показать». Душа требовательная, гордая и достойная любви. Полковник Лагори привязался к семейству Гюго, и они, в свою очередь, платили ему дружбой: муж радовался, что нашел в его лице покровителя, близкого друга генерала Моро, которого Директория послала с важной миссией в Итальянскую армию; жена была довольна, что у нее появился наперсник, умеющий хранить доверенные ему тайны, такой же скрытный, как и она сама.

В 1798 году у супругов Гюго родился сын Абель, а в следующем году майор отправился в армию, так как 20-я полубригада, в которую он получил назначение, должна была войти в Рейнскую армию, горделиво именовавшуюся Дунайской. Он перевез жену в Нанси. Адрес ее был тогда такой: *«Нанси, в старом городе, улица Маршалов, гражданке Гюго, проживающей у своей свекрови»*. Унылая улица, угрюмый дом. Желтоватый мрачный фасад, темный внутренний двор. Бретонка, привыкшая к вольному воздуху, задыхалась там. Ей не пришлось по душе свекровь и, главное, золовка, Маргарита, которую называли уменьшительным именем Готон, в замужестве Мартен-Шопин. Эта особа решила командовать невесткой. Софи хотела сама кормить грудью ребенка, купать его, прогуливать, но в семействе Гюго предпочитали кормить младенца из рожка, а вместо купания — обтирать уголком мокрого полотенца. Как и многих героев, Леопольда Гюго угнетали ссоры, происходившие между его матерью и женой, он старался каждую признать правой и обеим угодить.

Красавца полковника Лагори, встреченного в «Итальянских садах», перевели в Нанси. Он не забыл Софи, женщину серьезную, любезную его сердцу, и у него вошло в привычку заходить побеседовать с ней. Тем, занимательных для них обоих, было достаточно: строгие суждения о терроре, надежды на мир и подлинную свободу, восхваления генерала Моро, к которому Лагори был очень привязан, меланхолические воспоминания детства, тоска о Бретани и Нормандии. Встречи благоприятствовали зарождению тайной любви, вначале бессознательной и невинной. В декабре 1799 года Моро был назначен командующим Рейнской армией. Лагори стал начальником штаба, и, по установившейся с неза-

памятных времен традиции всех армий, майор Гюго, жена которого нравилась молодому генералу, получил все, что хотел, и сам был прикомандирован к Моро.

Жену он сначала оставил в Нанси. Ее больше, чем когда-либо, пугала жадная, чувственная страсть мужа, ибо Софи снова ждала ребенка, а втайне была влюблена в Лагори. Она умоляла мужа дать ей отдых от супружества, и в письмах, которые майор Гюго, сам сочинявший послания в духе Сен-Пре, считал ледяными, она просила, чтобы ей дозволено было рожать в Бретани.

Майор Гюго — госпоже Гюго:

Я не удивляюсь, что тебе радостно уехать из Нанси и вновь увидеть дорогих своих родственников, но радость свою ты выражаешь так восторженно, что у меня сжимается сердце...

Софи хотелось увезти с собой в Рендьеру маленького Абея. «Мне было бы очень неприятно,— писала она,— оставить его в краю, с которым я прощаюсь навсегда... Возвратившись на родину, я оттуда никуда больше не двинусь: ты всегда будешь волен увидеться там со мною и с детьми, когда пожелаешь приехать и пожить с нами...»

Эта враждебная позиция приводила молодого супруга в отчаяние: «Софи, ужели это ты начертала такие обидные слова?..» Он заговорил даже о самоубийстве; конечно, то была литература: «Я уже собрался... но остановился... не из страха...» Он не позволил жене уехать и написал ей из Аугсбурга, что скоро приедет в Нанси навестить ее: «Я уже представляю себе, как я держу на одном колене тебя, а на другом — Абея, и как мне сладостно будет целовать тебя, когда ты уже носишь под сердцем новую надежду нашу...» Эти картины семейного и весьма плотского счастья несколько не пленяли Софи. Напрасно майор живописал то счастливое мгновение, когда он окажется возле нее и сожмет ее в своих объятиях. Как раз этого она и боялась. Однако после рождения ребенка (16 сентября 1800 года она в Нанси произвела на свет второго сына — Эжена) она вынуждена была переехать к мужу в Люневиль, куда он был назначен губернатором. В Люневиле она вновь встретила Лагори, который был в большой милости при дворе и получил от Жозефа Бонапарта поручение вести переговоры о мире. Лагори показал себя при этом тонким дипломатом. Своим изяществом и отточенной речью он резко выделялся среди окружающих его вульгарных людей. «У него манеры роялиста» — гово-

рил Сегюр. Что касается губернатора Гюго, он заказывал себе красивые мундиры и весьма гордился успехом своей жены, умную головку которой хвалил сам Жозеф Бонапарт. Своему старому товарищу Мюскар, назначенному губернатором Остенде, Гюго написал восторженное письмо о «своей прелестной Софи» и «достойном всяческого уважения Лагори». Классическая ситуация.

В штабе Рейнской армии Гюго стал одним из приближенных генерала Моро. Злополучная близость, ибо в 1800 году Моро разыгрывал роль соперника Бонапарта, и все преданные ему люди возбуждали подозрение у нового властителя. Несмотря на горячие рекомендации Жозефа Бонапарта, Гюго не получил в Люневиле повышения в чине. Друзья, заботившиеся о его будущем, добились, чтобы его назначили командиром батальона 20-й полубригады. «Это назначение,— сказал он,— является для меня источником новых горестей и отвращения...» Ведь командиром 20-й полубригады состоял офицер, с которым Гюго был в ссоре.

В 1801 году, во время путешествия из Люневилля в Безансон, благодаря прогулке в горы был зачат третий ребенок супругов Гюго (как сказал ему однажды отец) — на горе Донон, самой высокой вершине Вогезов, среди облаков, что доказывает, насколько властным и внезапным оставался любовный пламень майора. Этот третий сын родился в Безансоне 26 февраля 1802 года в старинном доме XVII века. Родители пригласили в крестные отцы генерала Виктора Лагори, а в крестные матери — Мари Десирье, супругу Жака Делеле, бригадного генерала, коменданта крепости Безансон,— поэтому и ребенка назвали *Виктор-Мари*. Фактически крещения, как такового, не было — восприемникам надо было только подписаться в качестве свидетелей в книге актов гражданского состояния. Лагори к тому времени уже возвратился в Париж, и представителем его был генерал Делеле.

Ребенок казался очень хилым, и акушер не надеялся, что он будет жив, спасли его только упорные заботы матери.

Гюго — Мюскар:

У меня трое детей, дорогой Мюскар,— три сына. Мое поприще должно быть и поприщем моих мальчиков. Пусть они идут по стопам отца, я буду доволен. Пусть сделают больше, чем мне удастся сделать, я благословляю день их рождения, как благословляю обожаемую мою супругу, подарившую их мне... Сюда приехал мой

брат. Он красивый малый пяти футов шести дюймов роста, всю войну прослужил гренадером в армии Самбры и Мааса. Я добился, чтоб его произвели в младшие лейтенанты. Есть у меня еще один брат... Для меня весьма затруднительно пристроить его, а между тем он прекрасный малый. Получил неплохое образование и даже написал трагедию, не лишенную достоинств... Он решил записаться добровольцем в армию.

Славные люди эти братья Гюго — все солдаты и поэты. Но Леопольду пошла не на пользу его солдатская прямота. В 20-й полубригаде он, по своему обыкновению, вступил в неравную борьбу со своим непосредственным начальником, полковником Гюстаром. У Гюстара счетоводство находилось в весьма запутанном состоянии. Гюго, не стесняясь, порицал его и был за это обвинен в подстрекательстве господ офицеров к бунту. Плохо дело! В высоких сферах друг генерала Моро не мог рассчитывать на какую-нибудь поддержку. Полковник Гюстар пожаловался на сварливый и буйный характер «этого толстого майора, который носит в Рейнской армии синий фрак спартанцев».

Гюго — Мюскарю:

Он осмелился сказать, что я не был в сражениях. Разбойник судил по самому себе...

Министерство охарактеризовало Леопольда Гюго как интригана. А первый консул терпеть не мог бунтовщиков. Через полтора месяца после рождения третьего своего сына «толстый майор» получил приказ выехать в Марсель и принять там командование батальоном, который предполагали направить в Сан-Доминго.

Убежденный, что его преследуют, что над ним нависла серьезная опасность, Леопольд Гюго совершил безумство — послал свою молодую жену в Париж, поручив ей умолить Жозефа Бонапарта, генерала Кларка и Лагори, чтобы они изменили назначение и тем самым вырвали его из рук врагов. Софи, хоть ей и грустно было расставаться с тремя своими малышами, согласилась поехать; она всегда любила трудные поручения. Но обращаться к Лагори было, конечно, шагом неосторожным, и последствия его легко было предвидеть.

Генерал Лагори носил теперь пышные бакенбарды и причесывал волосы а-ля Титус. Объясняя своему другу Софи Гюго положение дел, он нарисовал картину далеко не утешительную. Лагори долго служил посредником между своим покровителем, генералом Моро, человеком нерешительным, и первым консулом, который не

доверял бывшему командующему Рейнской армией, но еще щадил его. Бонапарт мог бы привлечь к себе Лагори, назначив его куда-нибудь послом. Он этого не сделал. Лагори повернул в другую сторону и сблизился с Моро, хотя и знал, что Моро — человек слабовольный. Первый консул отказался назначить Лагори командиром дивизии. Это означало — отставка в тридцать семь лет и несомненная опала. Лагори страдал, лицо у него пожелтело, блестящие глаза глубоко запади. Софи, воинственная по натуре, настаивала, чтобы он вступил в борьбу с первым консулом. Вокруг Моро увидались эмиссары Кадудая и графа Артуа. Вандейка посоветовала прибегнуть к такому союзу — хотя бы для того, чтобы убрать Бонапарта. Совет неосторожный, но у Софи был напористый нрав и пылкое сердце.

Тем временем в Марселе маленький Виктор, прежде времени отнятый от груди, был доверен Клодине, жене отцовского денщика. Майор Гюго, возведенный в чин отца-кормильца, опекал трех своих сыновей, воспитывал их, как мог, и все заверял Софи в своей супружеской любви: «Я велел им поцеловать твое письмо и дал им от имени обожаемой мамы конфет... Хоть я и молод, а в этом городе царят соблазны, не бойся ничего... Ты увидишь меня достойным твоих целомудренных поцелуев...» Доверчивый супруг, терзаясь долгим отсутствием жены, старался успокоить себя. «Ни одна женщина не любит мужа сильнее, чем ты, я был бы очень несчастен, если бы тут ошибался...» Самый склад фразы доказывает, что у него имелись сомнения на этот счет. Первого января 1803 года он пишет своей Софи о детях: «Сегодня Абель пришел ко мне с поздравлением, а толстяк Эжен, стоя за ним, повторял его слова. Оба были такие забавные!.. Если ты предвидишь, что старания твои бесполезны, сократи время моего вдовства, возвращайся, чтоб утешить меня. Раз уж нельзя отвратить беду, я буду менее несчастным, если буду царить над тобой...»

В июне 1803 года Виктор, которому было тогда шестнадцать месяцев, потребовал, по словам майора, свою «мам-ма». А на самом-то деле он совсем ее не знал. Госпожа Гюго была тогда в замке Сен-Жюст, близ Вернона, в обществе Лагори, попавшего в немилость. «Клуб Моро» продолжал открыто поносить Бонапарта, и тот покарал смельчаков. Несмотря на ходатайства Софи перед Жозефом Бонапартом, майора Гюго послали на Корсику. С тремя маленькими детьми он отплыл на корабле

в Бастию, старинный город с высокими, угрюмыми домами. «Возвратись, моя дорогая Софи, в объятия твоего верного Гюго...— писал он жене.— Будь спокойна за мою верность. Помимо того, что здесь опасно ухаживать за женщинами, ибо, кроме возможности подхватить какую-нибудь болезнь, следует еще остерегаться ударов стилета, в душе моей не угасает воспоминание о тебе, не меркнет твой дорогой образ, и я не могу причинить тебе огорчение, зная, что кара, грозящая мне, станет для меня смертельной мукой...» Кара, однако, предшествовала проступку; госпожа Гюго едва отвечала на письма, а покинутый отец должен был заботиться о малыше, у которого прорезывались зубы. «Он напоминал легендарного воина,— говорил Сент-Бёв,— великана, который собрал в свой шлем трех пухленьких малюток с ангельскими личиками и без труда несет их в походе от привала к привалу, проявляя о них материнскую заботу».

Абель ходил в школу; Эжен, толстяк с румяными щечками и белокурыми кудряшками, был любимцем всех дам; Виктор оставался хилым и грустным ребенком. У него была огромная голова, слишком большая для его худенького тельца, и от этого он казался уродливым карликом. «Часто бывало, что он забивался в какой-нибудь уголок и молча проливал слезы, никто не знал почему...» Отец доверил его женщине, которая должна была водить его гулять; с первых же дней мальчик невзлюбил ее. Он сердился, что она не умеет говорить по-французски, он называл ее «cattiva» — злая. Можно представить себе, что творилось в сердце этого ребенка, оставленного матерью, этого чахлого малютки, совсем не похожего на двух старших братьев-крепышей. Так закладывалась основа мрачного характера, которая будет проглядывать сквозь необыкновенную жизненную силу Виктора Гюго.

В 1803 году батальон перевели на остров Эльбу, и только там, в Портоферрайо, госпожа Гюго соединилась наконец со своей семьей. Муж настойчиво звал ее: «Все удивляются, что ты не приезжаешь и что дети оставлены на меня. Уже начались всякие толки...» Софи хорошо знала, зачем она едет,— увезти в Париж троих своих сыновей, которых она обожала, и встретиться там с Лагори. Она рассчитывала добиться согласия майора, полагая, что при его пылкости, хорошо ей известной, он, должно быть, уже завел любовную интригу

и захочет получить свободу. И действительно, как только госпожа Гюго приехала, добрые души оповестили ее, что майор сошелся на острове с девицей Катрин Томá, отец которой служил экономом в госпитале, но был уволен за растрату. Хоть Софи и сама была виновата перед мужем, она проявила негодование, отвергла любовные домогательства Гюго и уехала обратно в ноябре 1803 года. В Портоферрайо она прожила меньше четырех месяцев.

В дальнейшем она заявляла, что муж совсем не уговаривал ее остаться, что он желал получить свободу, чтобы сожительствовать с любовницей. Несомненно, майор Гюго был слаб перед плотскими соблазнами. И все же он предпочел бы любовницам свою жену, если бы она сделала терпимой совместную жизнь. Но конфликт между женой и мужем исходил из разницы темперамента.

Майор Гюго — жене, 8 марта 1804 года:

Прощай, Софи. Помни, что меня точит червь, желание обладать тобой; помни, что в моем возрасте страсти отличаются особой горячностью и что, хоть я и ропщу на тебя, я чувствую потребность прижать тебя к своему сердцу...

Если бы жена вернулась раньше, утверждал майор, он никогда бы ей не изменил: «Да, я хочу принадлежать тебе одной, но, чтобы принадлежать тебе одной, нужно, чтобы я никогда не испытывал холодности с твоей стороны и ты никогда бы не отталкивала меня. А иначе лучше уж жить раздельно...»

Это еще не был полный разрыв. Леопольд Гюго любил своих сыновей, он признавал свои ошибки, но ответственность за них возлагал на жену:

Можно ведь и в моем возрасте и с моим, к несчастью, пылким темпераментом иной раз и забытья, но в этом всегда виновата была ты сама... Я еще слишком молод, чтобы жить в одиночестве, слишком крепок здоровьем, чтобы меня не влекло к женщинам: я люблю, скажу больше, я буду по-прежнему обожать свою жену, если моя жена пожелает признать, что мне необходима ее любовь и ее ласки. Но я могу быть благоразумным только близ своей жены; итак, дорогая Софи, я думаю, что гораздо лучше было бы для меня произвести с тобою на свет еще одного ребенка, чем бросить тебя ради другой женщины, и знать, что дети мои растут вдали от любящего взора отца. Я чувствую в себе достаточно душевных сил, чтобы составить счастье той, которая пожелает судить обо мне без предубеждения; в смысле телесном (скажу по секрету только тебе одной) я никогда еще не чувствовал себя так хорошо, как сейчас; в смысле образования я много приобрел за время твоего отсутствия...

Обезоруживающая откровенность, которая могла бы тронуть, но Софи любила другого. На обратном пути в Париж, очень долгом и трудном, она радовалась, что покажет Лагори троих своих сыновей: крепыша Абея, белокурого кудрявого Эжена и нежного, чувствительного малыша Виктора. Когда экипаж остановился на улице Нотр-Дам-де-Виктуар, у конторы почтовых карет, она была удивлена, что не видит Лагори, которого она известила о своем возвращении. Она побежала в резиденцию генерала. На двери были наклеены два объявления. В них сообщалось, что разбойники-роялисты покушались убить первого консула; народ Парижа призывали доносить на их сообщников и содействовать их аресту. Далее приводился список заподозренных лиц. Среди них Софи прочла: *Виктор-Клод-Александр Фанно Лагори.*

Она была потрясена, но не удивлена. Что Моро участвовал в заговоре против Бонапарта, что он называл Конкордат «поповщиной» и отказался от ордена Почетного Легиона, что он окружил себя иностранцами, эмигрантами и идеологами роялизма, что его теща и жена явно ему содействовали — все это Софи знала еще до своего отъезда. Что Лагори настраивал Моро против первого консула и, хоть считал себя республиканцем, готов был под влиянием Софи посоветовать Моро заключить временный союз с роялистами — это она тоже прекрасно знала. Моро, который был в прошлом якобинцем и все еще сохранял якобинский душок, долго держался в стороне. К тому же он стал теперь владельцем замка Гробуа, растолстел, был сластолюбом и принадлежал к породе тех полководцев, кто способен привести свои войска к берегам Рубикона, но вместо того, чтобы перейти его, устроить там пиршество.

Лагори был единственным энергичным человеком в его окружении. Поэтому полиция первого консула тотчас решила арестовать его, придавая этому особую важность. Префектам были сообщены его приметы: «Рост — пять футов два дюйма; волосы — черные, зачесаны на лоб; брови черные; глаза черные, довольно большие, глубоко сидящие; желтоватые круги под глазами; лицо попорчено оспой; смех язвительный...» Была еще одна характерная примета — несколько искривленные от верховой езды ноги. Полиция искала его повсюду — в Майенне, затем в замке Сен-Жюст и, наконец, в Париже, у его друга, в доме № 19 на улице Клиши. Ниг-

де его не нашли. А он укрывался на другой стороне улицы, в доме № 24, у госпожи Гюго, которая за несколько дней до того поселилась там со своими сыновьями. Впрочем, он оставался у нее только четыре дня и, не желая подвергать свою подругу опасности, вновь повел скитальческую жизнь изгнанника. Наполеон Бонапарт будто бы по природному милосердию и соображениям практическим выразил желание, чтобы молодой генерал эмигрировал в Соединенные Штаты и постарался бы, чтобы о нем позабыли, но Лагори остался во Франции и время от времени появлялся переодетым на улице Клиши, где его всегда принимали с нежностью.

Глава вторая

МНЕ СНЯТСЯ ВОЙНЫ...

Самые ранние воспоминания Виктора Гюго связаны с домом на улице Клиши. Он помнил, что «в этом доме был двор, а во дворе — колодец, около него каменная колода для водопоя и над нею раскинулась ива; помнил, что мать посылала его в школу на улицу Мон-Блан; что о нем больше заботились, чем о двух старших братьях; что по утрам его водили в комнату мадемуазель Розы, дочери школьного учителя; что мадемуазель Роза, еще лежавшая в постели, усаживала его возле себя и, когда она вставала, он смотрел, как она надевает чулки...». Первое пробуждение чувственности оставляет у ребенка глубокие следы и запоминается ему на всю жизнь. Как бы то ни было, в стихах Гюго мы часто встречаем идиллические картины «разувания», женские стройные ноги в белых или черных чулках и маленькие босые ступни.

Леопольда Гюго послали в Италию. Жозеф Бонапарт, мягкий человек, литератор, превратившийся против своей воли, но по воле знаменитого брата в полководца, получил приказ завоевать Неаполитанское королевство. Он знал майора Гюго, служившего под его началом в Люневиле, и благоволил к нему. В Париже министерство долго противилось какому бы то ни было продвижению офицера, скомпрометированного дружбой с Моро и Лагори. О муже, который жил где-то далеко и почти что в разводе с нею, Софи Гюго вспоминала лишь для того, чтобы попросить у него денег. Он с ворчанием посылал ей половину своего жалованья, а когда

его субсидии становились нерегулярными, Лагори, еще имевший тайные резервы, брал на себя заботу о семье.

Наконец Леопольду Гюго выпал случай отличиться. Захват Неаполя вызвал в горах Калабрии восстание *bravi* — полупатриотов-полуразбойников. Самый смелый из их вожаков, Микеле Пецца, по прозвищу *Фра-Дьяволо*, скорее партизан, чем бандит, боролся с оккупантами и был после кровавой стычки взят майором в плен. Это создало Леопольду Гюго «огромную славу» и дало основание Жозефу Бонапарту назначить его губернатором провинции Авеллино, а также произвести его в полковники.

А положение Лагори в это время (1807 г.) ухудшилось. Его денежные средства истощились. Ощущение затравленности придавало его лицу напряженное выражение, челюсти его, «как у большого столбняком», все время судорожно сжимались. Всегда находясь в лихорадочном возбуждении, в тревоге, он жалел о тех днях, когда солдаты Свободы весело входили в баварские и тирольские города, и проклинал «тирана», которым был теперь уже не Людовик XVI, а император Наполеон. Когда Софи Гюго увидела, что ее другу нельзя больше появляться в Париже, где его подстерегает Фуше, что у нее скоро не будет денег для пропитания детей, она написала мужу, что готова послушаться его увещеваний и вернуться к нему. Однако он уже не хотел этого. «Я вовсе и не думаю требовать, чтобы ты приехала... Ты сама виновата, что у меня пропало желание жить совместно с тобой, тем более что я не имею прочного положения...» Нужда пишет свои законы. Софи не посчиталась с таким заявлением и в октябре 1807 года, не предупредив мужа, отправилась к нему в Италию.

Маленькому Виктору было тогда только пять лет, но он был очень впечатлительный и наблюдательный мальчик. Ему на всю жизнь запомнилось, как он ехал через всю Францию в дилижансе; запомнился перевал Мон-Сени и то, как хрустели льдинки под полозьями саней, как подстрелили орла, как останавливались на привал, чтобы поесть, а главное, запомнились ему висевшие на деревьях обрубки человеческих тел, еще красные от крови; вместе с братьями он смотрел на них в окошко кареты, на которое они налепили от скуки крестики из соломинок. Ужас, который внушали ему смертная казнь, пытки и виселицы, антитеза — виселица и крест, — все эти мысли, преследовавшие его до самой

смерти, первые свои корни пустили в его душе еще в детстве, пищу им дали сильные впечатления ребенка.

Госпожу Гюго, любившую бретонские сады больше, чем пышные цветы Юга, занимали только поиски пристанища, но дети были очарованы Неаполем, «сверкающим на солнце в белом своем одеянии с голубой бахромой...». А с какой гордостью они увидели в конце своего путешествия отца, встретившего их в полковничьем парадном мундире, да почувствовали, что они сыновья губернатора и принадлежат к стану победителей:

Средь народов покорных я был без охраны,
Удивляясь вниманью и робости странной —
Неужели ребенок внушил им испуг?..
Имя Франции я называл, и неожиданно
Чужеземцы бледнели вокруг¹.

По правде сказать, полковника Гюго, проживавшего в губернаторской резиденции совместно с девицей Тома, ошеломил неожиданный приезд жены, но он был славный человек, он любил своих сыновей. Семью он устроил в Неаполе и на несколько дней открыл ей двери своего дома в Авеллино, предварительно выпроводив оттуда Катрин Тома.

Каждый ребенок живет в волшебной сказке, но сказка первых лет жизни Виктора Гюго кажется особенно волшебной. Три мальчика, три брата, живут в Италии в старинном дворце, мраморные стены которого испещрены трещинами, неподалеку глубокий овраг, и в нем густая тень от орешника. В школу ходить не надо — полная свобода, атмосфера летних каникул (прелесть ее Гюго любил всю жизнь), всемогущий отец; дети почти и не видели его, но время от времени он появляется и для забавы своих сыновей готов скакать верхом на своей длинной сабле в ножнах, а во дворе его всегда почтительно ждут всадники в блестящих касках; отец, которого любит брат императора, король Неаполитанский; отец, который приказал занести в списки своего полка маленького Виктора, и с этого дня малыш считал себя солдатом. Дети с восторгом запускали руки в густую бахрому золотых отцовских эполет. В письмах полковник с любовью говорил о своих сыновьях: «Виктор, самый младший; выказывает большие способности к учёню. Он такой же положительный, как старший брат, и очень вдумчивый. Говорит он мало и всегда уместно. Меня не раз просто поражали его рассуждения.

¹ Виктор Гюго. Мое детство («Оды и баллады»).

Личико у него очень кроткое. Все трое — славные ребяташки, они очень дружны между собой, двое старших чрезвычайно любят младшего. Так жаль, что их не будет со мной. Но здесь нет возможности дать им образование, придется всем троим ехать в Париж».

Но не в том была истинная причина. Между полковником и его женой не произошло примирения. Девушка Тома и Виктор Лагори слишком хорошо были видны на горизонте. Любовница требовала, чтобы супруга уехала; супруга отказывалась играть роль любовницы. Дети угадывали, что в семье идет какая-то таинственная борьба, но весьма смутно понимали из-за чего. Они гордились отцом и сознавали, что он чем-то обидел обожаемую ими мать. Все трое с грустью простились с мраморными дворцами. В Италии они вновь встретились с обоими детьми Пьера Фуше, приятеля их отца. Секретарь трибунала выхлопотал себе временное назначение инспектором по поставкам провианта в Италию. В Париже к этому времени число судебных процессов сократилось, уменьшились и доходы судебных канцелярий, и Пьер Фуше мечтал о военных поставках, на которых люди наживали тогда состояния. Маленькому Виктору Фуше было в ту пору пять лет, его сестре Адели — четыре года. Это была рассеянная и мечтательная малютка, «с челом, позлащенным лучами солнца, со смуглыми плечиками». Три мальчика Гюго приняли ее в свою компанию, вместе играли в шары, которые заменяли апельсины. Но госпожа Фуше, равнодушная к ярким краскам Неаполя, сожалела об улице Шерш-Миди и тенистом саде при Тулузском подворье. Семейство Фуше уехало из Италии почти в то же время, как и госпожа Гюго со своими сыновьями. Мальчикам все равно не пришлось бы долго оставаться в Неаполе, так как Леопольд Гюго вскоре после их отъезда был вызван в Мадрид Жозефом Бонапартом, возведенным в сан «короля Испании и обеих Индий». Император перемещал монархов, как перемещают полковников. Леопольд Гюго отказался от всяких попыток вернуть себе свою жену, но не отрекся от забот о своих детях.

«Совесть у тебя спокойна. И мне тоже не в чем упрекнуть себя, но, чтобы оправдать одного из нас, нужно было бы возложить всю вину на другого. Предоставим времени затухать воспоминания о сложившихся роковых обстоятельствах. Воспитывай детей в должном уважении к нам обоим, дай им надлежащее образование, старайся, чтобы они способны были когда-нибудь приносить пользу. Отдадим им всю свою привязанность, ибо мы-то уже убедились, как нам вместе трудно ужиться...»

В этом письме есть и чувство достоинства, и некоторая доброта. Рубака с длинной саблей был человеком душевным.

Париж, февраль 1809 года. Госпожа Гюго, которая могла теперь рассчитывать на три, а вскоре и на четыре тысячи франков содержания, высылаемого ей мужем, наняла в доме № 12 на улице Фельянтинок просторную квартиру в первом этаже здания старинного монастыря, основанного Анной Австрийской. Гостиная, почти что дворцовый покой, «полная света и пения птиц», имела величественный вид. Над стенами ограды возвышался Валь-де-Грас с изящным своим куполом, «похожим на тиару, завершавшуюся карбункулом». При доме был огромный сад — «парк, лес, поляны... аллея, обсаженная старыми каштанами, где можно было повесить качели, высохший водосборный колодезь, весьма пригодный для игры в войну. Множество цветов... девственный лес в воображении ребенка». Здесь мальчики на каждом шагу делали открытия. «Знаешь, что я нашел? — Ты ничего не видел? Вон там, вон там!» Радость усиливалась, когда в воскресенье приходил из лица Абель и братья показывали ему этот рай.

«Я вспоминаю себя ребенком, смеющимся румяным школьником, когда я играл, бегал, смеялся со своими братьями в длинной аллее тенистого сада, где протекли первые годы моей жизни, в старой усадьбе монахинь, над которой возвышался свинцовой своей главой мрачный купол собора Валь-де-Грас...»¹

Мои учителя... В кудрявом детстве, помню,
Их было трое: мать, священник, сад укромный.

Тенистый старый сад! За каменной стеной
Он тихо прятался, таинственный, густой;
Лучистые цветы глядели там в глаза мне,
Букашки и жучки там бегали по камню;
Сад, полный отзвуков... Там был лужок и лог,
А дальше словно лес! Священник-старичок
Был в Грецию влюблен, в священный град Приама
И в Тацита... А мать была... ну, просто мама!²

Этот «старик священник», отец Ларивьер (точнее, *де ла Ривьер*), был монах-расстрига, женившийся в годы Революции на своей служанке, так как предпочитал лучше «расстаться с обетом безбрачия, чем со своей го-

¹ Виктор Гюго. Последний день приговоренного к смерти.

² Виктор Гюго. В саду на улице Фельянтинок в 1813 году («Лучи и тени»). — Перевод Н. Вольпин.

ловой». Он содержал с женой маленькую школу на улице Сен-Жак. Когда он хотел было посадить Виктора Гюго за букварь, то заметил, что малыш уже умеет читать — сам научился. Но отец Ларивьер, «вскормленный Тацитом и Гомером», мог преподать своему ученику латынь и греческий язык. Мальчик переводил с ним «Eritome», «De viris»¹, Квинта Курция, Вергилия. Грамматические формы латыни внушали ему какое-то уважение. Он безотчетно полюбил этот сжатый и сильный язык.

И все же подлинным учителем для него был сад. Именно там Виктор Гюго научился вглядываться в прекрасную и грозную природу. Там он любовался ромашками, «золотыми шарами», барвинком, там он видел также, как грызуны пожирают птиц, птицы пожирают насекомых, а насекомые пожирают друг друга. Он сам предавался жестокой забаве — ловил шмелей в цветах штокрозы, «внезапно пальцами сжав лепестки...». Рано развивалась мысль ребенка, и он задумывался, замечая эту всеобщую бойню. Все три брата были любознательные и беспокойные натуры, одинаково открытые и восторгу, и смятению. «И самое прекрасное, что находили они в саду, как раз было то, чего в нем на самом деле не было...»

Они унаследовали от отца богатое, порой необузданное воображение. У пересохшего колодца они подстерегали Глухого — выдуманное ими чудовище, черное, мохнатое, липкое, покрытое волдырями. Они никогда не видели этого Глухого и знали, что никогда его не увидят, но им нравилось пугать друг друга. Виктор говорил Эжену:

— Пойдем к Глухому.

Все жуткое и таинственное привлекало их. Слово Шварцвальд — *Черный Лес* — пробуждало в душе мальчика «образ, вполне совпадающий с таким названием, как это свойственно детям... Я представлял себе какой-то волшебный, непроходимый, страшный лес, сумрак среди высоких деревьев, глубокие овраги, затянутые туманом...». Над его кроватью висела черно-белая гравюра, где изображена была древняя развалившаяся башня на берегу Потока — мрачные, полные ужаса руины. Эта картина, запечатлевшаяся в мозгу ребенка, несомненно, способствовала развитию у него склонности к резким

¹ «Eritome» — «Сокращенное изложение» (лат.) — сочинение Помпия Трога.

«De viris» — «О мужах» (лат.) — сочинение Ломона.

контрастам, к игре света и тени. Башня была не что иное, как Mäuseturm¹, а Поток — рекой Рейном.

В усадьбе фельянтинок «сохранились на каменных стенах ограды, среди замшелых планок трельяжей следы переносных алтарей, ниши, в которых когда-то стояли статуи мадонн, обломки распятий; а кое-где и надпись: *Национальное имущество...*». В глубине сада была старая развалившаяся часовня, которой завладели цветы и птицы. Некоторое время госпожа Гюго запрещала сыновьям подходить к часовне. Она прятала там Лагори, которого искала императорская полиция, как участника заговора Моро. Давать ему убежище — значило рисковать своей головой. Храбрая бретонка, выросшая среди заговоров, пренебрегла опасностью. Как-то дети обнаружили в часовне господина де Курлянде (вымышленная фамилия), он стал приходить в дом и ел вместе со всеми. Мальчики когда-то видели его мельком на улице Клиши, но с тех пор он очень изменился. Теперь перед ними предстал человек среднего роста, с блестящими глазами, с изможденным лицом, слегка рябоватый, черноволосый, с черными бакенбардами, человек почтенного вида, сразу же внушивший им уважение. В часовне для него за алтарем была поставлена походная кровать, в углу лежали его пистолеты и томик Тацита *in octavo*², которого он заставлял своего крестника переводить. Однажды он посадил Виктора к себе на колени, раскрыл этот томик, переплетенный в пергамент, и прочел вслух: «*Urben Romam a principio reges habuerunt*»³. Прервав себя, он сказал: «Если бы Рим не свергал своих властителей, он не был бы Римом». И нежно глядя на мальчика, добавил: «Дитя, свобода превыше всего». Изведав бремя тирании, он теперь преклонялся перед свободой, это стало для него религией. Мальчики привязались к «господину Курлянде», которым восторгалась их мать. Они смутно понимали, что император преследует его, и были на стороне преследуемых, против властителей.

По воскресеньям в монастырь Фельянтинок, кроме Абея, приходили два других товарища в играх — Виктор и Адель Фуше. Мальчики еще были в том возрасте, когда они презирают «девчонок». Виктор Гюго, повесивший под каштанами качели, милостиво позволял ма-

¹ Мышиная башня (нем.). С этой башней связано множество средневековых легенд.

² В восьмую часть листа (лат.).

³ Городом Римом вначале владели цари (лат.).

ленькой Адели «покататься», она усаживалась на них с гордостью, но с трепетом сердечным и просила, чтобы ее «не заносили... так высоко, как в прошлый раз». А то бывало, что мальчики предлагали Адели сесть в старую колченогую тачку, завязывали ей глаза, мчали ее по аллеям, а Адель должна была угадывать, где она находится. Если она плутовала, платок стягивали «крепко, крепко — до синяков» и строгие голоса спрашивали у нее: «Куда ты приехала, отвечай». А когда мальчикам надоедало играть с ней, они вытаскивали в огороде подпорки для гороха, обращали их в пики и устраивали сражения. Виктор, самый маленький, старался превзойти всех.

Лагори прожил на улице Фельянтинок полтора года, никто его не видел, не слышал, не знал о нем. Выражение лица у него опять стало спокойным. Он ждал, что наступит время милосердия и свободы. Думал, что накануне брака с эрцгерцогиней Мари-Луизой император почувствует себя достаточно сильным, чтобы забыть обиды первого консула. Поэтому он несколько не удивился, когда в один прекрасный день человек, посланный госпожой Лагори, его матерью, пришел сообщить ему, что господин Дефермон, председатель избирательного корпуса Майенны, говорил о нем с императором и тот ответил: «А где же сейчас Лагори? Почему он не показывается?» Генерал Лагори истомился в заточении. Его одолевали теперь всякие безумные надежды: что император вспомнил о его заслугах, что теперь начинают чувствовать недостаток в талантливых людях и решили найти ему применение. В июне 1810 года вместо Фуше министром полиции был назначен Савари, старый товарищ Лагори, — они были на «ты». Почему бы изгнаннику не пойти к новому министру и не открыться ему с полным доверием? Софи Гюго настойчиво отговаривала его от такого шага. Разве можно доверять этим людям? Но 29 декабря Лагори, не предупредив ее, отправился к Савари.

Он возвратился торжествующий. Министр крепко пожал ему руку и сказал: «До скорого свидания». Госпожа Гюго затрепетала. На следующее утро, когда семья собралась за завтраком — господин Курлянде в халате, госпожа Гюго в теплой стеганой блузе и в утреннем чепчике, — раздался звонок. Служанка Клодина доложила, что пришли «какие-то двое», спрашивают господина Курлянде. Он вышел. На землю густо падали хлопья снега. Послышался глухой стук колес. Клодина

вбежала с криком: «Ах, сударыня, они увезли его!» Лагори заточили в башню Венсенского замка. Маленький мальчик с высоким лбом был свидетелем драматической сцены и запомнил волнение ее участников. Знал ли он, кем был Лагори для его матери? Дети не знают таких вещей, лишь смутно их чувствуют. А когда сыновья всё поняли, их любовь к матери была так велика, что они никогда, ни единым словом, не касались этой стороны ее жизни.

В Венсенском замке Лагори держали в одиночной камере, в секретном отделении, и Софи не могла сообщаться с ним. Наконец, в июне 1811 года, свидания с ним были разрешены, но тогда она уже была в Испании. И вот почему.

Леопольд-Сигисбер Гюго стал генералом в армии короля Жозефа, важным сановником при его дворе и графом Сигуэнса (испанский титул). Король осыпал его почестями и наградами. Луи Гюго, брат генерала, веселый, красноречивый, обаятельный человек, явился на улицу Фельянтинок и стал уговаривать невестку примириться с мужем. Его блестящая сабля, его рассказы об Испании, его ореол военного человека произвели глубокое впечатление на племянников, им он казался «кем-то вроде архангела Михаила». А то, что он рассказывал, было ослепительно прекрасным и вместе с тем ужасным. Супругу генерала Гюго, губернатора трех провинций, ждет в Испании высокое положение. Она будет графиней, будет богата. Король Жозеф пожаловал генералу в дар миллион реалов при условии, чтобы он обосновался в Испании и купил себе там имение. Ведь это обеспеченное будущее. Но дядя Луи рассказывал также о расстрелах, о сожженных монастырях, о бандитах, устраивающих засады. Жена генерала Гюго и ее дети могут проехать только под охраной вооруженного конвоя.

Луи Гюго не удалось убедить невестку, но вскоре парижские банкиры Терно уведомили госпожу Гюго, что муж прислал ей деньги — пятьдесят одну тысячу франков, для того чтобы она купила себе дом во Франции. Дело уже становилось серьезным. Если действительно генерал Гюго вознесся на вершину почестей, разве она имеет право лишать своих сыновей удачи в жизни? О своем решении она сообщила королю Жозефу через его эмиссаров. Король хорошо знал Софи Гюго, он еще в Люневиле оценил по достоинству ее ум и ее изящество. Ему досадно было, что генерал Гюго, один из вид-

ных сановников его двора, компрометирует себя перед всей Испанией сожительством с какой-то девицей Тома, авантюристкой, именуемой теперь «графиней де Салькано». Король пожелал, чтобы приехала законная жена и потребовала свое законное место у семейного очага.

Жозеф Бонапарт расточал госпоже Гюго всяческие заверения. Она уступила. На следующий же день она подарила Эжену и Виктору словарь и грамматику испанского языка. «Через полтора месяца эти одаренные мальчишки уже знали достаточно, чтобы их могли понимать». Весной 1811 года госпожу Гюго уведомили, что формируется обоз и что она должна присоединиться к нему в Байонне. Она взяла у банкиров Терно двенадцать тысяч франков на дорожные расходы, выправила паспорт на имя госпожи Гюго, урожденной Требуше де ла Ренодьер, и наняла целый дилижанс, который и довез ее от Парижа до Байонны. Она ненавидела путешествия. А для ее сыновей переезд был упопительным приключением. Им понравились и удобная карета, и города, через которые они проезжали. У Виктора был острый взгляд и такая цепкая память, что двадцать лет спустя он верно нарисовал две прекрасные башни Ангулемского собора, которые видел лишь мельком. Всю жизнь он помнил Байонну, где пришлось прожить месяц в ожидании обоза, помнил театр, где они сидели в ложе, обтянутой красным коленкором, и семь раз смотрели мелодраму «Развалины Вавилона», помнил те вечера, когда все три брата, испачкав разноцветными мазками чашечку в ящиках для красок, размалевывали картины в книге, подаренной им Лагори,— «Тысяча и одна ночь». А больше всего запомнилась Виктору четырнадцатилетняя девочка с ангельским лицом, исполненным чистой прелести, как у дев Вергилия; она читала ему вслух, сидя на садовой скамье. Он стоял позади чтицы, но не слушал, он весь поглощен был ее созерцанием, дивился матовой белизне ее тонкой шейки. Когда ветер заворачивал косынку на ее плечах, он с каким-то странным, смешанным чувством неловкости и восхищения видел округлую белую грудь, тихонько поднимавшуюся и опадавшую в тени, пронизанной теплыми беглыми отблесками солнца.

Не раз случалось, что в такие мгновения она вдруг поднимала свои большие голубые глаза и говорила мне: «Виктор, ты что не слушаешь?» Я терялся, краснел, трепетал.. Я никогда сам не осмеливался ее поцеловать, но иногда она подзывала меня и говорила: «Ну, поцелуй же меня». В день отъезда я испытал две

великие печали: грустно было разлучаться с ней и выпустить на волю своих птиц...

Байонна осталась в моей памяти как что-то дорогое, милое, праздничное. К ней восходят самые ранние воспоминания моего сердца. О годы наивности, но уже возникающих нежных волнений! Именно в Байонне я увидел, как в тайнике моей души забрезжил первый, невыразимый свет, божественная заря любви...¹

Супругу генерала Гюго, графиню де Сигуэнса, на протяжении всего пути встречали с почетом. Огромный парадный экипаж в стиле рококо, запряженный шестеркой лошадей или же мулов и нанятый на весь переезд за две тысячи четыреста франков, был куда внушительнее, чем кареты других путешественников, испанским герцогиням приходилось уступать ему дорогу. Как было не важничать трем мальчишкам-подросткам? Виктору сразу понравилась Испания, земля контрастов; пейзажи то веселые, то мрачные, залив у Фуэнтеррабиа, блестящий вдали, как драгоценный камень; первый город, который он увидел в Испании, назывался Эрнани. Мальчика поразило его обличье — благородный, гордый и суровый; он увидел кастильских овчаров, в руках которых пастуший посох казался скипетром. В пограничном городе Ируне узкие улицы, черные дома, деревянные резные балконы и крепостные ворота очень удивили маленького француза, выросшего среди мебели красного дерева стиля ампир.

Его глаза, привыкшие видеть кровати с легким пологом, усеянным звездами, изящные подлокотники кресел в виде лебединой шеи и бронзовых позолоченных сфинксов, украшавших подставки для дров в каминах, теперь с каким-то испугом смотрели на тяжелые балдахины, нависавшие над постелями, на массивное столовое серебро с выпуклым витым орнаментом, на окна с мелкими стеклышками в свинцовом переплете. Но сама эта необычность нравилась ему. Даже скрип испанских телег, такой жалобный, такой резкий, казался ему приятным. Никогда Виктор не забывал строгого и твердого звучания испанской речи — недаром же у всякого, кто слышит ее, «безотчетно, так сказать, машинально, возникают в душе величественные образы, исполненные бурных чувств, блеска, яркой красочности и страсти...».

В испанских церквах он видел странные статуи святых, то истекающих кровью, то одетых в золотую парчу, видел над церковными порталами стенные часы в обрамлении шутовских и фантастических фигур. В Испании уродов видишь в повседневной жизни. На улицах

¹ Виктор Гюго. Пиренеи (Путешествия).

встречаешь нищих, как будто сошедших с полотен Гойи, и карликов Веласкеса. Вокруг обоза кишели обитатели Двора Чудес. Цепкая память мальчика схватывала «пестрые картины, грозные силуэты дозорных на вершинах утесов и трупы бандитов, расстрелянных на краю дороги. Ужасные картины. Рассказы провожатых дополняли их. Генерал Гюго, говорили они, приказал выбросить из окна дезертиров-испанцев, и они разбились, упав на землю; его солдаты перестреляли всех монахов какого-то монастыря. А повстанцы, говорят, подвергали пыткам женщин и детей, выпускали им кишки, сжигали заживо. Устроив засаду в ущельях, партизаны подстерегали караваны. Мальчиков-французов преследовали видения войны и смерти.

После бесплодного Кастильского плоскогорья им очень понравился Мадрид, его розовые дома и зелень, но отца они там не нашли. Ничего не зная о приезде Софи Гюго, вызванной в Испанию королем Жозефом, генерал находился в своей резиденции с девицей Тома, которую он привез с собой из Неаполя переодетой в мужской костюм. Генеральшу поместили с почетом во дворце Массерано, в великолепных апартаментах: красный узорчатый шелк, гобелены, богемский хрусталь, китайские вазы, венецианские люстры, рисунки Рафаэля и Джулио Романо. Маленькому Виктору отвели красивую спальню, где стены обиты были желтой парчой; лежа в постели, он видел образ Богоматери семи скорбей в платье, затканном золотом и вышитом золотой гладью, но с сердцем, пронзенным семью мечами. Управляющий называл госпожу Гюго «ваше сиятельство», но ребенок чувствовал, что тут во всех сердцах горит пламя восстания. Во дворце Массерано была портретная галерея. Там часто находили Виктора, мальчик молча сидел в уголке и рассматривал испанских грандов с надменными лицами, смутно догадываясь, что весь этот старинный род да и вся нация проникнуты гордостью. Он мог ходить по роскошным покоям как сын победителя, но оставался чужестранцем, незаконно вторгшимся сюда,— смотрел ли он на алтари в стиле поздней готики или на портреты грандов в крахмальных плетеных воротниках. Он знал, что испанцы окрестили Наполеона по-своему: «*Наполвор*».

Отношение к императору стало у мальчика двойственным; как всякий французский ребенок, он восторгался Наполеоном, считал его героем; но вместе с матерью

и Лагори ненавидел его как тирана. Та же двойственность была и в его отношении к отцу: Виктор гордился, что он сын генерала, графа Гюго, губернатора трех провинций, что благодаря отцовскому имени он живет в красивом дворце, а вместе с тем в душе все возрастала обида на отца за то, что он сделал маму такой несчастной; он испытывал тайное смущение при мысли, что генерал преследует в Испании испанцев так же, как он преследовал в Италии патриотов, называя их бандитами. Когда Виктор сидел тихонько в «галерее предков» и придумывал всякие романтические истории, он охотно представлял себя в роли преследуемого изгнанника, который возвращается на родину триумфатором.

Именно в Мадриде вспыхнуло у него первое чувство, крепко связавшее его с Испанией. В больших покоях дворца Массерано с росписью на плафонах и стенах он встретил шестнадцатилетнюю Пепиту, дочь маркизы Монте-Эрмосо, одной из возлюбленных короля Жозефа:

В Испании, столь сердцу милой,
Однажды, в ранний час, весной,—
А мне тогда лет восемь было —
Пепита встретилась со мной

И молвила с улыбкой чинной:
«Я Пепи!» — поклонившись мне.
Я почитал себя мужчиной
Там, в завоеванной стране...

Ее шиньон был в тонкой сетке
С каскадом золотых монет,
И в пламенных кудрях кокетки
Струился золотистый свет.

Под солнечным лучом блистали
Жакета бархат голубой,
Муар на юбке цвета стали
И шаль с каймою кружевной.

Дитя — но женщина... И Пепе
Не покориться я не мог.
Сковали душу мне, как цепи,
Одетый в бархат локоток,

Янтарное кольцо на шее,
Куст роз под стрельчатым окном...
Пред ней дрожал я, цепенея,
Как жалкий птенчик пред орлом.

В смущеньи, сам себя не слыша,
Я что-то ей пролепетал...
Она шепнула строго: «Тише!» —
Но пыл мой только жарче стал.

А тут же, во дворце, где в зале
От витражей полутемно,
Солдаты в домино играли
И пили старое вино¹.

Шел июнь 1811 года. Король Жозеф находился в Париже по случаю крещения короля Римского. Кто же сообщит генералу Гюго о приезде его семьи? Госпожа Гюго еще раз обратилась к своему обязательному деве-рю Луи. Известие было встречено бурным гневом — с губернатором Гвадалахары чуть не случился удар. Как! Эта женщина, отказывавшаяся быть ему женой, вздумала преследовать его даже в Испании? Он тотчас приказал составить прошение о разводе ввиду серьезного оскорбления, нанесенного ему как мужу. А пока что, до решения дела в суде, он требовал, чтобы дети оставались при нем. Пора положить конец их постоянным каникулам, заявлял он. Пусть Абель будет одним из пажей короля Жозефа, его оденут в красивый голубой мундир с серебряными аксельбантами; Эжена и Виктор отдадут в дворянский коллеж (монастырь святого Антония Абадского) — на поступление туда им давал право графский титул, полученный их отцом в Испании. Мрачное здание, еще более мрачные наставники. Маленьких французов принял на свое попечение худой и бледный, угрюмый монах дон Базилио. Оставшись одни во внутреннем дворе, они разрыдались. Ночным надзирателем, следившим за дортуаром, где спали сто пятьдесят школьников, состоял горбун в красной шерстяной куртке, синих коротких панталонах и желтых чулках — настоящий придворный шут. Испанцы называли его *Corcoveta*².

Ученики должны были по очереди исполнять обязанности причетников в церкви, но Софи Гюго, вольтерьянка, женщина неверующая, сказала дону Базилио, что ее сыновья не католики, а протестанты. С ними, однако, обращались уважительно, так как их отца было опасно задевать, и к тому же они, к удивлению монахов, проявили большие познания в латыни. В какой же класс их посадить? Переводить «Еритома» и «De viris» было для обоих уже детской игрой. С Вергилием и Лукрецием они справлялись довольно хорошо.

«Что же вы переводите в восемь-то лет?» — спросил изумленный монах. «Тацита», — ответил маленький

¹ Виктор Гюго. Песни дедушки о днях его детства; Пепита («Искусство быть дедом»). — Перевод И. Шафаренко,

² Горбун (исп.).

Виктор. Школьники-испанцы открыто желали поражения Наполеону. Эжен подрался из-за этого с юным графом де Бельверана, а Виктор — с безобразным рыжеволосым и курчавым мальчуганом по фамилии Элеспуру. Коллеж стал для них адом.

А между их родителями отношения все ухудшались. Возвратившись в Мадрид, король Жозеф нашел там бесчисленные жалобы и ходатайства графини Гюго. Он ее вызвал, выслушал и тотчас приказал генерал-губернатору явиться в Мадрид. Генерал примчался и, когда король предъявил ему ультиматум, уступил по всем пунктам: согласился принять предложенный ему пост в Мадриде, жить во дворце Массерано, взять своих сыновей из коллежа и тотчас же дать три тысячи франков своей жене, у которой уже не было ни гроша.

Генерал Гюго — графине Гюго:

Нынче вечером, после обеда у его величества, я приеду навещать тебя. Посылаю ящик свечей. До свидания, друг мой. Верь моей привязанности.

Примирение оказалось недолгим. Некий коварный приятель вспомнил историю Лагори и сказал, что опасно иметь супругой возлюбленную заговорщика. Генералом Гюго вновь овладел приступ ярости. На этот раз королю Жозефу нечего было возразить. Леопольд-Сигисбер выехал из дворца Массерано, поселил свою любовницу в очаровательном домике в Мадриде, заставил Эжена и Виктора показаться на Прадо в коляске вместе с ним и «графиней де Салькано». Но одинокая, покинутая всеми Софи Гюго вскоре вновь пошла в гору. Она имела влияние на короля Жозефа и сумела убедить его, что ее отношения с Лагори были невинны. Ведь ее муж, говорила она, обязан своим продвижением на военном поприще «этому почтенному человеку». Так разве могла она после стольких услуг, которые им оказал Лагори, не дать убежище этому покровителю ее супруга? Король Жозеф еще раз метал громы и молнии и объявил губернатору: «Не хочу скрывать своего недовольства вами, вы показываете скандальный пример своими раздорами с женой...» Наконец, не найдя лучшего выхода, Софи Гюго было разрешено возвратиться во Францию с двумя младшими сыновьями, Абель же остался в пажеском корпусе. Жалованье, которое полагалось генералу как мажордому королевского двора (двенадцать тысяч франков в год), должно было впредь непосредственно пересылаться генеральше. О разводе больше не могло быть и речи. Для Софи это было победой.

Обратный путь в охраняемом караване был долгим и полным тяжелых впечатлений. Дети видели ужасные картины: эшафот, человека, казнимого с помощью «гаротты», то есть ошейника, который постепенно стягивали, чтобы удавить приговоренного; крест с прибитыми к нему окровавленными кусками человеческого тела — казненного разодрали на части. Мрачное путешествие. Но Виктор вылез из Испании и другие впечатления, иные картины, казавшиеся ему благородными и красивыми. Он смутно понимал, что этот народ отвергает власть захватчиков-французов. «Дитя, свобода превыше всего», — говорил ему Лагори. Что же касается сочетания низменно-безобразного с возвышенным и несколько театральной напыщенности, которую он замечал и на фамильных портретах во дворце Массерано, и у своих однокашников в коллеже, — все это ему нравилось.

Испания всегда привлекала французов, потому что человеческие страсти сохранили там свою изначальную силу, тогда как в наших общественных рамках она ослабла. Позаимствовав у испанцев тему своего «Сида», Корнель затронул за живое французов времен Людовика XIII. После путешествия по Испании юного Виктора Гюго будут преследовать еще безыменные призраки, которые станут впоследствии образами Эрнани, Руй Гомеса де Сильва, дона Саллюстия и Рюи Блаза; картины, где льется кровь и звенит золото, образ «испаночки с огромными глазами и длинными косами, золотисто-смуглой, с нежным румянцем — четырнадцатилетней андалузки Пепы...»¹. Из своего короткого, но тесного общения с Испанией он вынес склонность к звучным словам и патетическим чувствам. «Право, можно сказать, что душа Виктора Гюго натурализовалась в Испании после первых же воспринятых ею впечатлений...» Но надо сделать оговорку, что противовесом его испанизму вскоре стало подспудное воздействие немецкого романтизма.

Глава третья КОНЕЦ ДЕТСТВА

Какая радость возвратиться на улицу Фельянтинок! Благодаря преданности госпожи Ларивьер дорожки в саду вычищены, жаркое подрумянивается на вертеле,

¹ Виктор Гюго. Последний день приговоренного к смерти.

постели застланы чистыми простынями. Вскоре отец Ларивьер возобновил свои уроки латыни, а сад — уроки поэзии. Виктор и Эжен больше не ходили в школу, преподаватель сам приходил к ним. Директор Наполеоновского лицея, пожелавший иметь их своими учениками, был плохо встречен госпожой Гюго. Она разделяла чувство ужаса, которое внушил ее сыновьям интернат. Все ее мысли были теперь только о них и друге, томившемся в заключении; она жила очень уединенно, абонировалась в «кабинет для чтения» и посылала своих мальчиков выбирать для нее книги. Одному было восемь лет, другому десять, содержатель библиотеки, чудаковатый старичок, носивший, как во времена Людовика XVI, короткие панталоны и узорчатые шерстяные чулки, позволял им рыться в книгах. Он допускал их и на антресоли, отведенные для слишком смелых философских трудов и слишком нескромных романов. Там Эжен и Виктор, растянувшись ничком на полу, знакомились с книгами Руссо, Вольтера, Дидро, Ретифа де ла Бретона, с «Обласом» и «Путешествиями капитана Кука». На замечание старика Райоля, что опасно давать в руки детей непристойные романы, мать отвечала: «Книги никогда не причиняли зла». Она ошибалась: врожденная чувственность ее младшего сына от такого чтения обострилась, но у него развился и более здоровый интерес к необычным, редким по своим достоинствам произведениям, которые впоследствии подсказали ему сюжеты некоторых его романов и пьес.

Все три брата — Абель, Эжен и Виктор — сочиняли стихи. Виктор исписывал стихами целые тетрадки, его поэтические вкусы, вполне естественно, склонялись к классическим размерам.

«Разумеется, стихи его были мало похожи на стихи, — рифмы не рифмовались, слоги не складывались в стопы, ребенок без посторонней помощи искал пути в области просодии, читал вслух написанное и, видя, что дело не клеится, зачеркивал, писал заново, переворачивал, исправлял до тех пор, пока стихи уже не царапали слух. Ощупью продвигаясь вперед, он самостоятельно узнал, что такое размер, цезура, рифма, перекрестное чередование мужских и женских рифм...»

Госпожа Гюго без труда царил над умами своих сыновей. Она требовала и достигала почтительного и полного повиновения с их стороны.

«Строгая и сдержанная нежность, постоянная, непререкаемая дисциплина, очень мало фамильярности, никакого мистицизма, содержательные, поучительные беседы, более серьезные, чем обычные

разговоры с детьми,— таковы были основные черты ее глубокой, самоотверженной, бдительной материнской любви...»

Госпожу Гюго отличала властность мужского склада. В романе с Лагори она больше, чем он, была занята политическими страстями. В 1812 году она упорно стремилась сделать его заговорщиком. Возвратившись из Испании, она увиделась с ним в приемной Венсенской тюрьмы. Он сгорбился, исхудал, пожелтел, челюсти его судорожно сжимались. С ним обращались теперь лучше, чем вначале. Платье и белье ему починили, а главное, разрешили иметь при себе любимые его книги — Вергилия, Горация, Саллюстия, ряд работ по математике, химии и военному делу. До свидания с Софи он как будто смирился со своей участью, и Савари говорил, что его только вышлют из Франции: изгнание — это милосердие тиранов. Вмешательство женщины сильного характера все изменило.

С апреля 1812 года она вошла в сношения с аббатом Лафоном, стремившимся объединить роялистов и республиканцев в широком заговоре против императора. Софи добилась (через директора полиции, однокашника Лагори по лицу Людовика Великого), чтобы узника перевели в тюрьму Ла-Форс, где режим был таким мягким, что заключенным дозволялось принимать посетителей и даже угощать их обедом. Затем Софи Гюго вошла в сношение с генералом Мале, «легкомысленным республиканцем», который клялся и божился Брутом и Леонидом, но соглашался порадеть установлению власти «доброго и справедливого» короля. Наполеон был в России. Чего легче, как пустить слух о его смерти и создать временное правительство?

Лагори не доверял Мале, считая его сумасбродом. «Тут нужен мудрый человек,— говорил он,— а нам дают фанфарона». Разочарованный узник читал Саллюстия, восхищался энергией Катилины, но думал: «Какое безумие затеяли! Лишь только узнают, что известие ложное, все рухнет». Софи, натура страстная, видела впереди только желанные ей результаты: подлый Савари арестован, связан; тиран побежден, свобода восстановлена. Утром 23 апреля 1812 года Мале, надев мундир, явился в тюрьму и сообщил смотрителю о смерти императора: смотритель поверил и освободил Лагори. С отрядом солдат тот направился в министерство полиции и арестовал Савари, герцога де Равиго. Софи побежала к своему другу Пьеру Фуше, состоявшему в то время чи-

новником военного министерства; через своего шурина, господина Асселина, секретаря военного совета, он, конечно, был в курсе военных новостей! Очень скоро Софи узнала, что известие о смерти императора опровергнуто, все заговорщики арестованы и уже готовится суд над ними. Госпожа Гюго возвратилась на улицу Фельянтинок, где ее ждали сыновья, безумно встревоженные долгим отсутствием матери и напуганные слухами о государственном перевороте. «Ничего,— сказала она им,— никогда не нужно тревожиться. И тем более не надо плакать».

Для того чтобы следить, как разворачивается процесс, эта стоическая женщина отправилась в квартиру Фуше, всё еще проживавшего на улице Шерш-Миди, в здании, занятом военным советом. Ту комнату, где ждала Софи Гюго, отделял от зала заседания военного совета только коридор. Все время офицеры приносили известия. На вопрос председателя суда, требовавшего, чтобы Мале сказал, кто его сообщники, тот будто бы ответил: «Вся Франция, сударь, и вы сами, если б я достиг успеха...» Когда Софи передали этот ответ, она повторила с жаром: «О да! Вся Франция!» В два часа ночи Пьер Фуше, «чистенький и боязливый, как мышка», сообщил, что вынесено двенадцать смертных приговоров. Софи спросила: «Сегодня приведут в исполнение?» — «Да, в четыре часа, в долине Гренель». Узнав от Фуше, какой дорогой проедут телеги с телами казненных, она дождалась их у заставы и проводила до общей могилы единственного человека, которого любила в своей жизни.

В 1813 году генерал Гюго, после поражения Жозефа Бонапарта в Испании, возвратился во Францию. В сентябре он уже был в По вместе с сыном Абелем и той, которую госпожа Гюго называла то «девица Тома», то «мнимая графиня де Салькано».

Госпожа Гюго — своему сыну Абелю, 24 сентября 1813 года:

Полагаю, что отцу не вздумается запретить тебе переписываться со мной, этому не было бы оправдания, как и многому другому в его поведении, и тогда твоим долгом было бы не подчиниться запрещению; так же как и твои братья должны были бы не подчиниться мне, если б я, забыв священные права природы, запретила им переписываться с отцом. Если такое запрещение будет наложено, то, во избежание всяких неприятностей и споров, которые страсти, ослепляющие твоего отца, вызвали бы между вами, пиши мне без его ведома. Вижу, бедный друг мой, сколько тебе придется страдать из-за этой женщины. Часто я плакала над твоей участью и даже над участью твоего несчастного отца — ведь если он причиняет нам много зла, то себе самому он причиняет его еще больше. Будем надеяться, Абель, что настанут лучшие вре-

мена и, главное, что наши общие с ним несчастья послужат тебе уроком. Смотри, до чего могут довести необузданные страсти и отсутствие принципов...

Леопольд-Сигисбер Гюго в Испании — генерал, во Франции по-прежнему был лишь командиром батальона. Пенсия, обещанная его жене, не выплачивалась; Лагори не мог прийти на помощь своей подруге — его уже не было в живых. «Покончено было со всякими роскошествами». Парижский муниципалитет экспроприировал сад Фельянтинок для удлинения Ульмской улицы, и Софи Гюго переселилась в дом № 2 по улице Вьей-Тюильри¹ по соседству с семейством Фуше, чтобы можно было пользоваться садом, имевшимся при их особняке. Фуше остались верными ее друзьями. Еще живя на улице Фельянтинок, Виктор Гюго вновь встретился с Аделью Фуше; они уже не были детьми. Мечтательный и страстный мальчик, он, как ему казалось, увидел в Адели Пепиту из Мадрида — тот же облик инфанты, такие же большие темные глаза и золотистый загар. Им сказали, чтобы они побегали, поиграли; они же, беседуя, прогуливались по саду. Они шли медленно, говорили тихо, руки их вздрагивали, соприкасаясь. Девочка стала девушкой.

Ребяческая фантазия пришла ей в голову. Пепи стала Пепитой. Она сказала мне: «Побежим наперегонки!» — и помчалась вперед; я видел ее тоненькую осиную талию, ее маленькие ножки, мелькавшие из-под платья. Я догонял ее, она убегала; от быстрого бега порою ветер вздувал ее черную пелеринку, обнажая ее смуглую юную спину.

Я себя не помнил. Настигнув беглянку у старого развалившегося колодца, я, по праву победителя, обнял ее за талию и усадил на дерновую скамью; она не сопротивилась. Она смеялась, едва переводя дух. Но мне было не до смеху, я смотрел в ее глаза; под длинными густыми ресницами зрачки их были такими большими, черными.

— Садитесь рядом, — сказала она. — Еще совсем светло, давайте прочитаем. У вас есть какая-нибудь книга?

У меня был при себе второй том «Путешествий» Спаданцани. Я раскрыл его наугад, придвинулся к ней, она оперлась плечом о мое плечо, и мы стали читать вместе, но каждый про себя. Прежде чем перевернуть страницу, ей приходилось подождать меня. Читала она проворнее моего. «Вы кончили?» — спрашивала она, когда я только еще начинал.

Головы наши соприкасались, волосы смешивались, дыхание сблизилось, и вдруг сблизилась губы... Когда мы решили продолжить чтение, на небе уже светили звезды.

— Ах, мамочка, мамочка, — сказала она, возвратившись, — если бы ты знала, как мы бежали!

¹ Ныне улица Шерш-Миди. — *Примеч. автора.*

Я же ничего не сказал.

— Ты что молчишь? — спросила мама. — И ты какой-то печальный.

А у меня в сердце был рай. Этот вечер я буду помнить всю жизнь.

Всю жизнь...¹

Любовь их оставалась целомудренной, очень чистой. Адель Фуше была девушка набожная и добродетельная. Мать не отходила от нее. Всюду она появлялась со своим грудным младенцем (малышкой Полем) на руках, а рядом с ней шла Адель. Каждый вечер мать расчесывала прекрасные черные косы своей девочки и «осыпала их бесконечными поцелуями». Госпожа Фуше, превосходная хозяйка, старалась приучить Адель к домашним работам. В шесть лет девочка уже могла собрать и сшить вместе полотнища скроенного платья. Соседка, госпожа Делон, давала ей метить белье своего сына. Супруги Фуше побаивались чрезмерного любопытства этой особы, и, когда отец приносил домой свое месячное жалованье, дверь запирали, чтобы госпожа Делон не слышала звона пятифранковых монет. Несмотря на все превратности, семейство Фуше жило обычной жизнью мелких французских буржуа, людей скрытных, посредственных, степенных и добродетельных семьянинов.

Генерала Гюго по его ходатайству вновь приняли во французскую армию. 9 января 1814 года он получил назначение на пост коменданта Тионвиля. Он храбро защищал крепость во время наступления войск коалиции и капитулировал лишь после того, как узнал об отречении Наполеона.

Абель переехал к матери, в Париж. Она гордилась сыном, красивым широкоплечим юношей и, при всем своем безденежье, все-таки заказала ему нарядный костюм — зеленый фрак лувьерского сукна, светло-серые казимировые панталоны и редингот из легкого драпа с искрой. Вскоре русские и пруссаки заняли столицу. Часть населения Франции считала их освободителями и называла «союзниками», а не «врагами». Госпожа Гюго выражала великую радость при реставрации Бурбонов. Ее роялизм носил перемежающийся характер. Пока ее муж нуждался в Бонапарте, она воздерживалась от проявления своих чувств. К тому же Лагори был скорее республиканцем, чем монархистом. Но после казни ее друга в ней разгорелась ненависть к узурпатору. Она не

¹ Виктор Гюго. Последний день приговоренного к смерти.

признавала за ним ни малейшей гениальности, вспомнила, что она дочь Ванден, не пропускала ни одного публичного празднества в честь Бурбонов, появлялась там всегда одетая в белый перкаль, носила зеленые туфли, «чтобы на каждом шагу попирать цвета наполеоновской империи». Сыновья, глубоко почитавшие мать, разделяли ее взгляды. У Тацита они научились ненавидеть цезарей, и Виктор Гюго теперь называл Наполеона не иначе как Буонапарте — по примеру матери и ее друзей Фуше. Он с гордостью отправился в Собор Парижской Богоматери на благодарственную мессу, тем более что шел он туда под руку с Аделью.

Генерал Гюго оставался в Тионвиле до мая 1814 года. В письме к королю он заверил его в своей преданности, полагая, что «воин должен быть верен своей родине», каково бы ни было ее правительство (принцип благородный и вместе с тем удобный). Его жена совершила в сопровождении Абеля путешествие в Тионвиль, чтобы потребовать свою пенсию. В отсутствие матери Эжен и Виктор все свободные часы проводили в доме Фуше.

Графине Гюго, в Тионвиль, 23 мая 1814 года:

Дорогая мама, без тебя всем скучно. Мы часто ходим к господину Фуше, как ты нам советовала. Он предложил нам, чтобы мы с его сыновьями брали уроки у их учителей; мы поблагодарили его. Каждое утро мы занимаемся латынью и математикой... Господин Фуше был так любезен, что водил нас в музей. Возвращайся поскорее. Без тебя мы не знаем, что говорить и что делать, совсем растерялись. Все время думаем о тебе. Мамочка! Мам!

Твой почтительный сын Виктор.

В апартаментах генерала и коменданта крепости графиня Гюго столкнулась с девицей Тома, державшей себя там полновластной хозяйкой, теперь она выдавала себя за *госпожу Анакле д'Альмет (или д'Альме)*, вдову полковника. Софи Гюго, которую муж называл уже не иначе как «мадам *Требюше*», стелили постель в передней, тогда как *госпожа д'Альме* и генерал запирались на ключ в спальне. Законная жена подала прошение в суд, требуя восстановления ее в супружеских правах и постоянной пенсии. Генерал снял на имя своей любовницы замок Гюс под Тионвилем и ответил жене заявлением в суд о разводе. Кроткий и осторожный Пьер Фуше перепугался, что его друзьям повредит шумный процесс, в котором появится окровавленная тень Лагори. Он прислал генералу два письма, настойчиво уговаривал отца избежать скандала, который запятнает его детей.

Генерал Гюго — своей сестре, госпоже Мартен-Шопин, 14 июля 1814 года:

Госпожа Требюше 4 июля подала на меня в суд, добиваясь аванса в три тысячи франков в счет пенсии, а я 11-го числа подал прошение о разводе с нею. Через день, 13 июля, она исчезла неизвестно куда. Требуя с меня три тысячи франков, она воображала, будто я не знаю, что она недавно взяла четыре тысячи у господина Ансо. Эта женщина просто ненасытна, всё подавай ей деньги. Ты говоришь об общности имущества, как будто с госпожой Требюше, вытворяющей все, что ей вздумается, устраивающей сцены, если ей противоречат, возможно вести себя, как с какой-нибудь другой женщиной. Фуше написал мне от имени этого демона, и я ответил, что соглашусь заменить прошение о разводе прошением о раздельном жительстве и раздельном владении имуществом, но на тех условиях, какие я ей поставил. Что касается совета жить с нею совместно, ты хорошо знаешь, что это невозможно! Никогда еще она не была мне так противна...

Под влиянием любовницы и воспоминаний о старых обидах первоначальное несходство характеров супругов обратилось у мужа в ненависть. Генерал Гюго пожелал отнять своих сыновей у ненавистной жены; он уже приказал сестре забрать их от супругов Фуше, а в сентябре 1814 года, приехав в Париж, воспользовался правом, которое давала ему отцовская власть, и отдал обоих мальчиков в пансион Кордые и Декотта, помещавшийся «на темной, мрачной улице Святой Маргариты в закоулке, стиснутом между оградой тюрьмы Аббатства и домами переулка Драгон». В марте 1815 года, когда он вновь назначен был в Тионвиль, чтобы во второй раз защищать крепость от вражеского нашествия, он свою власть над детьми передал не матери, а своей сварливой сестре, вдове Мартен-Шопин: «Доверяю тебе заботы о двух младших моих сыновьях, помещенных в пансион господина Кордые, и требую, чтобы ни под каким предлогом они не были возвращены матери или отданы под ее надзор...»

Оба мальчика тотчас подняли открытый бунт против госпожи Мартен-Шопин. Они не желали именовать ее «тетушка», а называли «сударыня»; с чисто кастильским достоинством они жаловались на ее «неприличную грубость», на ее «низкие оскорбления» и «отвратительные сцены», которые она им устраивала. Оба сына оставались всецело верны матери, хоть их и разлучили с ней.

Моя святая мать, примером чистоты
Была ты для меня... И... не со мною ты!..
Ты больше не со мной!.. О чуткие сердца,
Лишь вы мою печаль поймете до конца!..

Оба судили об отце с почтительной суровостью, порицая его сожительство с любовницей, а он называл их «мятежными бандитами».

Генерал Гюго — сестре, госпоже Мартен-Шопин, 16 октября 1815 года:

По-видимому, эти господа считают позорным для себя называть тебя тетушкой и выражать в письмах к тебе привязанность и почтение. Вот оно, влияние негодницы матери...

...Какое зло

Мне причинил отец! И детство вдруг ушло...

Я прошлое зову — и тишина в ответ.

Для горя моего иной дороги нет:

Мечтать, бежать в леса и верить в чудеса...¹

Действительно, пансион, похожий на тюрьму, и отец, ставший тюремщиком, — это было концом детства. Несмотря на всякие превратности, несмотря на раздоры родителей, которые, подобно черной туче, омрачали детские годы Виктора Гюго, они были поэтичны и прекрасны. Густолиственный и таинственный сад фельянтинок; тенистый овраг в итальянской провинции Авеллино; огни бивуачных костров; раззолоченные галереи дворца Массерано в стиле барокко; очаровательные видения женщин-девочек, незнакомка в Байонне, Адель, Пепита и в качестве яркого фона — победы Франции, сверкание кирас и бой барабанов. Какие чудесные декорации для мечтаний!

И как много досуга для мечты — при таком беспорядочном воспитании! Все соединилось для того, чтобы в течение тринадцати лет юный ум не знал принуждения и условностей, установленных правил воспитания. Частые переезды не позволяли детям генерала Гюго учиться в школе, переходя, как обычно это делается, из класса в класс; нелюдимый нрав матери, тосковавшей по родным краям, отпугивал от нее светское общество; благородная и опасная, тайная дружба с Лагори воздвигла вокруг нее самой ограду молчания; удивительное уважение, с которым относилась к книгам и к поэзии госпожа Гюго, эта маленькая буржуазка, «неизменно снисходительная к своим сыновьям при внешней ее суровости», благоприятствовало развитию их природных дарований. Как и все дети этих героических времен, Виктор Гюго в глубине «души тревожной» мечтал о военной славе. Затем разрыв между родителями, падение Империи направили его желания в другую сторону. Но к чему бы он ни стремился, он всегда мечтал о великом. «Когда

¹ Виктор Гюго. Отцовство («Легенда веков»).

я маленьким ребенком был, великое я видел пред собою». Бессознательный соперник своего отца и Наполеона, которыми мальчик вопреки своей воле восхищался, он тоже хотел пленять воображение людей. Но как? Он этого пока не знал, он только еще «вступал в страну мечтаний»:

После долгих скитаний вернувшись неожиданно,
Возникал я, как луч из густого тумана.
Я мечтал, что источник найду колдовской,
Где вода все журчит и журчит неустанно,
Опьяняет и дарит покой.

В пылом сердце бывшее опять оживало,
На губах моих тихая песня блуждала,
И я шел, материнской любовью храним,
И сквозь слезы, с улыбкою мать повторяла:
«Это фея беседует с ним!»¹

Редко встречаются такие противоречивые натуры. В нем боролись чувственный темперамент отца, его пылкое воображение, любившее все необыкновенное, и суровый стоицизм матери; вкус к классике, жажда славы и ненависть к тирании; тяга к возвышенной поэзии, всегда несколько безумной, и уважение к буржуазным добродетелям, безотчетно дорогим для него, ибо он страдал, чувствуя, как их оскорбляют его близкие. Душа, сотканная из контрастов. Если когда-либо жизнь, словно нарочно, с самого детства формировала писателя для того, чтобы он выражал в своем творчестве прекрасные и новые антитезы, то таким писателем был именно он, Виктор Гюго. Нам хотелось уловить, каков был его душевный склад в ранние годы, когда индивидуальность человека только еще зарождается. «Не во дворце, который блеск жемчужины усилит, зарождается она — она возникает под толщей колонии полипов, в морских пучинах глубиною в сотни лье...» Мы с вами погрузились в глубокие воды волшебных источников детства великого поэта, в едва освещенных безднах увидели мрачные обломки, зеленоватые щупальца кошмаров, но видели также белоснежную сирену, затонувшие соборы, затопленные дворцы прекрасных древних городов Андалузии. «Лучшая часть гениальности складывается из воспоминаний». Именно из них на наших глазах создаются перламутровые, лучезарные, неподражаемые, изменчивые переливы, которые превращают крупицу материи в жемчужину, а человека в гения.

¹ Виктор Гюго. Мое детство («Оды и баллады»).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОГНИ РАССВЕТА

Глава первая
ПТИЦЫ В КЛЕТКЕ

Огни рассвета не столь сладостны,
как первые лучи славы.

Вовенарг

После райского сада фельянтинок и каштанов вокруг Тулузского подворья пансион Декотта и Кордые, унылый, без всякой зелени, показался сыновьям Софи Гюго мрачным чистилищем. Кордые, священник-расстрига, больной и раздражительный старик, носивший из любви к Руссо широкий плащ и высокую шапку, похожий в ней на армянина, колотил учеников по головам своей металлической табакеркой; Эмманюэль де Котт, ставший просто Декоттом, изводил их всяческими наказаниями и отпирал отмычкой ящики их тумбочек. Эжен и Виктор, мятежные ангелы, не склонны были сносить унижения. Генерал Гюго писал 7 августа 1817 года своей сестре Мартен-Шопин: «Я считаю, что они погибнут, если останутся под плачевным влиянием матери. С тобой они ведут себя так же, как обычно, но по отношению к господину де Котту они позволяют себе ужасные грубости! Подумай только — они едва не подняли руку на директора пансиона!..»

Братья сразу же приобрели престиж в глазах товарищей, так как отец потребовал, чтобы их поместили в отдельной комнате. Пансион разделился на два лагеря: в одном царил Виктор, в другом — Эжен. Вечером два соперничающих властелина встречались в своей комнате и вели переговоры. Они напоминали тогда братьев Бонапарт, деливших между собой Европу, и, вероятно, им самим приходила такая мысль. Оба мальчика впитали чуть ли не с молоком матери преклонение перед добле-

стью древних римлян, оба росли под сенью наполеоновских побед и проявляли сильную жажду славы. В пансионе Кордые братья организовали театральные представления. Виктор сочинял пьесы и играл в них роль Наполеона, окруженного маршалами, блиставшими орденами из золотой бумаги. Но так было только в театре, а в жизни их политические страсти не изменились: ненависть к Революции, ужас перед *Буонапарте* и любовь к Бурбонам, которые, как Виктор воображал, принесли Франции вместе с хартией свободу.

В этом их убеждала мать, а ведь она оставалась кумиром всех сыновей. Зато своей тетушке, госпоже Мартен-Шопин, и даже отцу они противились с невероятной решительностью и достоинством. Генерала Гюго после Реставрации уволили в отставку с половинным окладом пенсии, и он удалился в Блуа с госпожой Альме, «графиней де Салькано», иначе говоря — с девицей Тома, всемогущей его властительницей. «Мерзкая вдова Мартен-Шопин» весьма скудно снабжала племянников карманными деньгами и передавала им распоряжения отца. Генерал хотел, чтобы его сыновья поступили в Политехническое училище, и требовал, чтобы они для подготовки к экзаменам усиленно занимались математикой и черчением; учтиво, но твердо мальчики попросили его дать им возможность выполнить это требование.

Виктор Гюго — отцу, 22 июня 1816 года:

Госпожа Мартен целый месяц не соблаговолила спросить, в чем мы нуждаемся, и уже два месяца как перестала выдавать мне и Эжену обещанные два су в день; да еще весьма предусмотрительно сообщила нам о таком решении лишь 1 июня. Когда мы ей вежливо доложили, что, рассчитывая на эти деньги, сделали заем на необходимые свои расходы — на то, чтобы платить за стулья в церкви, точить перочинные ножи, переплетать книги, покупать чертежные принадлежности, — она ответила, что не желает нас слушать, и властным тоном приказала нам выйти из комнаты. Больше ей не удастся это сделать, дорогой папа. Мы лучше откажемся от воскресных отпусков, но впредь не будем иметь с ней никаких отношений. Если ты все-таки хочешь, чтобы мы расплатились с долгами и не сидели без гроша, просим тебя передавать нам деньги через кого-нибудь другого, удобнее всего через Абеля...

12 ноября 1816 года:

Мы обдумали твои предложения; позволь нам говорить с тобой так же откровенно, как мы говорили раньше, и ответь нам лишь после того, как взвесишь наши соображения. Видя, что мы в состоянии судить о цене вещей, ты предлагаешь нам двадцать пять лундоров в год на наше содержание. Мы согласны, лишь бы эти деньги нам выдавали в собственные руки. Мы уверены, что

при том опыте, который у нас уже имеется, а главное, с помощью мамы и при ее советах — а она, что ни говори, умеет экономить — этой скромной суммы хватит на наше содержание, и оно будет более приличным, чем было до сих пор, хотя наверняка обходилось тебе дороже. Но если деньги будут нам направлять через чужие руки, такой уверенности мы не можем иметь, так как не сумеем воспользоваться средствами, обеспечивающими нас. Мы уже не в силах будем следовать твоему примеру: *соразмерять расходы со своим достатком и быть довольными своим положением, тем более что оно приучит нас к порядку и бережливости...* Конец твоего письма нас огорчил — не можем скрывать от тебя, как нам было тяжело, что ты нашу маму называешь негодницей, да еще в открытом письме, — ведь его распечатали и отдали нам только после прочтения. Мы видели твою переписку с мамой. Что ты сделала бы в те времена, когда познакомился с ней и когда находил счастье близ нес, что ты сделал бы с тем, кто посмел бы говорить о ней подобным языком? А она все такая же и всегда была такой, и мы всегда будем думать о ней так же, как ты раньше думал о ней. Вот какие чувства твое письмо породило в нас. Поразмысли, пожалуйста, над нашим письмом и будь уверен в любви, которую питают к тебе твои покорные и почтительные сыновья.

Э. Гюго — В. Гюго

В этом письме видны и зрелость ума, и энергия стиля. В нем нет повторений, выразительность не ослабевает от начала до конца. Кто был вдохновителем коллективного послания братьев? Оно написано почерком Эжена, но это не имеет большого значения. Оба брата получили одинаковое воспитание, были учениками своей матери, оба испытали влияние классиков, оба стремились к поэтическому творчеству. Время, которое они могли урывать от занятий математикой, они проводили за сочинением стихов. Переводы Вергилия и Лукреция, элегии, эпиграммы, песни, трагедии — все увлекало их.

По правде говоря, Франция тогда усердно занималась версификацией, сочиняла стихи. Даже пансион мальчиков изобиловал поэтами. Сам угрюмый Декотт кропал вирши и вскоре стал завидовать двум юным гениям, явившимся среди его учеников. Молодой классный наставник Феликс Бискара^д, умный человек с рябоватым, но веселым и открытым лицом, любил Эжена и Виктора Гюго, а еще больше — мадемуазель Розали, бельевщицу пансиона, в честь которой он создавал оды. Однажды Бискара повел братьев Гюго, своих любимцев, на верхние площадки башен Собора Парижской Богоматери, Виктор Гюго поднимался по ступенькам лестницы позади мадемуазель Розали и смотрел на ее ноги.

Было естественным, что в том возрасте, *«когда все Керубино по улицам бродят, стараясь в окошки бань*

заглянуть», подростка, унаследовавшего огромный темперамент отца, да еще начитавшегося эротических стихов Горация и Марциала, преследуют мысли о женском теле. Для Виктора было никогда не ослабевающей радостью увидеть нечаянно обнажившееся плечо, грудь, стройную ножку. Подобно фавну или иному лесному божеству, он будет в дальнейшем подстерегать в лесах красивых девушек-дикарок и прачек у ручьев. Бедным студентом он из своей мансарды высматривал в соседнем окне или «сквозь щели в чердаке» какую-нибудь служанку, раздевающуюся перед сном.

В семнадцать лет мне снилась Геба —
Прекрасная гризетка неба;
Олимп или мансарда — все одно:
Подвязка сброшена, плечо обнажено¹.

Всю жизнь это будет лейтмотивом многих его стихов. Слишком целомудренная юность создала нераскаянного грешника.

Для генеральши графини Люкотт, «хорошенькой женщины, имевшей большой успех в свете и множество поклонников» — братья Гюго знали ее еще по Мадриду, а в Париже жили в одном с нею доме, — Виктор сочинял почтительные мадригалы:

Я слушаю... Но все ж могла бы лира эта
В такой чудесный день решиться и посметь
Твою любовь ко мне воспеть.
— Судить не торопись, начни читать поэта!
Любовью сердце стеснено,
Тобой одной оно согрето!
Но то, чем полнится оно,
Земною лирою не может быть воспето!²

Концовка была галантной, все написано очень ловко, с чисто вольтеровским изяществом. Но кто бы ни писал стихи в пансионе Декотта и Кордые, сам директор или классный наставник, Эжен или Виктор Гюго, тысячи рифмованных строк, рождавшихся у них из-под пера, были довольно плоскими. То было время заката прежнего направления в поэзии. Делиля и Парни все еще считали великими поэтами. Французская Академия избирала их учеников в число «бессмертных». Язык был упорядочен, отлакирован, застыл в величественной неподвижности. Слова были разделены на благородные и простонародные. Любой экипаж именовался колесни-

¹ Виктор Гюго. LIV («Океан»).

² Перевод М. Ваксмахера.

цей, щеки — ланитами, ветер называли аквилоном, воду в реке — речной волной, лошадь — скакуном, королей — монархами, шпагу — мечом, поэта — нежным любовником девяти¹ сестер. Большинство простых терминов было изгнано. Слово «лодочник» стало запретным, несчастному писателю предоставлялось выбирать между кормчим и перевозчиком. Ребяческие и вместе с тем старческие вкусы требовали, чтобы поэзия была полна холодных безумств, ханжеского дидактизма или банальной галантности. Братьям Гюго, как и всем рифмоплетам той поры, оставалось только следовать установленным образцам.

Однако Виктор уже и в то время проявлял природное стремление к музыкальности стиха, гибкости строфы, инстинктивное ощущение стиля и поэтому чувствовал в произведениях Горация и Вергилия красоты, исчезающие в перифразах какого-нибудь Делиля. Бискара, проверяя переводы своего любимого ученика, говорил удивленно: «В этих стихах такая яркая палитра, какую я не нахожу ни у одного поэта». Он хвалил строку: «Упиваться резней и разбрызгивать кровь» или такую: «И с хрустом алчные клыки их кости разгрызали».

Дидона бедная, ты жертвою своих мужей была:
Сихей почил — и ты ушла, ушел Эней — ты умерла.

Это двустигшие блестяще передает Авзония. А друге, в конце первой «Буколики», сохраняет изящество оригинала:

Течет над кровлями дымок и рвется на простор,
И тени, становясь длинней, нисходят с этих гор.

Вергилий отвечал двум потребностям этого ребенка — тяготению к таинственности и к ясному, четкому, отточенному слогу. Прочтя поэму в пятьсот строк о всемирном потопе, Бискара нашел, что в ней тридцать две строки хороших, пятнадцать — очень хороших, пять строк — посредственных. Сам Виктор был более требователен и каждый год сжигал тетрадь со своими поэтическими опытами — убогие тетрадки, сшитые им собственноручно с помощью бечевочки, завязанной узелком; ведь он получал только два су в день на свои расходы и тратиться на покупки надо было с осторожностью. Стихи своих детских лет он начал сохранять только с одиннадцатой тетради. Скромный и усердный труженик, он сам смиренно добивался критических замечаний. Горделивый Эжен, наоборот, любил

похвастаться своим дарованием. Оба воздавали честь в своих стихах любимой матери, которая не имела разрешения брать сыновей к себе и сама навещала их в пансионе. Во всех своих трудах и успехах «сыновья думали только о том, какое удовольствие они доставят маме». В четырнадцать лет Виктор посвятил ей трагедию в стихах — «Иртамена»:

Мама, видишь стихи неумелые эти?
Ты сурово на них не смотри.
Я твой сын, а они — мои робкие дети,
Ты улыбкою их одари!
Эти строки не розы Расина,
Что бессмертную славу ему принесли;
Как цветы полевые, невинно,
Эти строки для мамы моей расцвели.

То и дело повторявшееся наивное, детское слово «мама» показывало, что сердце юного поэта всецело принадлежало матери. «Иртамена» — это подражание Расину или, скорее, Вольтеру, но стих поражает своей непринужденностью и гибкостью. Сюжетом трагедии была, разумеется, победа законного повелителя над узурпатором. «Когда тиранов ненавидим, любить должны мы королей», — провозгласил в заключение автор. Иначе говоря, кто ненавидел Бонапарта, должен любить Людовика XVIII. В тетради «Разные стихи» (1816—1817) имеется запись, датированная сентябрем 1817 года: «Мне пятнадцать лет, написано плохо, я мог бы написать лучше», а на другом листке: «Глупости, сотворенные мною до моего рождения». Верно, эти стихи не назовешь шедеврами, но верно и то, что от юноши, способного на такой упорный, нерушимый труд и такие блестящие успехи, можно было всего ожидать.

Сохранившиеся тетради содержат тысячи стихотворных строк: тут и целая комическая опера, и мелодрама, написанная прозой, — «Инес де Кастро», и набросок пятиактной трагедии в стихах «Ателия, или Скандинавы», и эпическая поэма «Всемирный потоп»; ко всем произведениям имелись иллюстрации в виде рисунков на полях, причем некоторые из них смелостью игры света и тени напоминают рисунки Рембрандта. Надо добавить, что в то же самое время Виктор готовился к вступительным экзаменам в Политехническое училище, что у него были хорошие отметки по математике и что с конца 1816 года он вместе с Эженом, который был старше его на два года, занимался в коллеже Людовика Великого — с восьми часов утра до пяти ча-

сов вечера. Писать стихи он мог, только отнимая часы от сна и работая при свече в своей чердачной каморке, представлявшей собою в июне раскаленную печь, а в декабре — ледник, каморке, из окна которой открывается вид на башни собора Сен-Сюльпис, приспособленные в то время для оптического телеграфа. Однажды Виктор, повредив себе колено, вынужден был несколько недель пролежать в постели, и это позволило ему еще больше отдаться любимому делу. Феликс Бискара, славный человек, беспокоился: «С грустью замечаю, что здоровье ваше ухудшилось; так же, как и вы, полагаю, что причина тому — ваши бессонные ночи. Во имя всего святого, во имя нашей с вами дружбы, поберегите себя...» Но ведь «своя ноша не тянет», любимый труд не утомляет.

Тысяча восемьсот семнадцатый год. «Французскую армию одели в белые мундиры, на австрийский лад... Наполеона сослали на остров Святой Елены, и так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он приказывал перелицовывать свои старые сюртуки... В морском министерстве повели расследование по поводу крушения фрегата «Медуза»... Большие газеты стали совсем маленькими... Разводы были запрещены. Лицеи назывались теперь коллежами... Шатобриан каждое утро вставал перед окном своей спальни в доме № 27 по улице Сен-Доминик в панталонах со штрипками, в домашних туфлях, в пестрой шелковой повязке на седой голове и, устремив глаза в зеркало, раскрыв перед собой шкапулку с полным набором инструментов дантиста, осматривал свои прекрасные зубы, в то же время обдумывая варианты «Монархии согласно Хартии», которые он затем диктовал своему секретарю, господину Пилоржу...»¹ Французская Академия объявила конкурс стихотворных произведений, предложив для него следующую тему: «Счастье, которое при всех обстоятельствах жизни дает человеку учение». Виктор Гюго сказал себе: «А что, если попробовать?» Для него задумать — значило и выполнить задуманное. Он сочинил 334 строки:

С Вергилием в руках, один в глуши лесной...
Люблю я тишину и ветви надо мной,
Люблю я здесь бродить, следить игру теней,
Дидону вспоминать и горевать над ней...

Оригинально это? Нисколько. Поэт пожертвовал собственными вкусами в угоду обветшалому класси-

¹ Виктор Гюго. Отверженные.

цизму академиков, который, впрочем, почитала и госпожа Гюго. Правильно сложенные, аккуратно построенные стихи выражали искреннее чувство юноши, который, изучая Цицерона или Демосфена, мечтает последовать их примеру, а потом открывает, что его герои кончили жизнь в немилости.

Герои, вы ушли... а я — всего лишь я!
Ну что ж... я одиночество постиг —
Наедине с собой, среди любимых книг...

Поэма написана, но еще надо отдать ее в канцелярию Академии. Однако воспитанники пансиона Кордье жили как в тюрьме. Виктор Гюго открылся Феликсу Бишара, который водил пансионеров на прогулки, и этот славный малый повел колонну учеников к дворцу Мазарини. Пока они разглядывали купол и каменных львов, классный наставник и его подопечный помчались в канцелярию Академии и вручили поэму швейцару в скуфейке. Выйдя на улицу, они наткнулись на Абеля, старшего брата, который и по возрасту, и как любимец отца пользовался большей свободой. Пришлось во всем ему признаться. Затем младший брат догнал своих товарищей и вернулся в пансион к задачам по алгебре.

Через несколько недель, когда он бегал на школьном дворе взапуски, туда вдруг явился Абель. «Иди сюда, дурачина!» — позвал он брата. Ведь Абель был уже офицер, а потому обращался с младшими братьями, как с детьми, и говорил с ними ласково, но покровительственным тоном. Виктор подошел. «Ну, что тебя дернуло написать, сколько тебе лет? — спросил Абель. — Академия решила, что ты хотел ее мистифицировать. А не будь этого, ты бы получил премию. Ну, и осел ты! Теперь дадут только почетный диплом». Однако мнение Абеля было не совсем верным: премия ускользнула от Виктора Гюго не по этой причине. Произведение его заняло на конкурсе девятое место, и Ренуар, постоянный секретарь Академии, автор трагедии «Тамплиеры», написал в своем докладе: «Если правда, что ему столько лет, Академия должна поощрить юного поэта». Отрывок из поэмы был зачитан на публичном заседании: дамы аплодировали, и Ренуар, которому Виктор Гюго послал свою метрику, ответил письмом, предлагая ему прийти в Академию, причем допустил в этом письме грубую орфографическую ошибку. Впрочем, о Ренуаре говорили, что этот поэт, историк и филолог хорошо знает язык — только не французский, а романский.

Старик Кордые, видя, каким блеском засверкал теперь его пансион, стал вдруг настоящим сахар медовичем и разрешил Виктору посетить Академию. Сперва его принял Ренуар, весьма ученый, но грубый человек; он держал себя с мальчиком развязно, и «Виктор острил, что академик знал правила вежливости не лучше, чем правила орфографии»; зато другие академики обласкали его, особенно старейший среди них — Франсуа де Нефшато, который тринадцатилетним подростком получил премию в царствование Людовика XV; тогда Вольтер посвятил его в поэты, написав ему: *«Надо же, чтобы у меня были преемники, и я с удовольствием вижу в вас своего наследника»*. А теперь Нефшато с восторгом видел себя в роли Вольтера. Этот любезный старик был поочередно, как и многие другие, роялистом, якобинцем, министром в годы Директории, графом в наполеоновской Империи. В 1804 году он сказал папе Римскому: «Поздравляю вас, ваше святейшество, с тем, что Провидение избрало вас для коронования Наполеона»; в 1816 году он наивно удивлялся, что Людовик XVIII не назначил его паром Франции. Ривароль так определил его произведения: «Проза, в которую затесались стихи». В ту пору, когда юный Гюго познакомился с Нефшато, тот уже отказался и в жизни и в стихах от всяких эпопей, благоразумно сажал в своем огороде картофель и пытался закрепить за ним нелепое название — «пармантьер». Встреча с этой старой знаменитостью поразила школьника Виктора Гюго; Нефшато рассказывал о 18-м брюмера, но говорил при этом только о себе. Тогда мальчику впервые открылась самовлюбленность литераторов.

Газеты заинтересовались чудо-ребенком. В пансионе число его подданных возросло за счет почитателей Эжена, и тот начал завидовать. Неприятно, когда другой опередит тебя, особенно если удачливый соперник моложе тебя. Впрочем, победитель вел себя скромно. Свое первое напечатанное произведение он посвятил своему первому учителю, господину де ла Ривьеру:

Учитель дорогой, принять
Прошу мой робкий стих — и замираю.
Ты первый научил, уроки мне давая,
Мой неокрепший ум свободно направлять.
Лишь оттого я песни смог слагать,
И лишь тебе их посвящаю¹.

¹ Перевод Г. Кружкова.

Стушевываясь перед Феликсом Бискара, тоже поэтом, но не лауреатом, он писал:

Когда тебе венок подарит Аполлон
И кану в вечность я, в печальный тихий сон,
В своих стихах ты вспомнишь про меня...

Однако он скромничал просто из вежливости. В своем дневнике он говорит более искренне. 10 июля 1816 года, когда ему было 14 лет, он писал: «Хочу быть Шатобрианом или ничем». Выбор имени легко понять. С 1789 года Франция, упивавшаяся древнеримской риторикой, стремилась к величию. После Верньо, Демулена, Робеспьера властителем дум молодежи был Бонапарт. С падением Наполеона образовалась пустота, и надо было найти новую пищу для этой жажды славы. В старике короле с распухшими от подагры ногами не нашлось ничего, способного вызвать восторг; вера в господя бога у сыновей-вольтерьянцев отнюдь не была горячей. Молодые левиты, ронявшие слезы умиления на теплые гетры Людовика XVIII, не отличались искренностью. Выросшие «под грохот чудес, свершавшихся императором...», «вскормленные бюллетенями о победах императора», они не забывали то время, когда Франция была владычицей Европы. Но ведь им нужно было найти что-нибудь достойное любви и в новом времени. И только один Шатобриан был для них поэтической фигурой, связующей настоящее с прошлым. Величие? У кого же было его больше, чем у этого гениального человека с благородными и презрительными манерами, писателя, всегда живописующего себя в борениях с бурями океана и ударами судьбы, украшающего христианство всем очарованием искусства, а монархию — всем престижем верности? После Наполеона юноши тосковали об эффектных позах, а надменное одиночество Шатобриана было эффектным.

Тут Виктор Гюго впервые оказался не согласен с матерью. Его восхищала «Аталà», а Софи Гюго, женщину XVIII века, забавляла «А ла-ла», глупая пародия на этот роман. Маловероятно, что Шатобриан знал первые опыты Виктора Гюго. Он редко бывал в Академии, читать же предпочитал древних римлян и греков, в этом он, конечно, был прав. Однако юные братья Гюго со дня знаменитого упоминания поэмы Виктора пребывали в лихорадочном, радостном волнении. Господин Франсуа де

Нефшато пригласил Виктора к себе на обед, затем поручил ему навести в Национальной королевской библиотеке некоторые справки о «Жиль Блазе», и Виктор привлек к этим изысканиям Абея, который лучше его знал испанский язык. В пансионе Кордые швейцар получил распоряжение свободно выпускать этого необычного ученика. В коллеже Людовика Великого, где он проходил курс наук, оставаясь в интернате Кордые, профессор философии Могра, острослов, либерал, хотя в то время было днем с огнем не сыскать либералов, направляя его в 1817 году на конкурсные экзамены в университет, сказал: «Я рассчитываю на вас. Если уж кто заслужил упоминания Академии, то в университете его по меньшей мере ждет награда». Виктор не получил никакого отличия на экзамене по философии, где ему пришлось развивать доказательства существования Бога, зато получил похвальный лист по естественным наукам за работу на тему, данную Кювье: «Теория росы». У него были большие способности к естествознанию и математике. «Все мое детство было долгим мечтанием, к которому примешивались занятия точными науками... Впрочем, между точным и поэтичным нет никакого несоответствия. Число играет в искусстве такую же роль, как и в науке...»

Летние каникулы в 1817 году «были для Виктора сплошным праздником», все друзья поздравляли его с литературными успехами. Абель, видя, что военная карьера закрыта для него, расстался с мундиром и занялся коммерческими делами, продолжая, однако, писать. У него были небольшие деньги, и он организовал ежемесячные литературные вечера, на которых приглашенные, сплошь юноши, должны были читать свои новые произведения. Виктор никогда не пропускал этих вечеров. Эжен, отличавшийся капризным и странным нравом (Феликс Бискара, друг обоих братьев, называл его Бесноватый), в большинстве случаев отказывался от приглашения и запирался у себя в пансионе. Для одного из этих чтений Виктор в три недели набросал повесть «Бюг-Жаргаль» о восстании в Сан-Доминго, поразительную по четкости рассказа, по уменью достигать большого эффекта скугими средствами и во многих местах не уступающую лучшим новеллам Мериме. Тут открылся прирожденный писатель, уже достигший известного мастерства. Все три брата Гюго мечтали основать совместно литературный еженедельник «Ле Леттр

бретон», но двое из них еще учились в школе, да и не находилось издателя для этого журнала.

В течение всего 1817 года продолжалась открытая борьба Эжена и Виктора с их теткой, госпожой Мартен-Шопин. Эта злая фея не позволяла им даже провести у матери день Нового года. Братья писали ей саркастические письма.

21 мая 1817 года:

Сударыня, позвольте напомнить вам, что мы с 1-го числа сидим без денег. Так как наши потребности не уменьшились, мы вынуждены были войти в долги. Посему просим вас прислать шесть франков, кои причитались нам, а именно: три франка — к 1 мая и три франка к 15 мая; просим также прислать парикмахера и поговорить с госпожой Дежарье относительно нашей обуви и головных уборов. Примите, сударыня, уверения в чувстве почтения и признательности, которые вы заслуживаете с нашей стороны.

Виктор Гюго, Эжен Гюго

Абель, который до этого был любимцем генерала, храбро вмешался в конфликт и выступил на защиту братьев.

Абель Гюго — генералу Гюго, 26 августа 1817 года:

Всякий другой гордился бы такими детьми, а ты видишь в них негодяев, озорников, способных опозорить имя, которое ты сделал почтенным своими ратными подвигами... Нет, отец, я знаю тебя — ты написал роковое письмо, но продиктовало его тебе не твое сердце, — ты еще любишь своих детей. Злой гений, исчадие ада, демон, коего ты должен был бы признать виновным в твоих несчастях, а не наша достойная мать, ослепляет тебя, — и ты видишь признаки ненависти там, где должен был бы найти доказательства любви, если бы решился приблизиться к сердцам, нежно любящим тебя... Настанет день, когда ты увидишь в истинном свете адское создание, о котором я говорю, придет час нашего мщения; мы вновь обретем своего отца...

Катрин Тома, или «*Мадам*», как называл ее в своей переписке генерал Гюго, возмущившись письмом Абеля, добилась, чтобы ее любовник не ответил ему. Пропасть, отделявшая отца от трех его сыновей, все ширилась. 3 февраля 1818 года произошло важнейшее событие: суд вынес приговор, утверждавший раздельное жительство супругов Гюго. Дети оставались при «госпоже Требуше», и она должна была получать от мужа содержание в сумме трех тысяч франков. Эжен и Виктор пробыли в пансионе до августа. Затем они послали отцу почтительное письмо, в котором просили у него разрешения поступить на юридический факультет, так как юриспруденция — кратчайший путь к прибыльной карьере.

20 июля 1818 года Виктор Гюго писал: «Дорогой папа, ты, конечно, понимаешь, что нам нельзя дольше оставаться у господина Декотта — ведь мы уже закончили курс учения. Просим тебя выдавать нам на наши расходы по восемьсот франков каждому. Хотелось бы попросить меньше, но ты поймешь, конечно, что это для нас невозможно, — ведь ты сейчас даешь нам по триста франков, а когда добавишь пятьсот франков, то просимой суммы лишь при строжайшей экономии хватит нам на расходы по питанию, на покупку книг, плату за правоучение и т. д.»

Генерал проявил щедрость, если учесть, что он сам был в стесненных обстоятельствах: «Я вовсе не нахожу ваши притязания чрезмерными... Поступайте на юридический. Я отдам распоряжение, чтобы вам высылали по восемьсот франков в год, в месячных долях...»

В августе оба брата, ликуя, расстались с пансионом Декотта и Кордые и поселились у матери, в доме № 18 по улице Пти-Огюстен. Квартира их находилась на четвертом этаже и была меньше, чем прежняя, на улице Шерш-Миди, сумма содержания, выплачиваемая отставным генералом с половинным окладом пенсии, не позволяла снять квартиру с садом. Из окна своей комнаты братья Гюго видели двор музея, весь загроможденный гробницами королей Франции, которых Революция изгнала из их усыпальниц в аббатстве Сен-Дени. Сидя друг против друга за маленьким столом, юные поэты целыми днями сочиняли стихи. В шестнадцать лет Виктор Гюго написал стихотворение «Мое прощание с детством»:

Что стало с этою порой?
Вернее, что со мною стало?
Я — как безумец, что устало
И тщетно разум ищет свой...¹

Он сетовал, что приближается старость, и в утешение себе взывал к славе, постоянному предмету своих мечтаний.

О Слава, гений всемогущий,
Певцам своим в дали грядущей
Ты даришь место, возлюбя;
К тебе — все помысли и цели;
Так сделай так, чтобы сумели
Мои стихи достичь тебя².

¹ Виктор Гюго. «Оды и баллады». — Перевод Г. Кружкова.

² Виктор Гюго. Жажда славы («Океан», VI). — Перевод Г. Кружкова.

Был на свете человек, нисколько не сомневавшийся, что слава придет к поэту: мать крепко верила в великое будущее своего сына.

Глава вторая

ПЕРВЫЕ ВЗДОХИ

Нет ничего прекраснее веры любящей матери в гениальность своих детей. Госпожа Гюго не принуждала своих сыновей к занятиям юриспруденцией. Ведь изучение права было просто ширмой, скрывающей их от отца. В действительности Эжен и Виктор в течение двух лет, которые они провели на юридическом факультете, хоть и платили за «правоучение», но на лекции не ходили и не сдали ни одного экзамена. Мать, уже гордившаяся будущим триумфом сыновей, не хотела, чтобы они готовились к карьере адвокатов или чиновников,— нет, Софи Гюго мечтала, что они станут великими писателями. Ни больше ни меньше. День за днем она предоставляла им спокойно работать в их комнатухе с окном во двор, населенный статуями королей, возлежащих на своих гробницах. Мать и сыновья выходили после обеда прогуляться, и можно себе представить эту трогательную картину: Софи Гюго, женщина строгого облика, подобная матери Гракхов, одетая в парадное свое платье амарантового цвета, с кашемировой, затканной пальмовым узором шалью на плечах, выступала неторопливо, а по бокам матери двое юношей, любящие и покорные ее сыновья. Каждый вечер они ходили пешком на улицу Шерш-Миди, где в здании Тулузского подворья по-прежнему квартировал Пьер Фуше, хотя теперь он уже был начальником канцелярии в военном министерстве.

Гостей принимала госпожа Фуше, дама набожная, кроткая, моложавая, и ее дочь Адель, похожая красотой на испаночку,— когда-то она была товарищем в детских играх трех братьев Гюго. *Tres paga una*¹. Теперь им не верилось, что десять лет назад они катали эту очаровательную девушку в тачке по дорожкам сада на улице Фельянтинок и раскачивали на качелях. Госпожа Гюго доставала из мешочка рукоделье и принималась за работу, так же как госпожа Фуше и Адель. Фуше, человек

¹ Трое для одной (исп.).

худой, аскетического вида, с ермолкой на голове и в люстриновых нарукавниках, садился поближе к свече и рылся в папках с делами. Эжен и Виктор, вышколенные матерью, привыкли молчать, пока к ним не обратятся, но в эти безмолвные вечера, когда слышалось только, как потрескивают дрова, горящие в камине, им совсем не было скучно — они смотрели на Адель, склонявшую головку над шитьем, они не могли наглядеться на «ровные дуги черных бровей, на алые губки и золотистые веки», — ведь оба были в нее влюблены. А она если и посматривала иногда украдкой на одного из них, то, конечно, на Виктора: этот белокурый юноша с волосами до плеч, с высоким лбом, с глубоким и простодушным взглядом, производил впечатление уверенной в себе силы и был уже знаменит в их маленьком мирке. Верный друг, Феликс Бискара, переехавший из Парижа в Нант, почтительно писал своему воспитаннику: «Когда-нибудь вы займете место в ряду лучших наших поэтов. Я как будто слышу Расина», а в другом письме он сказал: «Вы всегда пишете хорошо, но на этот раз вы написали лучше, чем хорошо...» Однако юный поэт знал, что истинную славу трудно завоевать. Он мог бы уже и в этом возрасте писать хорошие стихи. Упражнения, которыми послужили для него переводы поэтов Древнего Рима, научили его гибкости в стихосложении. Трудолюбия у него было достаточно; он обладал также врожденным чувством языка. Он овладел формой стиха, она у него уже была прекрасна, но не наполнена содержанием. «Сын госпожи Гюго и Реставрации» еще не нашел в 1819 году горячего сплав, который его дарование могло бы вливать в приготовленные им изложницы. Достигнуты первые успехи на академических конкурсах, его подстерегал опасный соблазн — идти и дальше по этому легкому пути, что сделало бы его рабом моды. Жаргон французской поэзии был тогда мертвым языком. Вместо того чтобы сказать: «Военной славе можно предпочесть радости любви», полагалось писать примерно так:

Пояс Киферы
Не хуже эгиды Паллады!

«Идеалом считалось традиционное сочетание благородного прилагательного с благородным существительным»: *сладостный мир, целомудренная любовь, святая и чистая дружба*. Что касается сюжетов, то во времена

недавно воцарившейся реакции они диктовались молодому поэту его политической позицией. Что мог бы Виктор Гюго сказать, будь он искренним? Несомненно, в его творчестве отразились трагические впечатления детской души, слишком рано впитавшей страшные картины, и чувственные мечтания юноши, чистого в жизни, сладострастного в воображении. В пансионе Декотта и Кордые он сочинял для собственного удовольствия анакреонтические стихи:

Сон, ты влюбленных утешенье,
Хоть и бежишь от их очей;
Мужья тебя зовут для мщенья,
Но усыпляешь ты мужей.

Приходят к парижанам в гости
Сны в двери разные, поверь:
К влюбленным — в дверь слоновой кости,
К ревнивым — в роговую дверь.

Мне снилось, Хлою я в объятья
Привлек,— и так был упоен,
Что, право же, не мог бы спать я,
Коль стал бы явью дивный сон¹.

Это напоминало Бертена и Парни, было не лучше и не хуже, чем у них. Что касается Академии, она требовала помпезных од, украшенных риторическими фигурами, апострофами и прозопопеями, насквозь пропитанных возвышенными чувствами, или же (предел академической фантазии) экзотических пасторалей, вдохновленных творениями Шатобриана и смутно их напоминавших. «Индианка Канады, подвешивающая к ветвям пальмы колыбель своего ребенка», и «Дочь Таити» были опытами Гюго в этом духе, стихотворной переделкой романа «Атала».

Вскоре он завязал отношения с Литературной академией в Тулузе, с которой еще была связана память о трубадурах и о Клеманс Изор, что придавало ей ореол старины,— она венчала поэтов, побеждавших на состязании, и под звуки флейт в награду за труды преподносила им золотые и серебряные фиалки, ноготки или амаранты. Эжен послал на конкурс «Оду на смерть герцога Энгиенского» и получил «ноготки из резерва». Молодые поэты чувствовали, что в капитолии Тулузы им оказывают более радушный прием, чем во дворце

¹ Виктор Гюго. Во сне («Оды и баллады»).— Перевод И. Шафаренко.

Мазарини. Виктор Гюго представил также «Оду о верденских девах», казненных во время Революции за то, что они появились на балу, который давали пруссаки; кроме того, он принял участие в конкурсе стихов на предложенную тему — «Восстановление статуи Генриха IV». До последнего дня он не смог взяться за перо, так как ухаживал за матерью, заболевшей бронхитом; больная приходила в отчаяние, что сын упускает случай выдвинуться, и тогда он за одну ночь написал оду:

Геройством равен ты Баярду, Дюгесклену,
Земному неподвластен тлену,
И чтит тебя весь наш народ.

Нерасторжимые с тобой нас вяжут узы,
С любовью этот дар приносим мы, французы,
Защитнику вдов и сирот¹.

Школьное упражнение, показавшее, однако, столь очевидное мастерство в употреблении александрийского стиха попеременно с восьмисложником, в ритмическом равновесии мысли и стиха, что оно принесло поэту Золотую лилию — первую премию на этом конкурсе, где он одержал победу над многочисленными соперниками, в том числе и над Ламартином, который был старше его на десять лет. Член Тулузской литературной академии Александр Суме написал Виктору Гюго письмо, расхвалил его «прекрасный талант» и уже заговорил о «чудесных надеждах», которые он внушает французской литературе: «Если Академия разделяет мои чувства, то у Клеманс Изор не хватит лавровых венков для двух братьев-поэтов. Здесь, в Тулузе, у вас одни лишь поклонники, и им с трудом верится, что вам всего семнадцать лет. Для нас вы загадка, тайну которой знают лишь Музы...» Эта жеманная похвала исходила от писателя, известного не только в Тулузе, но и в Париже, — его даже именовали «наш великий Александр». Суме весьма любезно встречал начинающих поэтов. «В нем все дышало поэзией. Казалось, сердце его переполнено чувством любви к людям». В 1811 году (то есть в возрасте двадцати пяти лет) он получил большой Золотой амарант за свою «Оду на рождение Короля Римского». С переменой политического строя меняются и сюжеты. После возвращения к власти Бурбонов Александр Суме счел за благо удалиться на некоторое

¹ Перевод М. Донского.

время в Тулуз и написать там оду «Хвала Людовику XVI». «Можно,— говорил он,— видеть в этом воздействии политических событий». Разумеется, можно.

Суме, только еще приспособлявшийся в ту пору к монархии Бурбонов, редко бывал в Париже, но у него были там друзья, с которыми он познакомил и Виктора Гюго. Он ввел его в дом крупного чиновника удельного ведомства Жака Дешана де Сент-Аман, любезного и образованного старика, при котором жили два его сына, оба поэты,— Эмиль и Антони Дешан. Вокруг них сложилась группа писателей примерно в возрасте лет тридцати — все они были буржуа, католики и монархисты. Среда обычная, но в ней много говорили о Гёте, о Байроне, о Шиллере, о Шатобриане. Считалось, что Германия и Англия опередили всех в области литературы, так как Франция с 1789 по 1815 год занималась только войнами. В салоне Дешанов мечтали о новой поэзии, там всех волновали посмертно изданные произведения Андре Шенье, опубликованные Анри де Латушем; знатоки восхищались, находя в них совершенно новые ритмы и простоту интонаций, свойственную подлинной античности. К белокурому юноше, Виктору Гюго, люди, уже преуспевшие в литературе, относились, как он видел, серьезно, называли его «дорогой собрат». Он этому не удивлялся, ибо полон был спокойной веры в себя, которую дает сознание своей силы. В сентябре 1819 года, идя по стопам Шатобриана, напечатавшего в своей газете «Консерватор» статью о Вандее, юный Гюго, вандеец по матери, написал оду «Участь Вандеи» и дерзнул посвятить ее Шатобриану. У великодушного Абеля имелся приятель-типограф, ода была напечатана. Расходилась она плохо. Но в Париже о ней говорили.

Одна черноглазая девушка с волнением следила за быстрым взлетом своего друга. То была Адель Фуше. Как-то раз, когда они сидели вдвоем под высокими каштанами, она сказала ему: «У тебя, наверно, есть какие-нибудь секреты. И наверно, есть среди них самый важный секрет». Он подтвердил это. «И у меня так,— сказала Адель.— Ну вот, слушай: скажи мне свой самый важный секрет, а я тебе скажу свой». — «Мой важный секрет,— ответил Виктор,— это то, что я тебя люблю». — «И мой важный секрет — это то, что я тебя люблю», — повторила она. Разговор происходил 26 апреля 1819 года. Оба влюбленных были робкими и благоразумными созданиями, он — пылкий и серьезный,

она — очень благочестивая. Любовь их оставалась невинной и от этого окрепла еще больше. «После твоего ответа, моя Адель, я не уступлю в храбрости лъву».

Фуше провели лето в Исси, в окрестностях Парижа, Виктор иногда ездил туда вместе с матерью, а остальное время думал об Адели. «Сердечная склонность обратилась в неодолимое пламя». Зимой 1819—1820 года завязалась переписка. Виктор, читавший «Вертера» и «Рене», Тибулла и Катутла, переводивший любовные стихи Горация, горел втайне страстью, Адель, семнадцатилетняя буржуазка, получившая строгое воспитание, стыдилась своей любви, как «греха». Она была горда, что в нее влюблен молодой человек, уже стоявший на пороге славы, но стыдилась своих свиданий с ним и тайной своей переписки — бедняжка боялась родителей и духовника. В декабре 1819 года, когда Виктор принес ей поэму «Первые вздохи», написанную для нее, и попросил в обмен подарить ему двенадцать поцелуев, — она сначала обещала, потом стала торговаться и поцеловала его только четыре раза.

Я жду награды, изнемог!
Но твой стыдливый страх, борясь с твоей любовью,
Расплаты отдаляет срок¹.

Виктор, сформировавшийся под влиянием матери, относился к жизни серьезно. Он уже и в те дни стал думать о женитьбе и не хотел компрометировать свою невесту.

«Влюбленный, ты будешь супругом, храни же ее чистоту». Он простирался ниц у ног этой девочки: «Так это правда? Ты любишь меня, Адель? Да неужели мне можно верить в это чудо? Какое счастье ты мне подарила! Прощай, прощай. Сладко мне будет спать нынче ночью — я буду видеть тебя во сне. Спи крепко и помни, что ты обещала своему мужу поцеловать его двенадцать раз...»

Адель отвечала ему иногда в письмах как влюбленная женщина, но гораздо чаще как примерная девочка, которую бранит мать. Госпожа Фуше заявила, что она «очень недовольна», зачем ее дочь выражает симпатию молодому человеку.

Адель — Виктору:

«Ведь это очень плохо, Виктор, когда дочь хочет, чтобы мать ушла куда-нибудь... Я просто в отчаянии — хочу молиться, но молюсь только устами, а вся моя душа стремиться к тебе. Это, конечно, прискорбно... Чуть только моя дорогая матушка отвернется, я ее обманываю — берусь за перо...»

¹ Виктор Гюго. Молодой изгнанник («Оды и баллады»). — Перевод М. Донского.

И она умоляла Виктора быть осторожным. Хоть и с сожалением, но он это обещал ей.

Виктор Гюго — Адели Фуше, 19 февраля 1820 года:

Думаю, что теперь мы действительно должны соблюдать на людях величайшую сдержанность друг с другом; лишь ценою долгой внутренней борьбы я мог решиться посоветовать тебе выказывать мне холодность,— мне, твоему суженому, твоему Виктору, который отдал бы все на свете, чтобы избавить тебя от малейшего огорчения; да еще я должен принудить себя не садиться больше рядом с тобой. И вот, дорогая моя подруга, заклинаю, жалься над несчастным ревнивцем, сторонись других мужчин так же, как будешь сторониться меня самого. Больше меня не увидят в соседстве с тобою, так пусть же мне хоть малым утешением будет то, что другим не достанется счастье, от которого я в твоих интересах вынужден отказаться. Будь около своей матушки, находишься среди других женщин. Адель, дорогая моя, если бы ты знала, как я тебя люблю! Я не могу видеть, как другой хотя бы просто приближается к тебе,— весь я тогда трепещу от зависти и нетерпения: мышцы мои напрягаются, вздох поднимает грудь, и мне нужна бывает вся моя сила и осмотрительность, чтобы сдерживать себя...

Однако 28 декабря они с разрешения родителей и в сопровождении младшего брата Адели (Поля Фуше) были в Театр-Франсэ, где давали в тот вечер «Гамлета». «Скажи мне, дорогая, запомнилось ли тебе что-нибудь из этого чудесного вечера? Помнишь, как мы долго ждали твоего брата на соседней с театром улице и как ты мне сказала тогда, что женщины любят сильнее, чем мужчины? И помнишь ли ты, что весь вечер во время представления твоя рука опиралась на мою руку? Я говорил тебе о неизбежных несчастьях, грозящих человеку,— и они действительно вскоре обрушились на нас...»

Однажды Адель спрятала письмо за корсаж платья, и, когда наклонилась, чтобы обуться, оно выпало. Госпожа Фуше спросила: «Что это такое? Скажи мне. Я требую». Девушка рассказала, как сильно Виктор любит ее, и призналась, что они решили пожениться. Мать обсудила положение с мужем, и они пришли к выводу, что возможны только два выхода: или помолвка, или разлука. Пьер Фуше был не прочь выдать дочь за Виктора. С генералом наполеоновской империи, хоть и переведенным на половинную пенсию, все же лестно было породниться. Кроме того, Фуше верил в будущие успехи юноши и знал, какого мнения держатся о нем умные люди. Но следовало выяснить дело начистоту, а то кругом уже пошли толки. Адель написала Виктору:

«Все кумушки в нашем квартале смеются надо мной, и, хотя их сплетни не погубят меня, они все же очень мне вредят. С другой стороны, как мне не упрекать себя — я нехорошо поступаю с матушкой, а ведь я люблю ее, я все готова сделать ради нее... Ах, дорогой Виктор, как я виновата перед ней! Я не удивлюсь, если ты, при таком моем поведении, станешь презирать меня...»

Он был очень далек от презрения, но стремился властвовать над ней и даже давал ей уже супружеские наставления.

«Теперь ты дочь генерала Гюго. Не делай ничего недостойного тебя. Не допускай, чтобы с тобой держали себя неуважительно; мама очень щепетильна в этом отношении...»

А сам он был еще щепетильнее.

«Одной булавкой меньше заколота у меня косынка — и он уже сердится,— говорила Адель.— Самая легкая вольность в языке его коробит. А можно себе представить, какие это были «вольности» в целомудренной атмосфере, царившей в нашем доме; матушка и мысли не допускала, чтобы у замужней женщины были любовники,— она этому не верила! А Виктор видел везде опасность для меня, видел зло во множестве всяких мелочей, в которых я не замечала ничего дурного. Его подозрения заходили далеко, и я не могла всё предвидеть...»

Виктор Гюго — Адели Фуше, 4 марта 1820 года:

Моя дорогая, милая моя Адель. Мне надо кое-что сказать тебе, но я смущаюсь. Не сказать нельзя, а как приступить — не знаю... Я хотел бы, Адель, чтобы ты меньше боялась испачкать грязью подол платья, когда ходишь по улице. Я только вчера, но с большой грустью заметил, какие предосторожности ты принимаешь... Мне кажется, что стыдливость важнее, чем платье. Не могу выразить, дорогой друг, какой пыткой было для меня то, что я испытал вчера на улице Сен-Пер, когда увидел, как на тебя, мою чистую, целомудренную, мужчины бросают бесстыдные взгляды. Мне хотелось предупредить тебя, но я не смел, не находил в замешательстве нужных слов. Не забывай того, что я написал здесь, если не хочешь поставить меня перед необходимостью дать пощечину первому же наглецу, который дерзнет разглядывать тебя...

Очень любопытны эти письма к невесте, полные «благонравия, избитых истин», написанные «искренностью влюбленного пай-мальчика» и «добродетельной выпренности». Язык их — «шаблонный в годы Реставрации»... Но разве мог этот юноша быть вне своего времени и своей среды? И как он дерзнул бы сказать этой набожной и чистой девочке, что за мысли приходят ему на ум? Близ Адели его томило желание, сочетавшееся с глубокой почтительностью к невесте, и он не знал, куда деваться от смущения. Она замечала эту скованность и дурно ее истолковывала. «Мало того, что я совсем больна от огорчений и тоски! — жалова-

лась несчастная Адель.— Я еще, оказывается, докучаю тебе в те краткие мгновения, когда ты бываешь со мной...» «Скука запечатлена на твоём лице и в каждом твоём слове...» Сколько терзаний! У него даже явилась мысль в духе Вертера: не может ли он жениться на Аделе, быть её мужем лишь одну ночь, а наутро покончить с собой? «Никто не мог бы упрекать тебя. Ведь ты была бы моей вдовой... За один день счастья стоит заплатить жизнью, полной несчастий...» Адель не желала следовать за ним по пути столь возвышенных страданий и возвращала его к мыслям о соседских сплетнях на их счет. Мать говорила ей: «Адель, если ты не перестанешь, если не прекратятся толки о тебе, я вынуждена буду поговорить с Виктором или, пожалуй, с его матушкой, и ты окажешься причиной, дочь моя, что я поссорюсь с той, которую я люблю и очень уважаю...»

Какой ужас объял Виктора, когда 26 апреля 1820 года, утром, в годовщину взаимного объяснения в любви, супруги Фуше с торжественным видом пожаловали к госпоже Гюго и попросили уделить им время для серьезного разговора. Софи Гюго была матерью страстной, она ревновала своего сына и гордилась им. Она знала, она нисколько не сомневалась, что Виктора ждет блистательная слава. Кроме того, он был сыном генерала графа Гюго. Неужели он испортит себе жузнь, женившись в восемнадцать лет на Аделе Фуше? Нет, «пока мать жива, этому браку не бывать».

Естественным, неизбежным следствием этой оскорбительной, враждебной позиции была холодность, «почти что ссора». Виктора позвали в гостиную и сообщили ему о разрыве. В присутствии стариков Фуше он сдержал свое горе, но не отрекся от своей любви. Они ушли. «Видя, что я бледен и не говорю ни слова, мать принялась утешать меня с необычайной нежностью; я выбежал из комнаты и, когда остался один, плакал долго и горько...» Ему и на ум не приходила мысль поколебать решение матери. Он знал, что она «непреклонна и неумолима», и «ненависть ее так же нетерпима, как пламенная ее любовь...». Что касается бедняжки Адели, то родители, вернувшись домой, просто сказали ей, что она никогда больше не увидит ни графини Гюго, ни Виктора. Любил ли он ее еще? Она этого не знала. Родители заявили, что он отказался бывать у них. Между влюбленными опустился занавес молчания.

Глава третья
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНСЕРВАТОР»

Гюго, как и подобает настоящему поэту, был первоклассный критик...

Поль Валери

Любовь не задалась; он искал утешения в работе. Абель решил, что трем братьям Гюго надо наконец издавать свой журнал. Шатобриан, их учитель, назвал свой журнал «Консерватор», а их журнал будет называться «Литературный консерватор». Он выходил с декабря 1819 по март 1821 года и в основном составлялся Виктором. Абель написал несколько статей; обидчивый Эжен держался в стороне и содействовал немногим — дал несколько стихотворений. Бискара писал Виктору из Нанта, заклиная его заставить брата работать: «А иначе он погибший человек...» Только благодаря кипучей энергии младшего брата журнал получал пищу; под одиннадцатью псевдонимами Виктор Гюго напечатал там за шестнадцать месяцев сто двенадцать статей и двадцать два стихотворения.

Просматривая номера «Литературного консерватора», несвольно удивляешься уму и образованности этого мальчика. В критике литературной, критике театральной, в иностранной литературе он проявляет глубокую осведомленность; он, несомненно, обладал подлинной культурой и особенно хорошо знал римскую и греческую античность. Его философские воззрения благородны. О Вольтере, которым он тогда восхищался, он говорил с упреком: «Это прекрасный гений, написавший историю отдельных людей для того, чтобы обратить свой сарказм на все человечество... А ведь это все-таки несправедливо — находить в анналах мировой истории только ужасы и преступления...»¹ Однако в оценке прошлого Гюго и сам проявлял саркастический цинизм, порожденный картинами того времени: «Римский сенат заявляет, что он не будет давать выкуп за пленных. Что это доказывает? То, что у сената не было денег. Сенат вышел навстречу Варрону, бежавшему с поля битвы, и благодарил его за то, что он не утратил надежды на Республику. Что это доказывает? То, что

¹ Виктор Гюго. Дневник юного якобита 1819 года.

группа, заставившая назначить Варрона полководцем, была еще достаточно сильна для того, чтобы не допустить его кары...» Сама мысль, четкость стиля, обширные познания — все возвещало в этом юноше крупного писателя. В политике он оставался монархистом:

Ты говоришь: чудак ужасный он —
Нравоученья, спесь, ворчливый тон...
О нет! В шестнадцать лет я ученик,
Я скромно познаю премудрость книг:
Я Монтескье читал, мне люб Вольтер,
А «Хартия» — в ней строгости пример...
Я консерватор?.. Нет, противник бурь...¹

В литературе братья Гюго придерживались робкого эвектизма: «Мы не могли понять, какая разница между жанром классическим и жанром романтическим. Для нас пьесы Шекспира и Шиллера отличались от пьес Корнеля и Расина тем, что в них больше недостатков...» Однако Виктор Гюго имел смелость сказать, что если надо учиться у Делиля, то это учитель опасный. Гюго уже видел худосочие академического эротизма в поэзии. «Для художника любовь — неиссякаемый источник ярких образов и новых мыслей; совсем не то получается при изображении сладострастия. — там все материально, и, когда вы исчерпаете такие эпитеты, как «алебастровый», «белорозовый», «лилейный», — вам уж больше и нечего сказать...» Он требует, чтоб у поэта был «ясный ум, чистое сердце, благородная и возвышенная душа». У него верное критическое чутье: «Когда же в наш век литература будет на уровне его общественных движений и появятся поэты, столь же великие, как события, коими он отмечен?...» Юный поэт считал, что пошлость в такую эпоху непростительна, «потому что уже нет Бонапарта, некому привлечь к себе даровитых людей и делать из них генералов».

В литературе Виктор Гюго восхищался только теми, кто действительно этого был достоин: «Корнелем, у которого он находил смелую фантазию, особенно в комедиях; Шенье, которого только что открыл Латуш и над гробом которого свирепствовали в своей критике поборники классицизма; Вальтером Скоттом, влияние которого на литературу он предвидел; Ламартином, чьи

¹ Виктор Гюго. Ответ на послание королю господина Урри («Оды и баллады»).

«Поэтические думы» изданы были в 1820 году: «Вот наконец настоящие поэмы настоящего поэта, стихи, исполненные настоящей поэзии...» Простота Ламартина поражала Гюго: «Эти стихи поначалу меня удивили, а затем очаровали. В самом деле, они свободны от нашей светской изысканности и нашего заученного изящества...» В сравнительной оценке Шенье и Ламартина у Гюго есть замечательная фраза: «Словом, если я хорошо уловил различия меж ними, весьма, впрочем, незначительные, то первый является романтиком среди классицистов, а второй — классицист среди романтиков».

В 1820 году Виктор Гюго носил в кармане записную книжку, в которую заносил свои мысли: «По жизни так же трудно шагать, как по грязи.— Шатобриан переводит Тацита точно так же, как Тацит переводил бы его.— Министры говорят все, что вам угодно, лишь бы делать то, что им угодно...» Юноше, который набрасывал такие заметки, было восемнадцать лет. В его записной книжке были и такие строки: «Де Виньи говорит, что, когда Суме воодушевляется, его душа прохлаждается у окошечка...» Суме и его тулузские друзья — вулканический Александр Гиро, граф Жюль де Рессегье — играли первостепенную роль в «Литературном консерваторе». «Суме, поэт каждой черточкой своего облика, пленял своими длинными черными ресницами, ангельским выражением лица, взбитым коком, которому он тоже умел придать что-то вдохновенное. Он был способен на большую самоотверженность, лишь бы его немедленно подвергли испытанию. «Но с ним,— говорила Виржини Ансело,— ничего не следовало откладывать до завтра». Гиро «своей живостью напоминал белку и всегда как будто вертелся в колесе...». Виктор Гюго мог считать себя их собратом, ведь его поэтическое мастерство получило признание на конкурсе Литературной академии в Тулузе. Другим ценным сотрудником журнала были братья Дешан, отец которых принимал всю эту молодежь в своих прекрасных апартаментах: Антони — немного странный, Эмиль — нежно любящий сын, верный муж некрасивой жены, «очаровательный, чересчур очаровательный человек». «Этот поэт — светило? Нет,— свечка», — говорил он о Жюле Рессегье. Остроту обратили против него самого.

В 1820 году Эмиль Дешан познакомил Виктора Гюго со своим другом детства Альфредом де Виньи, красавцем лейтенантом королевской гвардии и поэтом, ко-

торый, однако, еще не печатался. Вначале отношения были церемонными, новые знакомые называли друг друга: господин де Виньи, господин Гюго. Виньи состоял в гарнизоне Курбвуа, Гюго пригласил его к себе домой: «Вы, надеюсь, заглянете к нам. Поскучаете с нами, зато доставите нам удовольствие». Что это — показное смирение? Конечно, но юноше было и немного страшно принять в своем доме человека старше его на пять лет, блестящего гвардейского офицера, гордого своей родовитостью. Напрасные страхи — Виньи, которому уже начали надоедать золотые эполеты и длинная сабля, стал другом не только Виктора Гюго, но и Абея, и «неустрашимого Гарольда», как он называл Эжена. «Вы же видите, что я ужасно соскучился о всех трех братьях, — писал он им. — Приезжайте, у нас будут долгие беседы, за которыми время летит незаметно».

Опять-таки через Дешана Гюго познакомился с Софи Гэ и с ее прелестной дочерью Дельфиной, которая еще подростком писала стихи, казавшиеся, благодаря ее красоте, восхитительными; через Виньи он познакомился с лучшими его друзьями — Гаспаром де Понс и Тейлором, офицерами того же полка. Понс был поэтом, а Тейлор — просто любителем литературы. Но, разумеется, больше всего Гюго хотелось встретиться с Шатобрианом. «Гений христианства», «очаровавший его своей музыкальностью и красочностью», открыл ему некий поэтический католицизм, «хорошо сочетавшийся с архитектурой старинных соборов и величественными библейскими образами...». Гюго быстро перешел от вольтерьянствующего роялизма своей матери к христианскому роялизму Шатобриана, надеясь, что это немного сблизит его с семейством Фуше, где все были набожными католиками. Когда убили герцога Беррийского, Виктор Гюго написал на его смерть оду, которая произвела большое впечатление; одна строфа ее исторгла слезы у престарелого Людовика XVIII.

Спеши, седой монарх, недолог счет мгновеньям:
Бурбонов юный сын отходит в мир иной.
Он для тебя был всем — надеждой, утешеньем,—
И ты глаза ему закрой¹.

Обращение к родным умершего — банальная риторика, но в те времена у монархии не было ничего

¹ Виктор Гюго. Смерть герцога Беррийского («Оды и баллады»). — Перевод И. Шафаренко.

лучшего, и выраженное в стихотворении чувство растрогало короля; он приказал вручить юному поэту награду в пятьсот франков. Депутат парламента, монархист Ажье, поместил в «Драпоблан» статью об этой «Оде» и привел отзыв Шатобриана о Гюго: «Возвышенное дитя». Действительно ли Шатобриан произнес эти слова? Доказательств не имеется. Сам виконт Шатобриан морщился, когда ему об этом напоминали. Однажды вечером, в 1841 году, в салоне госпожи Рекамье, граф Сальванди, которому в скором времени предстояло произнести речь о принятии Гюго в Академию, сказал Шатобриану: «Я ограничусь парафразами вашего прекрасного отзыва: «Возвышенное дитя». — «Но я никогда не говорил этой глупости!» — нетерпеливо воскликнул Шатобриан.

Как бы то ни было, Ажье повел Виктора Гюго в дом № 27 по улице Сен-Доминик, и прием состоялся — такой, каким он только и мог быть: остроносая госпожа Шатобриан сидела на диванчике, не шелохнувшись и не открывая рта; Шатобриан, в черном сюртуке, хилый, худенький, сгорбленный, стоял прислонившись к камину и старался выпрямиться во весь рост. Постаревший Рене не жалел похвал, «однако ж и в его позе, и в интонациях голоса, и в манере раздавать чины писателям было нечто властное и столь величественное, что Виктор Гюго почувствовал себя скорее униженным, чем охваченным восторгом. Он смущенно бормотал в ответ что-то невнятное, и ему очень хотелось поскорее уйти...». По настоянию матери он приходил к Шатобриану еще несколько раз, но и эти посещения не порадовали его, за исключением одного забавного визита, когда он был допущен поздним утром в час пробуждения виконта и удостоен любопытного зрелища — к удивлению своего ученика, Шатобриан при нем принимал душ, а затем слуга растирал его нагое тело. У старого Волшебника была манера делать грозные паузы, отчего беседа затихала, и с ледяной учтивостью показывать, что ему скучно... «Он внушал больше почтения, чем симпатии; люди чувствовали, что перед ними гений, а не просто человек...»

Литература нередко бывает для писателя способом передать своим любимым то, чего он не может им сказать. Гюго каждый месяц посылал господину Фуше очередной выпуск «Литературного консерватора», в котором помещал хронику о мелких административных дея-

ниях его министерства, как будто они были важными мероприятиями, — он надеялся, что журнал попадет на глаза Адели. Там он напечатал элегию «Молодой изгнанник», в которой ученик Петрарки, Раймондо д'Асколи, изгнанный своим отцом за любовь к юной девушке, говорит, что он покончит с собой:

Я смею вам писать. Увы, как это мало!
Что передаст вам гладь бумажного листа?
Ведь ваша нежность так чиста,
Что в час свидания нас робость обуяла
И слова не смогли произнести уста...¹

Этих стихов не постыдился бы и Лафонтен. Прочитала ли их Адель? Гюго попытался также выразить свою любовь и в прозе — написал неистовый роман «Ган Исландец», в котором изобразил себя под именем Орденера и Адели в образе Этель.

«Душа моя была полна любви, скорби и юношеских чувств; я не осмеливался доверить ее тайны ни одному живому созданию и выбрал немого наперсника — бумагу...»

Незаконченный «Ган Исландец» не мог быть напечатан в «Литературном консерваторе», ибо журнал скончался в марте 1821 года, или, точнее, слился с «Летописью литературы и искусства». Слияние является для журналов наиболее почетной формой самоубийства. Для «возвышенного дитяти» «Литературный консерватор» был полезным опытом. «Годы журналистики (1819—1820), — писал Сент-Бёв, — были в его жизни решающим периодом: любовь, политика, независимость, рыцарские чувства, религия, бедность, слава, приобретение знаний, борьба против судьбы во всю силу железной воли — все оказывало свое воздействие, все задатки проявились сразу, разрослись и достигли той высоты, которая свойственна гению. Все запылало, перемешалось, сплавилось в глубине души на вулканическом огне страстей, под знойным солнцем самой жадной до жизни молодости, — и вот получился таинственный сплав, кипящая лава под крепкой, прочной броней гранита...» Было в этом юноше что-то другое, большее, чем дарование крупного журналиста, но и этим драго-

¹ Виктор Гюго. Молодой изгнанник («Оды и баллады»). — Перевод И. Шафаренко.

ценным даром он обладал и на всю жизнь сохранил искусство придавать повседневному, будничному накал драматичности.

Глава четвертая ОБРУЧЕНИЕ

Моя мать, женщина сильного характера, научила меня тому, что человек может выдержать любые испытания.

Виктор Гюго

Февраль 1821 года. Влюбленные не виделись уже десять месяцев. Госпожа Гюго все перепробовала для того, чтобы ее сын позабыл Адель:

«Она старалась заинтересовать меня светскими развлечениями... Бедная мама! Ведь она сама вложила в мое сердце пренебрежение к свету и презрение к его чванству...»

Он никогда не говорил с ней о своей любви, но мать читала в его глазах, что ни о чем другом он не думает. Никакой возможности непосредственного общения с невестой не было. Однако Виктор знал, что она берет уроки рисования у своей подруги Жюли Дювидаль де Монферье и что к ней она ходит одна.

Как-то раз утром он дождался своей невесты около этого дома и заговорил с ней. Сначала она как будто обрадовалась, потом пришла в ужас: какие еще пойдут толки, если ее встретят с молодым человеком! На Виктора она была немного сердита, ведь он сам, из сыновней покорности, согласился больше не видеться с нею. Он поклялся, что только и мечтает о том, чтобы прийти на улицу Шерш-Миди, если это «возможно и прилично». Адель возмутила эти слова. «Истинная любовь,— подумала она,— не ставит таких условий». «Ты сумел отвергнуть мою просьбу прийти к нам...»

Печально положение влюбленных, когда они должны считаться с самолюбием своих родителей. Виктор с горечью воскликнул: «Ради тебя я бросился бы в пропасть; ты остановила меня ледяной рукой...» Адель обиделась: «Очень, очень хочу, чтобы мама встретила нас и увидела, что я разговариваю с тобой. Тогда она отдаст меня в монастырь, и я буду совершенно счастлива...» Ссора влюбленных в духе Мольера — в минуту досады они доходят до сарказмов, но остерегаются разрыва. «Прощай,— грозитя Виктор,— больше, не стану пи-

сать тебе, не стану говорить с тобою, больше не увижу тебя. Будь довольна...» Но через два дня он сказал: «Если, сверх ожидания, тебе захочется еще что-нибудь сообщить мне, ты могла бы написать мне по такому адресу: «Париж, Главный почтамт, до востребования, господину Виктору Гюго, из Тулузской литературной академии...» И разумеется, она написала — еще и еще раз и вновь стала обожаемой Аделью. Записная книжка Виктора Гюго в зиму 1820—1821 года испещрена таинственными заметками: свидания «на улице Драгон, на улице Эшоде, на улице Вьё-Коломбье, в Люксембургском саду (Р.)... Комната-улыбка (х)... Рука-прощание (Люкс. г)...»

26 апреля 1821 года. Двойная годовщина — счастья и отчаяния.

Виктор — Адели:

«Вот начинается второй год несчастья. Доживу ли я до третьего года?.. А сейчас прощаюсь с тобой, моя Адель. Час уже поздний, ты спишь и не думаешь о локоне своих волос, который подарила мне, а твой муж ежевечерне перед сном благоговейно прижимает его к губам...»

Адель — Виктору:

«Пишу тебе в последний раз. Отдам тебе эту записочку второпях, потому что за мной следит весь дом Дювидаль. Итак, я больше не увижу тебя — это невозможно, и больше не буду получать от тебя вестей. Не буду больше обманывать маму, но удовлетворится ли она этим? Не знаю».

И вдруг неожиданная развязка. Госпожа Гюго тяжело заболела. Ей было совсем не полезно жить на четвертом этаже, да еще в доме без сада, и в январе 1821 года она переехала в квартиру, снятую Абелем в первом этаже дома № 10 по улице Мезьер. Сыновья, которых она приучила к ручному труду (и к тому же склонные к нему по семейной традиции), превратились в столяров, маляров, обойщиков, красильщиков, так как у матери уже не было средств, чтобы устроиться на новом месте. Все три сына и она вместе с ними вскапывали землю в саду, сажали, прививали, подчищали дорожки. Однажды она очень устала, разгорячилась, тут же ее продуло, и она заболела воспалением легких. Сыновья проводили бессонные ночи, ухаживая за ней. 27 июня 1821 года, в три часа утра, она умерла у них на руках.

Абель, которого вызвали, помог им выполнить скорбные обязанности. Три брата и несколько друзей, в том числе молодой священник герцог де Роган,

поклонник первых поэтических опытов Гюго, проводили покойницу на кладбище в Вожирар. Вечером Виктор в глубокой тоске бродил по городу. Как он одинок! Умерла та, которая была всем для него. Отец живет в Блуа, такой враждебный или по меньшей мере равнодушный. Невеста отказала. Эжен не может простить ему две обиды: Адель и литературный успех. Уже в те дни, когда они детьми качались на качелях в саду фельянтинок, братья устраивали сражения, чтобы привлечь внимание «будущей красавицы». Со времени триумфов Виктора у Эжена все больше нарастала злоба против брата, и он плохо ее сдерживал. Виктор немного жалел Эжена, но все же ему было приятно чувствовать свое превосходство — удовлетворенное самолюбие младшего. Но вскоре их отношения стали мучительны для него. Эжен уже давно пугал своих близких приступами черной меланхолии, иногда находившей на него, а после смерти матери он стал как сумасшедший.

Ища надежды и утешения, Виктор побрел под дождем к Тулузскому подворью.

Как был он изумлен в этот скорбный вечер, увидев, что у Фуше все окна ярко освещены! Притаившись в тени деревьев, он слышал доносившуюся из дома музыку и веселый смех. Знакомыми закоулками он пробрался поближе к окнам и увидел Адель: в белом платье, с цветами в волосах, она танцевала и улыбалась. Этого удара он всю жизнь не в силах был забыть. Подобные воспоминания позднее помогли ему глубоко понять бедняков, которые, прикинув к окнам богачей, с горечью смотрят на празднества, для них навсегда недоступные. На следующее утро, когда Адель прогуливалась в саду, туда прибежал Виктор, — самое это появление и бледность юноши говорили о каком-то несчастье. Адель бросилась к нему: «Что случилось?» — «Мама умерла. Вчера ее похоронили». — «А я-то вчера танцевала!» Оба разрыдались — и эти пролитые вместе слезы были их обручением.

Господин Фуше отправился на улицу Мезьер, чтобы выразить свое сочувствие, и горячо советовал Виктору уехать из Парижа. Жизнь в столице была дорога, а молодые люди казались очень бедными. Виктор написал отцу, сообщил ему ужасную весть.

Генералу Гюго, 28 июня 1821 года:

Наша утрата огромна, непоправима. Но у нас остался ты, папа, и наша любовь, наше уважение к тебе могут лишь возрас-

ти... Ты должен знать, какая у нее была душа: никогда она не говорила о тебе с гневом. Нам не подобает и никогда не подобало судить о плачевных раздорах, разлучивших тебя с нею, но теперь, когда осталась лишь чистая, светлая память о ней, разве не стерлось все остальное?.. От бедной нашей матушки нам ничего не досталось, лишь кое-какая одежда, дорогая для нас по воспоминаниям. Расходы, коих потребовали ее болезнь и погребение, превысили наши слабые возможности; немногие сохранившиеся у нас ценные вещи — столовое серебро, часы и прочее — ушли на эти надобности, да и могли ли они получить лучшее применение? Мы еще обязаны расплатиться с доктором и с некоторыми другими долгами. Если ты не можешь взять это на себя, мы постараемся впоследствии все заплатить из того, что заработаем своим трудом. Обстановка в доме ничего не стоит, да и принадлежит она Абелью, у которого мама жила вместе с нами, так как сама она не могла платить за квартиру. Главная наша цель сейчас, дорогой папа, как можно скорее не быть тебе в тягость...

Все три сына желали, чтобы отец приехал в Париж уладить их дела; растерявшись, они цеплялись за этот обломок крушения, еще хранивший следы величия. Финансовое положение генерала не улучшилось. Овдовев, он прежде всего поспешил жениться на «госпоже Мари-Катрин Тома и Сактуан, тридцати семи лет, вдове помещика господина Анакле д'Альме». Такие имена фигурируют в книге записей актов гражданского состояния, тогда как в письмах, оповещавших о состоявшемся событии, говорилось о женитьбе генерала Гюго на «вдове господина д'Альме, графине де Салькано». Она была любовницей генерала в течение восемнадцати лет. Для этих «старых супругов» достаточно оказалось «сказать «да» в муниципалитете», а свадьбы с колокольным звоном у них не было. Полковник Луи Гюго, проживавший в городе Тюле, в письме к своей сестре Готон возмущался, что «генерал даже не сообщил о смерти жены своим братьям! Эта беспечность показывает, как мало он к нам привязан...» Второй брак состоялся 20 июля 1821 года в Шабри (департамент Эндр); Луи Гюго узнал о нем только в январе 1822 года и сейчас же уведомил свою сестру, вдову Мартен-Шопин: «Если это правда, придется скрепя сердце примириться с (злосчастной) судьбой...» Сыновья несколько месяцев притворялись, будто они не знают, что отец оформил свой брак. Да и разве могли бы они препятствовать? Они полностью зависели от отца, — мать оставила им только долги, а они, кроме Абелья, ничего не зарабатывали.

Супруги Фуше полагали, что если они, как обычно, снимут на лето домик в окрестностях Парижа, им не избежать встреч с Виктором Гюго. Они решили уехать

в Дрё. От Парижа до этого городка надо было ехать дилижансом, заплатив за место двадцать пять франков, а у Виктора Гюго не было двадцати пяти франков. Но они забыли, что он обладал железной волей, которая важнее денег, и вдобавок склонностью к приключениям. Господа Фуше отправились с дочерью в дилижансе 15 июля, Виктор Гюго последовал за ними 16 июля.

Виктор Гюго — Альфреду де Виньи, 20 июня 1821 года:

Весь путь я прошел пешком, под знойным солнцем, и нигде на дорогах не было ни малейшей тени. Я измучился, но горжусь, что отмахал «на своих двоих» двадцать лье; на всех, кто проезжает в экипажах, смотрю с жалостью; если бы вы сейчас были со мною, перед вами было бы самое дерзкое двуногое существо... Я очень многим обязан этому путешествию, Альфред. Оно несколько отвлекло меня. Я истомился в нашем унылом доме...

На один день он остановился в Версале у Гаспара де Понс, затем отдохнул в долине Шеризи, где написал элегию в ламартиновском духе о страданиях благородного и чистого сердца:

...Как черный кипарис, что высится в долине,
Безрадостен и одинок,
Влачит он век свой безотрадный;
Увы, он не обвит лозою виноградной,
И не ему, увы, улыбку шлет цветок¹.

Жалоба искренняя, тон условный. В сущности, он радовался этому путешествию, радовался своей молодости, сознанию своей силы, наслаждался купаньем в реке в тени берез, красотой пейзажа и встречавшихся руин. 19 июля он уже был в Дрё, взбирался на старые башни, воздвигнутые на холме с обрывистыми склонами, и восхищался «погребальной часовней герцогов Орлеанских... Эта белая недостроенная часовня контрастирует с черной и разрушенной крепостью; эта усыпальница возвышается над развалинами дворца...» Вкусы поэта уже определились: «Руины и зелень, черное и белое, символическое истолкование контраста между прошлым и будущим...»

Он твердо решил совершать прогулки до тех пор, пока не встретит Адели и ее отца. Городок Дрё невелик, и желанная встреча наконец произошла.

Адель — Виктору (карандашом):

«Друг мой, что ты здесь делаешь? Глазам своим не верю.

¹ Виктор Гюго. В долине Шеризи («Оды и баллады»). — Перевод М. Донского.

Никак не могу поговорить с тобой. Пишу тайком, чтобы предупредить: будь осторожен и помни, что я по-прежнему твоя жена...»

Виктор Гюго — Пьеру Фуше, 20 июля 1821 года:

Сударь, я имел удовольствие видеть вас сегодня здесь, в Дрё, и подумал, уж не сон ли это. Полагаю, что вы меня не заметили. Я принял тысячи мелких предосторожностей, чтобы этого не случилось; но, поскольку возможно, что, так или иначе, вы в один из ближайших дней встретите меня и что мое присутствие здесь может быть по-разному истолковано, я считаю приличным и честным предупредить вас о нем... Нам остается только выразить удивление самой удивительной из всех случайностей... Все мои намерения чисты. Я должен сказать откровенно, что для меня было большим удовольствием неожиданно увидеть вашу дочь...

Вымысел простодушный и прозрачный, но он, конечно, растрогал такого славного человека, как Пьер Фуше. Ведь он знал Виктора еще младенцем, «худеньким, хилым и как будто совсем не желающим жить». А теперь перед ним был здоровый, цветущий юноша, полный самообладания и выражающий свою любовь красноречиво и уверенно. Господин Фуше счел невозможным отказать в приеме сыну своих старых друзей, да еще в такие дни, когда его постигла горестная утрата; он принял Виктора в присутствии дочери и жены и спросил, каковы его намерения. А Виктор хотел только одного: жениться на любимой девушке; он заявил, что верит в свое будущее: ведь он начал большой роман в духе Вальтера Скотта — «Ган Исландец»; и книга эта, понятно, будет распродаваться хорошо; правительство короля обязано выполнить свой долг перед повтом-роялистом и назначить ему пенсию; от генерала Гюго он получит согласие на брак. Все это было сомнительно, но Адель и Виктор любили друг друга. Пьер Фуше решил, что помолвка не будет объявлена, двери дома пока еще не открыты для жениха, но невесте разрешается переписываться с ним.

Виктор Гюго, преисполненный радости, отправился в Монфор-л'Амори и первую половину августа провел у своего приятеля поэта Сен-Вальри, дружившего со всем кружком Дешана; об этом любезном великане Александр Дюма говорил: «Когда он промочит ноги, то насморк у него случится только на следующий год». Сен-Вальри, восхищавшийся Виктором Гюго, радушно принял его в своей семье. Из Монфора-л'Амори, а затем из Ла-Рош-Гийона, где он гостил у герцога де Рогана, Виктор несколько раз писал своему будущему тестю.

Виктор Гюго — Пьеру Фуше, 3 августа 1821 года:

Нет, каково бы ни было будущее, каковы бы ни были события, не станем терять надежды: надежда — это нравственная сила. Сделаем все, чтобы достичь счастья благородными путями, и, если нас постигнет неудача, мы сможем упрекать за это лишь господа бога. Не пугайтесь экзальтированности моих мыслей. Помните, какое огромное горе мне пришлось изведать, а теперь все мое будущее, как я вижу, стоит под вопросом, и все же я не падаю духом. Быть может, для вашей дочери было бы лучше, если б она отдала свою привязанность человеку ловкому, изворотливому, который живо протянет руку к дарам Фортуны... Но разве подобный человек любил бы ее так, как она того заслуживает? Может ли сердце испытывать истинную нежность, если нет в нем энергии? Я задаю Адели эти вопросы с трепетом, ибо знаю, что не могу ей дать иного залога счастья, кроме несказанного желания сделать ее счастливой...

Пьер Фуше ответил: «Человек изворотливый — весьма нежелательный гость в честной семье». Казалось, он хотел ободрить Виктора.

Герцогу де Рогану, провожавшему госпожу Гюго до места последнего упокоения, было в то время лет тридцать, и он считался маленьким государем Бретани, где в его владении находились Жослен и Понтиви. В январе 1815 года жизнь его была сломлена ужасной трагедией. Его молодая жена, одеваясь на бал, подошла к топившемуся камину, кружевное платье вспыхнуло на ней, и она умерла от ожогов, сохраняя до конца героическое смирение. Герцог поступил тогда в духовную семинарию Сен-Сюльпис, хотя установленные там строгие правила были тяжки для человека слабого здоровья, хрупкого, как женщина. Аббат де Роган обладал врожденным пониманием красоты и добра. После первых же опубликованных стихов Ламартина он просил передать поэту, что был бы счастлив стать его другом. К Гюго аббата тоже привлекло восхищение его стихами. После похорон матери Виктор Гюго пошел поблагодарить де Рогана, и тот принял его просто и сердечно. Он говорил, что у него есть одно-единственное честолюбивое стремление — сделаться приходским священником в какой-нибудь деревне родного края, и это очень понравилось поэту. Угадав в нем натуру религиозную, хотя этот юноша почти ничего не знал о религии, Роган решил подыскать для него духовника. «Вам нужен духовный наставник; я найду его вам», и он повел Гюго к аббату Фрейсину. Этот священник, человек светский, был в большой моде, пользовался благоволением двора и теперь красноречиво разъяснил юноше, обратившемуся к нему, что его долг — до-

стичь успеха и поставить сей успех на службу веры христианской. Столь удобная религия не понравилась неофиту, и, выйдя от наставника, он сказал Рогану, что аббат Фрейсину никогда не будет его духовным руководителем. Тогда Роган познакомил своего подопечного с Ламенне, и на Гюго большое впечатление произвели его поношенный сюртук, синие чулки из грубой шерсти, деревенские башмаки. Ламенне стал для него не только духовником, но и другом, в котором он любил его ворчливую прямоту. С Ламенне поэт познакомился еще в ту пору, когда этот мыслитель был полон благожелательности и нежных чувств к людям; вскоре, однако, преследования обратили его в существо «нервное и раздражительное», каким Ламенне стал в тридцатые годы XIX века.

Ла-Рош-Гийон находился на берегу Сены, это был замок эпохи Возрождения, с великолепными резными панелями на стенах и чудесными гобеленами. Хозяин казался «божественно» любезным; несомненная доброта души сочеталась у него с удивительным обаянием, но кое-что оставалось в нем от прежних его аристократических повадок. Когда этот аббат смотрелся в зеркало, приглаживая свои густые тонкие волосы, он иной раз не мог удержаться от лукавого и кокетливого взгляда. Настоящий стендалевский епископ. Виктору была отведена в замке великолепная комната, и прислуживала ему целая армия угодливых слуг. Каким резким контрастом показалось ему парижское его жилище, когда он, возвратившись из поездки, должен был съехать с квартиры на улице Мезьер и поселиться на чердаке дома № 30 по улице Драгон вместе со своим родственником, приехавшим из Нанта, — Адольфом Требюше. Три брата Гюго, покинутые отцом, пытались сблизиться с родней по материнской линии. Абель, Эжен и Виктор написали коллективное письмо своему дяде, господину Требюше: «Дорогой дядюшка, разрешите вашим парижским родственникам присоединить свои наилучшие пожелания к тем, которые выразят ваши близкие в Нанте, и поздравить вас с днем рождения вместе со всеми вашими детьми... Мы знаем вас по Адольфу и живо чувствуем, как нам не хватает вас в часы наших удовольствий... Адольф такой славный, такой веселый, такой любезный юноша. Счастливы отцы, которые, подобно вам, могут гордиться добрыми качествами своих детей».

Виктор Гюго и его двоюродный брат «сняли сообща мансарду из двух комнат. Одна была их гостиной; вся роскошь ее состояла в мраморном камине, над которым висела на стене Золотая лилия — премия, полученная на Литературном конкурсе в Тулузе. Вторая комната — узенькая полутемная кишка, в которой с трудом поместились две койки,— служила спальней... Платяной шкаф был один на двоих — больше чем достаточно для Виктора, так как у него имелось только три рубашки».

Позднее Гюго изобразил под именем Мариуса того юношу, каким он был сам на улице Драгон:

Высокий и умный лоб, глубоко вырезанные и раздувающиеся ноздри, облик искренний и спокойный, что-то надменное, задумчивое и невинное в выражении лица... В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут... Нищета держала его в своих лапах. Было такое время в жизни Мариуса, когда он подметал лестничную площадку перед своей дверью, покупал в зеленой на одно су сыру бри... Одной отбивной котлетой, которую он жарил сам, он питался три дня: в первый день он съедал мясо, во второй день съедал жир, на третий день обглаживал косточку...¹

Но и в дни нищеты Гюго сохранял строгое достоинство, уважал себя и внушал другим уважение к себе. Будучи монархистом, он, однако, без колебаний предложил убежище молодому своему приятелю, республиканцу Делону, которого искала полиция. Покойная мать научила его покровительствовать преследуемым.

Все было бы сносным, будь он счастлив в любви, но между ним и невестой вновь начались ссоры в духе размолвок мольтеровских влюбленных. Адель обижалась из-за пустяков, воображала, что он «презирает» ее; Виктор вспыхивал при каждом слове, пробуждавшем у него ревность. Он вдруг принялся нападать на Жюли Дювидаль де Монферье, подругу Адели, преподававшую рисование, очень талантливую художницу, и в его яростных нападках сказывались предрассудки, которые внушила ему мать.

Виктор Гюго — Адели Фуше, 3 февраля 1822 года:

Эта молодая особа имела несчастье стать художницей — обстоятельство вполне достаточное, чтобы погубить ее репутацию. Стоит ли женщине отдать себя во власть публики в каком-нибудь одном отношении, и публика решит, что эта женщина ей принадлежит во всем. Да и как можно предполагать, чтобы молодая девуш-

¹ Виктор Гюго. Отверженные.

ка сохранила чистоту воображения и, следовательно, нравственную чистоту после тех учебных этюдов, которых требует живопись, этюдов, для которых надо прежде всего отречься от стыдливости?.. А кроме того, подобает ли женщине опуститься и войти в артистический мир, в тот мир, где так же, как она, находят себе место и актрисы и танцовщицы?..

Подобная суровость удручала бедняжку Адель. «Смилуйся надо мной,— писала она,— люби меня мирно, спокойно,— так, как ты и должен любить свою жену». И она пишет также: «Страсть — это нечто излишнее, она недолговечна; так я по крайней мере слышала от людей...» Высказывания милые и забавные, но у Виктора Гюго не было ни малейшего чувства юмора. Юноша серьезный, торжественный, он в ответ прочел невесте целый курс о роли страсти в любви.

Виктор Гюго — Адели Фуше, 20 октября 1821 года:

Любовь, по мнению света,— это плотское вождение или смутная склонность, которую обладание гасит, а разлука уничтожает. Вот почему ты и слышала, при столь странном понимании этих слов, что страсти недолговечны. Увы, Адель! Знаешь ли ты, что и слово страсти означает — страдания? И неужели ты искренне веришь, что в обычной любви мужчин, столь бурной с виду и столь слабой в действительности, есть хоть сколько-нибудь страдания? Нет, любовь духовная длится вечно, ибо существо, испытывающее ее, бессмертно. Любовь — это влечение души, а не тела. Заметь, что тут ничего нельзя доводить до крайности. Я вовсе не говорю, что тело не имеет никакого значения в главнейшей из всех привязанностей, а иначе для чего бы существовала разница между полами и что мешало бы, например, двум мужчинам пылать друг к другу страстью?

Адель, в сущности, была довольна, что жених обожает ее, но тревожилась за будущее. Справится ли она с ролью великой возлюбленной, которую он ей предназначил? «Виктор, я должна тебе сказать, что напрасно ты полагаешь, будто я стою выше других женщин...» В самом деле, напрасно страстно влюбленные мужчины возносят любимую женщину на недоступную ей вершину,— при таком положении у нее может закружиться голова, и она упадет. Что касается родителей невесты, они иной раз тоже пугались бурных чувств жениха. Как-то раз вечером на улице Шерш-Миди, куда Адель умолила пригласить Виктора, зашел разговор об адюльтере, и тут в словах Гюго прозвучала настоящая свирепость. Он утверждал, что обманутый муж должен убить или покончить с собой. Адель возмутилась: «Какая непереносимость! Ты бы сам стал палачом, если бы его не нашлось... Что за участь меня ждет? Право, уж не

знаю... Не скрою от тебя: все мои родные испугались... Когда-нибудь мне придется трепетать перед тобой...» Он подтверждает свою точку зрения:

«Я спросил себя, прав ли я, и не только не мог осудить свою недоверчивую ревность, но считаю, что в ней-то и есть самая суть той целомудренной, исключительной, чистой любви, которую я питаю к тебе и которую, боюсь, не сумел внушить тебе... Поверь — кто любит всех женщин, не ревнует ни одну...»

А вот и еще разногласие между ними. Кроме любви, для Гюго значение имел только его труд, и он пытался привлечь к нему любимую. Но она откровенно говорила, что ничего не понимает в поэзии: «Признаюсь тебе, твой ум и талант, который, возможно, есть у тебя и который я, к несчастью, не умею ценить, не производят на меня ни малейшего впечатления...» Эти слова вызывали у него улыбку: «Ты говоришь, Адель, что когда-нибудь я замечу, как мало ты знаешь, и почувствую эту пустоту... Ты мне однажды уже сказала с очаровательной простотой, что ничего не смыслишь в поэзии... А что такое поэзия, Адель? Определяю в двух словах: поэзия — это отражение добродетели; прекрасная душа и прекрасный талант почти всегда нераздельны. Ну и вот, ты должна понимать поэзию, она исходит из души, она может проявляться и в прекрасном поступке, и в прекрасных стихах...» Пусть же Адель, унижая себя, не заставляет его защищать свою будущую жену от нее самой. «Ты уверяешь, что я понимаю поэзию, — писала она, — но ведь я никогда не могла написать ни одного стихотворения. А разве стихи не поэзия?..» На это он терпеливо отвечает: «Когда я сказал, что твоя душа понимает поэзию, я лишь открыл тебе одно из небесных ее дарований. «Разве стихи не поэзия?» — спрашиваешь ты. Стихи сами по себе еще не поэзия. Поэзия — в идеях; идеи исходят из души. Стихотворная форма — это лишь изящная одежда, облегающая прекрасное тело. Поэзия может быть выражена и прозой; она только становится более совершенной благодаря прелести и величю стиха...» Многообещающее начало назидательных уроков в будущие вечера семейной жизни.

Ради своей любви он принес большую жертву: сблизился со своим отцом. А ведь ему казалось, что таким образом он изменяет памяти обожаемой матери. «Я робок и горд, а вынужден просить; я хотел возвысить литературу, а работаю ради денег; я, любящий сын, чту

память своей матери, а забываю мать, ибо пишу отцу...» Однако при ближайшем знакомстве отец оказался лучше, чем его рисовала оскорбленная «госпожа Требюше». Генерал Гюго был очень славным человеком, к тому же он любил поэзию, сам писал новеллы и с превеликой скромностью считал их недостойными опубликования. Поняв, что сыновья, вопреки своим обещаниям, не занимаются юриспруденцией, он милостиво согласился, чтобы они избрали чисто литературное поприще.

Генерал Гюго — сыну Виктору, 19 ноября 1821 года:

Я прекрасно знал, что ни ты, ни Эжен не проявите усердия в посещении лекций, и все ждал, когда же вы мне сообщите причину вашего небрежения. Я не могу все приписать даже той уважительной причине, какую вы приводите в свое оправдание, и думаю, что надо искать ее в вашей прирожденной любви к литературе, в твоей склонности к поэзии, Виктор,— склонности, за которую я так бранил вашего дядю Жюста, ибо она отвращала его от обязанностей по службе; склонность эта весьма часто овладевает и мною, но у тебя-то она оправдана поистине превосходными стихами. Ты зачат не на Пинде, но на одной из самых высоких вершин Вогезов, в пути из Люневиля в Безансон, и как будто чувствуешь свое почти воздушное происхождение — твоя муза всегда возвышенна в тех творениях, кои я видел..

У Виктора Гюго вошло в привычку посылать отцу свои оды: генерал хвалил их, делая, однако, наивные и педантические замечания о форме стихов. В отношении денег он проявил щедрость и, оплакивая свои замки в Испании и потерянную субсидию, все же оказывал сыновьям помощь в меру своих возможностей. Возможности эти возросли бы, говорил он, если бы правительство увеличило ему сумму пенсии, на что он имеет право, и Виктор, друг Шатобриана, могущественного в те годы, должен в этом помочь отцу. Итак, Виктор стал покровителем отца, и вскоре отношения их сделались такими сердечными, что генерал пригласил его приехать поработать в Блуа, где он купил совместно с женой просторный загородный дом — бывшее владение монастыря Сен-Лазар. Но чтобы воспользоваться приглашением, следовало признать своей родственницей вторую жену генерала Гюго, а сыновья от первой жены еще не были согласны на это.

Так же как и отца, Виктора Гюго очень тревожило здоровье Эжена. Насколько Абель был юношей спокойным и положительным, настолько Эжен давно был подвержен приступам ярости. Несомненно, что в их ро-

ду были характеры буйные, с болезненным воображением, видевшим вокруг всякие ужасы. Но у Эжена, особенно после смерти матери, эти опасные черты развились так сильно, что вызывали беспокойство. Стихи своего брата он критиковал с такой завистливой злобой, что это коробило Феликса Бискара. Он где-то пропадал целыми днями, не проявлял больше ни малейшей привязанности к братьям, писал отцу гнусные письма, которые Виктор старался как-то извинить: «Подождем судить, дорогой папа. У Эжена доброе сердце, он признает свою вину...»

А истина была в том, что Эжен сходил с ума от ревности и в поисках облегчения давал волю приступам бешенства. Он не мог перенести мысли, что в скором времени его брат женится на Адели, и доходил до того, что говорил Виктору ужасные вещи о его невесте.

Виктор Гюго — Адели Фуше, 30 ноября 1821 года:

В обратительном свете предстал передо мной характер человека, которому я еще вчера был глубоко предан, человека, ради будущности которого я отчасти пожертвовал своей будущностью, человека, которому я отдавал плоды своего труда и бессонных ночей, хотя должен был считать их твоим достоянием. До сей поры я все ему прощал, в его низкой зависти, в его злобных и подлых выходках я видел лишь неприятные странности желчной природы... Боже мой! Если б я сказал тебе, какого имени он заслуживает! Нет, я этого не скажу тебе, я не хотел бы и самому себе это сказать... Ты не понимаешь меня, моя Адель, ты удивляешься, что твой Виктор охвачен таким бурным негодованием и так неумолим к проступку брата. Адель, ты не знаешь, что он мне сделал. Я все ему прощал и впредь прощал бы,—все, кроме этого. Лучше уж он зарезал бы меня во сне. *На свете есть только одно существо*, в отношении которого я не могу простить ни малейшего оскорбления и даже намерения оскорбить,— и конечно, я говорю не о себе! Как посмел этот негодяй коснуться самого дорогого, самого святого для меня? Зачем вздумал он отнять у меня мое достояние, мою жизнь, единственное мое сокровище? Ах, если бы это был чужой мне человек!..

И все же он простил. Справедливость не позволила ему считать брата вполне ответственным за его выходки,— ведь порою казалось, что Эжен сам не сознает, что он говорит.

Глава пятая
ХОТЕТЬ — ЭТО МОЧЬ

Пора мечтаний, и силы, и благодарения! ..Быть чистым, быть сильным, быть возвышенным и верить в чистоту людей...

Виктор Гюго

Больше шести месяцев прошло со времени помолвки в Дрё, и вокруг семейства Фуше опять пошли сплетни. Дядюшка невесты, господин Асселин, человек неблагожелательный, старший брат Фуше — Виктор, приятели и кумушки говорили, что Адель серьезно компрометирует себя, принимая ухаживания юноши, который ничего не делает, не умеет заработать на жизнь и даже не может добиться согласия своего отца. Невеста прониклась всякими сомнениями, стала настойчивой: «Я вижу, Виктор, когда рассуждаю не в шутку, что у нас очень мало оснований считать нашу женитьбу возможной. Пойми положение моих родителей: они не видят ничего определенного...» Жалобы Адели были кроткими и носили мещанский характер; Виктор по самому складу своей натуры вставал в таких случаях в позу гордого испанца: «Я пойду к твоим родителям и скажу им: *Прощайте, вы увидите меня, лишь когда я добьюсь независимого положения и согласия моего отца, или не увидите вовсе...*» Затем он описывал с горечью, что должно за сим последовать. Он умрет, и «когда-нибудь, Адель, ты встанешь с постели женою другого; тогда ты возьмешь все мои письма и сожжешь их, чтобы не сохранилось никакого следа, оставленного моей душой на земле». И тотчас Адель с упорством практичной женщины возвращала его на землю: «Какие огромные препятствия стоят перед нашей любовью, особенно если ты намерен предоставить событиям идти своим чередом...» А в другом письме она говорит: «Да, друг мой, я довольна, что ты работал... Пожалуй, я еще более была бы довольна, если бы видела в твоей работе больше последовательности. Мне кажется, что, за исключением иных случаев, которые нельзя предвидеть, не следует начинать новую вещь, пока не окончена та, над которой ты уже трудишься. Вот я какая придира!..»

Все эти сомнения вызвали в нем вспышку гордости.

Виктор Гюго — Адели Фуше, 8 января 1822 года:

Не спрашивай меня, дорогая Адель, отчего я так уверен, что создам себе независимое существование,— ведь тогда ты заставишь меня заговорить о некоем *Викторе Гюго*, которого ты не знаешь и с которым твой *Виктор* нисколько не стремился познакомиться тебя. У этого Виктора Гюго есть и друзья и враги; военное звание отца дает ему право появляться всюду и быть на равной ноге со всеми; несколькими своим опытом, хоть и слабым еще, он обязан преимуществами и неудобствами ранней известности; во всех гостининых, где он появляется чрезвычайно редко, люди, судя по его печальному и холодному лицу, полагают, что он занят какими-то важными замыслами, меж тем как он поглощен мечтами о юной девушке, кроткой, очаровательной, добродетельной и, к счастью для нее, неизвестной в гостининых.

Мне очень часто говорили, да говорят еще и сейчас (чересчур смело, конечно), что я призван к какой-то *блестательной славе* (повторяю эту гиперболу в точности); а сам я полагаю, что создан я для семейного счастья. Однако, если нужно пройти через известность, чтобы достичь этого счастья, я видел бы в славе лишь средство, а не цель. Я жил бы вне этой славы, хотя и относился бы к ней с почтением, как должно всегда относиться к славе. Если она придет ко мне, как это предсказывают, скажу, что я не надеялся на нее и не желал ее, ибо все мои надежды и желания я отдал тебе одной...

Но почему, спрашивается, их брак невозможен или еще очень далек? Субсидия ведь обещана министром. «Очень возможно, друг мой, что через несколько месяцев мне предоставят какое-то место с окладом в две-три тысячи франков, и тогда с теми деньгами, которые принесет мне еще и литература, разве мы не сможем жить тихо и мирно, в уверенности, что наши доходы будут возрастать по мере того, как будет увеличиваться наша семья?..» Согласие генерала Гюго? «Но скажи мне, почему отец, увидав, что я достиг независимости, отказался бы сделать меня счастливым?.. Отец мой человек слабый, но, несомненно, добрый. Если сыновья выразят ему искреннюю привязанность, они могут оказать на него большое влияние... Я надеюсь, что, после того как отец сделал мою мать несчастной, он не захочет обречь и меня на несчастную жизнь. Придет день, Адель, когда мы с тобою будем жить под одной кровлей, в одной комнате, и ты будешь засыпать в моих объятиях... Радости супружества станут нашим долгом и нашим правом...»

Мечты, чаровавшие пылкого юношу, который читал и создавал любовные стихи, но жил в строжайшем целомудрии. Он хотел, чтобы это тоже стало достоинством в глазах его невесты: «Я счел бы заурядной женщиной (то есть довольно ничтожным созданием) ту молодую

девушку, которая вышла бы замуж за молодого человека, не будучи убежденной и по его принципам, известным ей, и по его характеру, что он не только человек *благоразумный*, но — употреблю тут слово в полном его смысле — что он *девственник*, как девственна она сама...» Но реакция со стороны Адели была неожиданной: разве можно говорить о таких «необычайных вещах» с благовоспитанной девушкой? *Разумеется, можно*, отвечал пылкий жених: «Я тебе доказал, как велика твоя власть надо мной, ибо один лишь образ твой сильнее всех волнений чувств, свойственных моему возрасту; я тебе сказал, что человек, настолько бессовестный, что он, нечистый, испачканный, готов соединить свою жизнь с чистой, непорочной девушкой, достоин презрения и негодования... Будь я женщиной и если бы мой суженый сказал мне: «Ты была мне оплотом против всех других женщин, ты первая женщина, кого я сжимал в своих объятиях, единственная, кого я буду обнимать; я с наслаждением привлекаю тебя к своей груди, я с ужасом и отвращением оттолкнул бы всякую другую женщину», — мне кажется, Адель, что, будь я женщиной, подобные признания любимого отнюдь не были бы мне неприятны. Но, может быть, ты не любишь меня?...» Нет, она любила его — как истая дочь супругов Фуше, то есть гораздо проще.

8 марта 1822 года, подхлестываемый ею, Гюго решился наконец просить у своего отца согласия на брак. Письмо он показал невесте, и та нашла, что оно написано очень хорошо. За исключением ее портрета, ибо Виктор изобразил ее сущим ангелом: «Во мне же нет ничего ангельского, выкинь, пожалуйста, эту мысль из своей головы, я — земная». О, чудесный реализм женщин! Затем она попыталась объяснить ему, что для нее счастье дороже славы: «Как ты можешь говорить мне, что я должна считать мой брак с тобой лестным для себя только по тем соображениям, что твой отец имеет высокий ранг? Ужасное заблуждение с твоей стороны! Какое мне дело до всяких рангов и званий?.. Заявляю тебе, что это твое важнейшее соображение для меня самое последнее. Помни, мне все равно, стану ли я женой академика, лишь бы я была твоей женой, и пойми — имеет ли для меня значение, что я буду снохой генерала...»

Прошло несколько дней тревожного ожидания. Влюбленные говорили, что если отец не даст согласия,

они убегут и поженятся в какой-нибудь чужой стране. На этот раз благовоспитанная девица с улицы Шерш-Миди поднялась до высоты страсти. Напрасные дерзновения: в ответе генерала Гюго, в общем благоразумном, дано было согласие с определенными оговорками. Он совсем не порицал привязанность сына к Адели Фуше: «общественный ранг» супругов Фуше, старых его друзей, он считал вполне достаточным; куда больше его беспокоило то, что ни у жениха, ни у невесты нет никакого состояния. Ах, если б у него были те миллионы реалов, которые обещал ему Жозеф Бонапарт! Но у него ничего не было. «Из сего следует, что прежде чем думать о женитьбе, тебе надо приобрести профессию или получить должность, а я не считаю таковыми литературное поприще, как бы ни были блестящи твои первые на нем шаги. Когда ты выполнишь то или другое условие, я охотно помогу тебе осуществить твоё желание, коему я несколько не противлюсь...» В этом послании было только одно темное облачко: генерал настойчиво говорил о «теперешней своей супруге». Чтобы сохранить его благоволение, необходимо было признать его второй брак, что Виктор Гюго и сделал с большим тактом и обычным своим достоинством.

Наступило лето, а в летнюю пору Фуше обычно уезжали из Парижа. Было решено, что они снимут дом в Жантильи и что Виктор Гюго, теперь уже признанный жених, будет туда приглашен, но для приличия его поместят на голубятне. Госпожа Фуше ждала тогда четвертого ребенка, «поздний плод супружеской любви», и беременность эту переносила тяжело.

Адель — Виктору:

Если мама подарит нам братца, должна ли я уговаривать ее, чтобы она сама его кормила?.. Мама уже в таком возрасте, что не может одна ухаживать за малюткой, и мне придется пробыть в семье еще года два по меньшей мере. Если ты полагаешь, что я обязана остаться дома на это время, тогда я посоветую маме не отдавать его кормилице... Скажи откровенно, как ты думаешь. Нас всех кормили дома, и я хотела бы, чтобы так было и с этим крошкой... Это во многом зависит от меня. Я хочу, чтобы ты выразил свою волю...

Что ответил Гюго на этот вопрос, нам неизвестно; вероятно, он не имел никаких возражений против того, чтобы его будущего шурина отдали кормилице.

Адель — Виктору:

Так, значит, ты приедешь в Жантильи! Какое счастье!.. Буду видеть тебя каждый день, каждый день буду говорить с тобой.

Если мы поспорим из-за чего-нибудь, то размолвка наша будет короткой. Когда я выйду утром в сад, а ты будешь у себя на голубятне, мы поздороваемся друг с другом. Но гулять нам вдвоем в саду без мамы нельзя. Так приказано... Придется уважить родителей, они наложили запрет, полагая, что так должно быть...

Виктор Гюго выразил в ответном письме свою радость, затем вспомнил свою замечательную мать: «Соединив нас, она-то уж не вздумала бы ставить между нами такие странные и почти что оскорбительные преграды. Уважая нас обоих, она считала бы унижительным для себя стеснять нашу свободу. Наоборот, она пожелала бы, чтобы в возвышенных душевных беседах мы оба готовились к святой близости в браке... Как было бы мне сладостно наедине с тобой бродить в вечернем сумраке, вдали от всякого шума, под деревьями, среди лужаек. Ведь в такие минуты душе открываются чувства, неведомые большинству людей...»

Несмотря на то что вечера приходилось проводить в кругу семьи, «в постоянном стеснении», он с наслаждением «вкушает счастье в Жантильи», дни покоя, упоения и тайн, когда Адель украдкой навещала жениха на его башне и позволяла ему сорвать поцелуй с ее уст, обнять ее. Ах, почему двое любящих не могут провести жизнь в объятиях друг друга? Но для того чтобы упрочить счастье Жантильи, надо было преуспеть. И вот Виктор Гюго торопил издание своих «Од» отдельным томом. Сборник был напечатан на средства щедрого Абея и был доверен для продажи книжной лавке Пелисье, находившейся на площади Пале-Рояль, причем Абель сделал брату деликатный сюрприз, послав ему оттиски корректуры. Томик появился в июне, в зелено-серой обложке, тиражом в полторы тысячи экземпляров. Автору причиталось по пятидесяти сантимов с экземпляра, то есть семьсот пятьдесят франков за все издание. Первый экземпляр, как и подобало, он преподнес невесте: *«Моей любимой Адели, ангелу, в котором вся моя слава и все мое счастье.— Виктор».*

Эта первая книга поэта называлась: «Оды и другие стихотворения». В предисловии подчеркивалась политическая направленность автора. Убедившись, что французскую оду справедливо обвиняют в холодности и однообразии, он поставил своей задачей «привлечь к ней интерес не столько формой, сколько вложенными в нее идеалами... История человечества исполнена поэзии лишь в свете монархических идей и религиозных веро-

ваний...». Большинство стихотворений, включенных в сборник, были написаны в благонамеренном тоне и посвящены историческим темам. Эти «изящные упражнения старательного и весьма одаренного школьника...» воспевали «Восстановление статуи Генриха IV», «Рождение герцога Бордоского», оплакивали «Смерть герцога Беррийского», и все эти «заказные» стихи недостойны были юноши, который следовал в Италии и в Испании за победоносными орлами Наполеона, видел возвышение и падение императора и еще подростком был свидетелем опал и смертей. Читателей либеральных взглядов возмущали апострофы, прозопопеи и другие риторические фигуры в произведениях юного ультрароялиста, и они не склонны были признавать поэтические достоинства его од.

Роялистская пресса, на которую он рассчитывал, не откликнулась на сборник. Статей было очень мало. Литературная критика занимала тогда весьма скромное место, а Гюго почитал «недостойным всякого уважающего себя человека обыкновение нынешних литераторов выпрашивать у журналистов похвальные отзывы. Я пошлю свою книгу в газеты; они скажут о ней, если сочтут это уместным, но я не буду кланяться у них похвал в виде милостыни...». Ламенне одобрил его: «Мне нравятся ваша прямота, ваша откровенность и ваши высокие чувства — нравятся еще больше, чем ваш талант, хотя и он мне очень нравится... Да Бог мой! Что такое эта суетная шумиха, именуемая славой, известностью, так быстро угасающая в тишине могилы...» Однако ж книга расходилась неплохо, и это ободряло автора, ибо приближало день его свадьбы. Теперь уж Адель сама дерзала навещать одна, без провожатых, своего заболевшего жениха в его парижской мансарде. «Пусть говорят что хотят, мне все равно... В иных случаях я без угрызений совести способна пойти против родительской воли...» Но чтобы принадлежать друг другу, они ждали свадьбы.

Адель — Виктору:

«Еще три месяца, и я всегда буду возле тебя... И стоит нам подумать тогда, что мы не сделали ничего недостойного, что мы могли бы раньше быть вместе, но предпочли такому блаженству уважение к самим себе,— мы, конечно, будем от этого сознания еще счастливее...»

Три месяца... Адель осмелилась назначить срок, ведь теперь уже ждали только назначения ежегодного пособия. На это дано было твердое обещание, но чиновники

в министерстве все тянули: «Они ведут дело о моем пособии именно как «дело», не подозревая, что речь идет о человеческом счастье...» Очаровательная фраза. Наконец вмешался аббат герцог де Роган, добился поддержки герцогини Беррийской, и 18 июля 1822 года Виктор Гюго мог написать отцу, что все наконец благополучно завершилось: пособие назначено в сумме тысячи двести франков в год из королевской казны. Такую же субсидию обещало ему и министерство внутренних дел. Добавив к гарантированным пособиям ту сумму, которую дадут поэту литературные гонорары, молодые супруги могли просуществовать, тем более что добрые родители предлагали дочери и зятю жить вместе с ними. Генерал Гюго тотчас написал официальное письмо: «Виктор поручил мне просить у вас для него руки той молодой особы, счастье которой он надеется составить и от которой сам ждет счастья...» Господин Фуше ответил любезным письмом. Он хвалил любовь к порядку и серьезность Виктора, радовался, что возобновятся давнишние узы дружбы с генералом Гюго, и выражал сожаление, что не сможет дать за дочью большого приданого. Она получит «две тысячи франков — мебелью, одеждой и деньгами», и молодые супруги будут жить в Тулузском подворье до тех пор, пока не смогут зажить своим домом.

Теперь не хватало только свидетельства о крещении жениха. Увы! Его не было. Генерал плохо помнил те далекие дни, но полагал, что его сына не крестили, если только жена не окрестила младенца без ведома отца, что казалось невероятным при ее вольтерьянстве, которое она всегда выказывала. «У Виктора была религия, но не какая-нибудь определенная религия». Генерал Гюго подсказал выход: «Меня уверяют, что если сделать викарию Сен-Сюльпис заявление, что ты был крещен в чужой стране заботами матери и в отсутствие отца, но тебе неизвестно, где это произошло, то священник вторично окрестит тебя в присутствии крестного отца и крестной матери по твоему выбору... После этого ты немедленно пойдешь к первому причастию, и больше уже не будет никаких препятствий к тому, чтобы тебя обвенчали в церкви...» Неприятное мошенничество. Однако казалось невозможным признаться благочестивым супругам Фуше, что Софи Гюго воздержалась «совершить над сыном тайнство, которое делает человека христианином». По совету своего «знаменитого друга»,

господина де Ламенне, Виктор попросил отца удостоверить, что его сын был крещен в Италии. Генерал удостоверил все, что требовалось, а Ламенне выдал свидетельство об исповеди. 12 октября 1822 года в соборе Сен-Сюльпис было совершено бракосочетание — венчал аббат герцог де Роган. Свидетелями со стороны жениха были Альфред де Виньи и Феликс Бискара, возвратившийся из Нанта и ликовавший, что он вновь встретится с двумя своими любимыми учениками; со стороны невесты свидетелями были ее дядя Жан-Батист Асселин и маркиз Дювидаль де Монферье. Генерал Гюго на свадьбу не приехал.

Свадебный обед устроили в доме Фуше, потом состоялся бал в большом зале военного совета, том самом, где генерал Лагори, крестный отец Виктора, был приговорен к смертной казни. На балу Феликс Бискара, молодой классный наставник с рябоватым лицом, заметил необычайное нервное возбуждение Эжена — он как будто был вне себя и говорил что-то странное. Не привлекая внимания гостей, Бискара предупредил Абеля, и они вдвоем увели несчастного; ночью с ним случился настоящий припадок буйного помешательства. Эжен, юноша угрюмого нрава, считавший себя жертвой преследований, был влюблен в Адель, страдал от давней и жестокой ревности и не мог перенести картину торжества своего брата.

К счастью для молодых супругов, им ничего не сказали в тот вечер о случившейся трагедии. Наконец-то свершилось то, чего они ждали столько лет: они провели ночь под одной кровлей и в объятиях друг друга. Для новобрачного, столь целомудренного в своих поступках и наделенного столь пылким воображением, было упоительным счастьем обладать этой девушкой, которая была в его глазах само олицетворение красоты, и стать одним из сыновей в семье Фуше, жить в этом Тулузском подворье, где год тому назад он видел в окно, как его невеста, с цветами в волосах, танцевала в объятиях другого. Покойная мать, обладавшая сильной волей, учила его, что можно подчинять себе события. Какой путь он прошел за истекший год? В двадцать лет он уже был на пороге славы; его читали и старик король, и молодые люди, министерство назначило ему пособие; поэты уважали его. Упорной борьбой он завоевал свою избранницу, он вновь обрел привязанность отца, всех заставил признать, что его выбор жизненного поприща

был верен. После стольких несчастий все это казалось счастливым сном, полным блаженного сумрака и любви, счастливым сном, в котором неким волшебством исполнились мечты ребенка. Но волшебство творил он сам. Его Hugo¹.

Он заслужил эту ночь счастья. Несомненно, в нем жила могучая сила страсти, но он испытывал также потребность сочетать плотские наслаждения с самыми возвышенными человеческими радостями. «Где истинный брак,— сказал он однажды,— там свет идеала. Над брачным ложем во тьме брезжит заря... Это истинное блаженство. Нет других радостей, кроме этих. Любить, испытать любовь — этого достаточно. Не требуйте больше ничего. Вы не найдете иной жемчужины в темных тайниках жизни...» В те времена, когда он писал эти строки, молодая и столь любимая супруга стала грустной, разочарованной женщиной и хотела быть его женой только по имени. Однако даже в этом обманчивом будущем, когда Адель станет *Евой*, которую *запретный плод не соблазнит*, Гюго никогда не забудет, что однажды, давным-давно, они извели вместе почти сверхчеловеческое счастье. Адель Фуше мало чем отличалась от многих и многих девушек, но именно такая, какой она была — наивная, немного упрямая, с художественной жилкой (это доказывают ее рисунки), совсем не глупая, но равнодушная к поэзии,— она помогла рождению поэта. И у него нашлись слова, чтобы сказать, чем он обязан был этим годам тоски и страсти:

О, будь вы молоды, стары, бедны, богаты,
Но коль по вечерам, тревогою объаты,
Не вслушивались вы в легчайший шум шагов,
Коль белый силуэт, мелькнув в аллее спящей,
Вам сердце не пронзал, как метеор слепящий
Пронзает на лету угрюмый тьмы покров;

Коль вам пришлось узнать лишь по стихам влюбленных,
Страданьем, радостью и страстью опаленных,
Блаженство высшее, без меры и границ,—
Незримо властвовать над чьим-то сердцем милым
И видеть пред собой, подобные светилам,
Любимые глаза в тени густых ресниц;

Коль не случилось вам под окнами устало
Ждать окончания блистательного бала
И выхода толпы разряженных гостей,

¹ Я Гюго (лат.).

Чтоб в свете фонаря увидеть на мгновенье
Прелестного лица весеннее цветенье
И голубой огонь единственных очей;

Коль не терзались вы ни ревностью, ни мукой,
Узрев в чужих руках вам дорогую руку,
Уста соперника у розовой щеки,
Коль не следили вы с угрюмым напряженьем
За вальса медленным и чувственным круженьем,
Срывающим с цветов душистых лепестки...

Коль вам не довелось тогда в тиши дремотной,
Пока вдали от вас, свежа и беззаботна,
Она вкушает сон — метаться и стонать,
И горько слезы лить, и звать ее часами
В надежде, что она появится пред вами,
И горький свой удел бессильно проклинать.

Коль взоры женщины, вам душу обновляя,
Не открывали врат неведомого рая;
Коль ради той, чьи дни спокойны и легки,
Кто в ваших горестях лишь ищет развлечений,
Не приняли бы вы и смерти и мучений,—
Любви не знали вы, не знали вы тоски!¹

Бросим последний взгляд на молодого человека с высоким лбом, на юношу, исполненного «опасной ответственности», с которым мы расстаемся на пороге спальни новобрачных. Этот прекрасный рыцарь, вступающий в жизнь, верит в свои силы. Он ждет славы и нисколько не сомневается, что слава придет к нему, хотя ему только еще двадцать лет и он уже не раз испытывал чувство отчаяния. «Как это называется,— говорит один из персонажей Жана Жироду,— когда день встает такой вот, как сегодня, и когда все испорчено, все разграблено, а ты все-таки дышишь воздухом, и когда все потеряно, когда город горит, невинные убивают друг друга, но и преступные агонизируют при свете занимающегося дня?» И нищий отвечает: «Этому дано прекрасное имя, жена Нарсеса. Это называется зарей...»

Как же называется то время, когда чувства пылают, а сердце исполнено чистотой; когда гений вот-вот вырвется наружу, но никто еще не постиг его; когда человек чувствует себя сильнее всего мира, но еще не может доказать ему свою силу, когда в едва начавшейся жизни уже столько трагических воспоминаний, а сердце поет в груди; когда человек так нетерпелив и то впадает в отчаяние, то преисполнен надежды? У всего этого прекрасное имя, жена Виктора Гюго,— это называется молодостью.

¹ Виктор Гюго. О, будь вы молоды... («Осенние листья»).— Перевод Э. Линецкой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЧАС ТОРЖЕСТВА

Глава первая
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

Надо только жить; видеть все как оно есть, а то и совсем наоборот.

Сент-Бёв

«Утром после свадьбы новобрачных не тревожат, оберегая покой упоенных друг другом счастливцев и отчасти их поздний сон...»¹

У Адели и Виктора Гюго не было этого спокойного пробуждения. Рано утром взволнованный Бискара постучался в дверь их спальни: состояние Эжена было ужасным. Виктор поспешно собрался, последовал за своим другом и «застал своего бедного товарища детских лет в горячечном бреду». Эжен зажег у себя в комнате все свечи, как на свадьбе, и рубил мебель саблей. Целый месяц Адель и Виктор Гюго, Поль Фуше и кузен Требюше, сменяя друг друга, ухаживали за ним. Пришлось уведомить отца, и генерал тотчас совершил путешествие из Блуа в Париж. «Он не приехал порадоваться счастью, он хотел быть участником горя». Виктор и Адель приветливо встретили «дорогого папу», которому они были обязаны своим браком. «Как иней на солнце, исчезла у сына горькая обида в лучах доброты этого превосходного человека...»

Отцу было тяжело слышать безумный бред красавца сына, которого он видел в Корсике и в Италии пухленьким и веселым малышом, потом в Мадриде многообещающим учеником коллежа. Он решил — и это делает ему честь — увезти его с собой в Блуа; там к Эжену как будто вернулся на некоторое время рассудок, и он даже написал Виктору, поздравил молодую чету и

¹ Виктор Гюго. Отверженные.

пожелал ей счастья. Он говорил в этом письме, что отец и «мачеха, госпожа Гюго» очень добры к нему. Увы! Случился новый припадок буйного помешательства, такой серьезный, что больного пришлось отвезти обратно в Париж и поместить в лечебницу доктора Эскироля. Туда нужно было платить по четыреста франков в месяц, такой возможности у семьи не было. Виктор выхлопотал, чтобы его брата поместили за казенный счет в Сен-Морис, к доктору Руайе-Коллару. Врачи находили, что больной неизлечим. Несчастный Эжен стал чем-то вроде живого трупа. Братья редко навещали его.

Эжен Гюго — Виктору, 12 декабря 1823 года:

«Вот я здесь уже семь месяцев, а ты был у меня только один раз, а брат Абель — два раза... Но ведь должно же быть у тебя некоторое желание увидеться со мною, и тебе не трудно было бы удовлетворить его...»

Эти слова — такой трагический упрек.

Ужасная судьба брата была для Виктора Гюго постоянной причиной печали и смутных укоров совести. Уж не он ли, восторжествовав над Эженом и в поэзии, и в любви, довел его до отчаяния? Он не совершил ни преступления, ни греха против несчастного, и все же тема — братья-враги — стала неотвязно преследовать его. Она возникала во всех формах — в драматургии, в поэзии, в романе. Иногда Каин назывался Сатаной, иногда Клодом Фролло — в «Соборе Парижской Богоматери», Иовом в «Бургграффах»; иногда он появлялся под своим настоящим именем, как, например, в «Совести» или в «Конце Сатаны». А то, что второй брат носил имя Абель (Авель), быть может, укрепляло эту навязчивую мысль. А ведь сам Виктор не сделал ничего дурного, уж скорее Эжен, мучимый ревностью, играл в отношении его роль Каина. Но всегда Виктор видел в своих кошмарах заживо погребенного, темницу Железной Маски, могилу узников Торквемады. Всегда воображение рисовало ему несчастного, скорчившегося в темноте, под низким сводом: «О, гений! О, безумие! Ужасное соседство».

Он знает о таком соседстве. Всякий мечтатель (а Виктор Гюго любит называть себя Мечтателем) носит в себе воображаемый мир: у одних это грезы, у других — безумие. «Этот сомнамбулизм — свойствен человеку. Некоторое предрасположение ума к безумию, недолгое или частичное, совсем не редкое явление... Это

вторжение в царство мрака не лишено опасности. У мечтательности есть жертвы — сумасшедшие. В глубинах души случаются катастрофы. Взрывы рудничного газа... Не забывайте правила: надо, чтобы Мечтатель был сильнее мечты. Иначе ему грозит опасность. Всякая мечта — это борьба. Возможное всегда подходит к реальному с каким-то таинственным гневом. Химера может подточить человеческий мозг...» В Викторе Гюго Мечтатель всегда был сильнее мечты. Его спасло то, что он сублимировал в стихах свою тоску и галлюцинации; он прочными корнями врос в реальность; но в Эжене он узнавал того, кем он и сам мог бы стать.

От мрачного огня, горевшего в его душе, ни одна вспышка не вырывается наружу. Все, кто знал Виктора Гюго в первые месяцы его брака, замечали его торжествующий вид, словно у «кавалерийского офицера, захватившего вражеский пост». Это объяснялось сознанием своей силы, порожденным его победами, упоительной радостью обладания своей избранницей, и вдобавок после сближения с отцом у него появилась гордость отцовскими военными подвигами, к которым он, как это ни странно, считал себя причастным. Почитателей, видевших его в первый раз, поражало серьезное выражение его лица и удивляло, с каким достоинством, несколько суровым, принимал их на своей «вышке» этот юноша, проникнутый наивным благородством и одетый в черное сукно.

«Очень любопытно смотреть на эту молодую чету, — говорит Сен-Вальри в письме к Рессегье. — Это любовь двух ангелов, и куда более поэтичная, чем в стихах Томаса Мура...» У молодой госпожи Гюго были темные блестящие волосы, очень красивые, «андалусские» глаза и вдобавок странное сочетание спокойствия и страсти в облике, некий «подавленный порыв чувства, готового вырваться». На первый взгляд в ней не было обаяния; надо было всмотреться в нее, и тогда выступала ее прелесть. Вскоре Адель забеременела, и Виктор Гюго был счастлив своим ранним отцовством. Такой молодой, он уже испытывал желание жить семейной жизнью, быть супругом и отцом. «Как-то сама собой вокруг него возникла патриархальная атмосфера, идиллическая и вместе с тем возвышенная». Теперь ему нужно было зарабатывать на троих — Леопольд Гюго II родился ровно через девять месяцев после свадьбы — 16 июля 1823 года.

Работа, работа, работа — в мансарде над кронами развесистых каштанов на улице Шерш-Миди. Создавались новые оды. Закончен был роман «Ган Исландец» и вручен Персану. Маркиз, ставший издателем, обязался в контракте, заключенном с Гюго, переиздать «Оды» и выпустить роман «Ган Исландец» в количестве тысячи экземпляров. Но из причитающегося ему гонорара Гюго получил только пятьсот франков, так как Персан обанкротился и, не имея возможности уплатить автору, оклеветал его — это дело обычное. Для Гюго началось время познания гнусных сторон литературных нравов. Пришлось еще раз прибегнуть к помощи отца. По счастью, министр внутренних дел назначил ему второе пособие — в две тысячи франков в год, а добряк Фуше пригласил на лето молодое семейство в Жантильи. Но на этот раз Виктора Гюго поместили уже не на готической голубятне, а в комнате Адели.

Роман «Ган Исландец» издан был в четырех выпусках, в серой обложке, на грубой бумаге и без фамилии автора. «Это своеобразное сочинение, — возвещал Персан, — говорит, является первым прозаическим произведением молодого писателя, уже известного по его блестящим успехам в поэзии». Эта книга, в которой Виктор Гюго вдохновлялся английским «черным романом» (Матюрена, Льюиса, Анны Радклиф), когда-то начата была и для заработка, и для того, чтобы воплотить в образах ее героев — Этели и Орденера — любовь Гюго к Адели Фуше. Не следует забывать, что в нагромождении убийств, чудовищ, виселищ, палачей и пыток Гюго допускал сознательную нарочитость и пародию. Это было виртуозное произведение в «неистовом жанре». Мистифицировал автор и своей мнимой эрудицией. Он прочел наугад малоизвестные книги, например, «Путешествие в Норвегию» Фабрициуса, «Наследник датского престола» П.-Г. Малле, и внес в свой роман целую кучу неудобоваримых псевдонаучных сведений: «Настоящее имя Одина — Фригге, сын Фридульфа». Этот педантизм импонировал, но Гюго не произвел сколько-нибудь серьезных изысканий, чтобы изобразить тот мир, который он описывал. В своем предисловии он и признавался в этом с иронией. Автор «ограничится лишь замечанием, что живописная сторона его романа была предметом особых его забот; что в нем часто будут встречаться буквы K, Y, H и W — хоть обычно автор употребляет их чрезвычайно скупо... что читатель рав-

ным образом найдет здесь многочисленные дифтонги, которые варьируются с большим вкусом и изяществом; и что, наконец, всем главам предшествуют странные и таинственные эпиграфы, чрезвычайно усиливающие интерес к роману...»¹. Читая этот роман, скажешь, что здесь Гюго ближе к Стерну или Свифту, чем к Вальтеру Скотту или к «Монаху» Льюиса.

Однако ему удалось вызвать и ужас, и интерес. Ему помогал в этом странный характер его воображения. У его отца и братьев была так же, как у него самого, склонность к мрачной фантастике. Как Байрон, он щедро разбрасывал черепа, из которых его герои пили «морскую воду и человеческую кровь». Он заявлял, что в Жантильи он будто бы работал в своей башенке в обществе летучей мыши. Друзья Гюго не приняли эту книгу всерьез. Ламартин написал ему из Сан-Пуана 8 июня 1823 года: «Мы перечитываем ваши восхитительные стихи и вашего ужасного «Гана». Скажу мимоходом, что, по-моему, он чересчур ужасен; смягчите свою палитру; воображение, как лира, должно ласкать слух, вы ударяете по струнам слишком сильно. Говорю эти слова, имея в виду ваше будущее,—ведь у вас оно есть, а у меня его уже нет...» Желчный и остроумный Анри де Латуш в статье «Отомщенные классики» высмеял нового романиста:

Беззвездная полночь, готический зал...
Писатель-романтик собрату сказал:
Прошу вас, ответьте, мосье, без стыда,
По вкусу вам кровь и морская вода?
Вы вешали брата? Смеясь от души,
Внимали, как жертва стонала в тиши?
Скажите, у вас не дрожала рука,
Когда вы веревку снимали с крюка?..

Действительно, «Ган Исландец» был «чересчур ужасен», как говорил Ламартин, и давал богатый материал для пародий. Но какая тут энергия, сколько фантазии! Шарль Нодье напечатал в газете «Котидьен» статью, в которой он выразил сожаление, что молодой автор романа заставил себя изыскивать всякие уродства в жизни, отвратительные аномалии, но вместе с тем признавал, что далеко не всякий писатель способен начать с подобных заблуждений. Нодье хвалил бойкий, живописный слог Гюго и тонкость в передаче некоторых

¹ Виктор Гюго. Предисловие к «Гану Исландцу».

чувств. Статья для молодого автора упоительная, когда она подписана таким именем.

Критик и романист Шарль Нодье был на двадцать два года старше Гюго, он прожил жизнь весьма странную. Отец его, бывший ораторианец, стал в Безансоне главой революционеров, однако воспитание своего сына этот санкюлот доверил некоему «бывшему» — Жиро де Шантрану. Мальчик бесконечно много читал, увлекался Амио, Ронсаром, Монтенем. Читал Гомера в подлиннике. Учитель прямо с листа переводил ему Гете и Шекспира. Нодье женился в городе Доль на женщине «без недостатков и без денег»; он стал библиотекарем в Безансоне, затем секретарем совершенно сумасшедшего англичанина сэра Герберта Крофта и, наконец, библиотекарем в городе Лейбахе, в Иллирии, стране, откуда он привез множество сюжетов для своих произведений — «Жан Сбогар», «Смарра», «Трильби, или Аргайльский лесной дух».

Нодье был по натуре своей человек благожелательный и смелый. Он чем-то напоминал Гофмана, был он и ботаником, и энтомологом, художником, путешественником и археологом, без ума влюбленным в готику. Он знал все. Поступив в «Деба», а затем в «Котидьен», он поддерживал молодых литераторов как товарищ, затем как старший брат; постепенно он приобрел большой вес. Гюго побежал на улицу Прованс поблагодарить его за статью о «Гане Исландце» и не застал дома. На следующий день Нодье («Лицо угловатое, глаза живые и усталые, облик фантастический и задумчивый») пришел к супругам Гюго, которые пригласили его с женой и дочерью Мари (двенадцатилетней девочкой, отличавшейся, однако, чуткостью взрослой женщины). Это было началом искренней дружбы.

Альфред де Виньи расхвалил «Гана Исландца»: «Друг мой, говорю вам — и вы уже сотый человек, которому я это говорю, хоть и живу в Орлеане, — вы создали прекрасное и долговечное произведение... Вы стали во Франции основоположником романа в духе Вальтера Скотта... Сделайте еще один шаг: натурализуйте гениальный вымысел, для которого вы избрали Норвегию, измените имена и декорации, и мы возгордимся еще больше, чем шотландцы... Все в романе полно неослабного, животрепещущего интереса; я перевел дух, только когда прочел последнее слово. Благодарю вас от имени Франции...» В этом же письме Виньи говорил о сво-

их «сердечных горестях» и доверил их Гюго: оказывается, он влюбился в Дельфину Гэ. Любовь была взаимной. Дельфина не осталась равнодушна к «самому обаятельному из всех», как говорила ее мать, Софи Гэ. Но графиня де Виньи полагала, что сын ее должен жениться на богатой, чтобы восстановить положение разорившейся семьи, и она наложила свое вето. Виньи с грустью подчинился, смирилась с этим и Дельфина.

Отношения с генералом Гюго становились все более родственными. Отец с сыном переписывались по поводу Эжена, затем по поводу выраженного Леопольдом Гюго желания, чтобы его вновь зачислили в армию и повысили в чине. Виктор занялся этим делом и говорил даже, что надеется выхлопотать у Шатобриана посольский пост для генерала. Он оказал также покровительство отцу в отношении его «Мемуаров» и добился, что книгоиздатель Лавока напечатал их. Материальные интересы оказались полезны для усиления добрых чувств. У генерала Гюго было две цели: найти опору в сыне, пользовавшемся высокими милостями, а кроме того, заставить детей признать новую госпожу Гюго, которая, как он говорил, была «второй матерью для всех вас». Действительно, когда Адель в тяжелых родах произвела на свет первого сына и «бедный ангелочек», казалось, вот-вот зачихнет, генерал Гюго и его супруга взяли ребенка вместе с кормилицей в Блуа и поместили в просторном белом доме, который они там купили. «Девуцу Тома» теперь уже называли не иначе как «бабушкой Леопольда». Адель вышила чепец для своей свекрови. А ведь едва прошло два года с тех пор, как похоронили первую госпожу Гюго.

Девятого октября маленький Леопольд умер. Виньи, служивший в полку, который стоял гарнизоном в По, написал Виктору Гюго: «Ваша отцовская скорбь пришла так скоро после скорби о матери и о больном брате; вы удручены семейными горестями, хотя семья — естественное содружество наших близких, и нам хочется видеть в ней единственный источник всех благ... Боже мой! Как печальна жизнь, друг мой...» По поводу болезни Эжена Альфред де Виньи очень образно сказал «о той страшной казни, которой подвергает нас наша физическая природа, когда она вдруг распадается за долго до смерти и когда души уже нет в теле, а оно стоит и улыбается, как эти ужасные фигуры в Герку-

лануме...». Но Гюго, несмотря на пережитые несчастья (мать, брат, сын), не считал жизнь печальной; он был полон жажды жить, работать, любить. Адель снова начала ребенка. «Виктор,— говорил Эмиль Дешан,— без усталости творит оды и детей».

Глава вторая «ФРАНЦУЗСКАЯ МУЗА»

Замечательные времена Реставрации, когда у людей была романтическая душа и классическая выучка.

Морис Баррес

«За время с 1819 по 1824 год под двойным влиянием — Андре Шенье и «Поэтических дум» Ламартина, при отзвуках шедевров Байрона и Вальтера Скотта и громких стенаний Греции, в самый разгар религиозных и монархических иллюзий Реставрации, возник своего рода альбом прелюдий, в которых преобладала туманная меланхолия, жажда идеального, рыцарский тон и зачастую утонченное изящество отделки...» — писал Сен-Бёв. Лауреаты Тулузских поэтических состязаний — нежный Суме, рыжеволосый темпераментный Гиро с его гасконской речью — первые задавали тон; Эмиль Дешан предложил создать кружок и основать журнал. Так возникла «Французская Муза», объединявшая изысканных, чересчур изысканных молодых людей, любивших поэзию роялистов по традиции, «христиан из приличия и по смутному чувству».

Программа была составлена так: в религии — христианские чудеса в духе Шатобриана вместо языческих непристойностей времен Империи; в политике — монархия в духе Хартии; в любви — рыцарский платонизм. Это было «нечто нежное, благоуханное, ласкающее душу и пленительное; посвящение производили похвалами; поэта узнавали и приветствовали по какому-то таинственному признаку... Позолоченное рыцарство, разукрашенное средневековье, прекрасные дамы, обитавшие в замках, пажы и их покровительницы, христианские молитвы в уединенных часовнях и отшельники, бедные сироты, маленькие нищие — все это имело бешеный успех и составляло основной запас сюжетов, не считая бесчисленных личных горестей...». Члены содружества называли друг друга просто по имени — *Альфред, Эмиль, Гаспар* или *Виктор*. В это сентиментальное франкмасонство

входили и женщины. Красавицу Дельфину Гэ все называли *Дельфина*. Но когда Жюль де Рессегье, первейший трубадур из этих трубадуров, грассируя, попросил у Виктора Гюго разрешения называть его жену запросто — *Адель*, «молодой и строгий поэт отказал ему в таком разрешении». Он не любил фамильярности.

Эмиль Дешан предложил, чтобы каждый член кружка внес по тысяче франков в фонд издания «Музы». Для четы Гюго это было слишком много. Ламартин, который уже предпочитал восседать на вершине славы, живя помещиком на лоне природы, вдали от шумного литературного мира, отказался войти в кружок, но предложил Гюго заплатить за него денежный взнос: «Вступайте в число основателей журнала, а я, поскольку для меня невозможно дать для него ни свое имя, ни свои мысли, охотно внесу за вас положенную тысячу франков. Это останется между нами...» Гюго, оскорбленный такой уверткой, отказался принять деньги, но тем не менее играл в журнале главную роль благодаря своим стихам и своей природной властности.

Однако ж очень скоро настоящим центром объединения стал добряк Нодье, а местом встреч — его квартира, сначала на улице Прованс, а затем, с 1 января 1824 года, при библиотеке Арсенала, хранителем которой он стал, так как благоволивший к нему министр, при поддержке графа Артуа, дал ему в качестве новогоднего подарка этот завидный пост. Иногда беспечность — высшая ловкость, и никто не получает столько милостей, как эти немного ребячливые, легкомысленные люди. Великие мира сего любят покровительствовать рассеянными чудаками, так как всегда кажется, что те нуждаются в покровительстве. Нодье вдруг получил квартиру во дворце, в центре прославленного квартала. Из своих окон он видел, как солнце заходит за Собор Парижской Богоматери. Хранитель библиотеки — это своего рода каноник-мирянин. Нодье, добродушный домосед и рутинер, наслаждался поздно пришедшим к нему комфортом. Его жена, тоже простая и милая женщина, тотчас внесла буржуазный уют в павильон «королевского дворца», ее живое и веселое, «цветущее, как букет», лицо скрашивало суровую декорацию. Их дочь Мари росла красавицей, и все поэты были ее друзьями.

По воскресеньям салон Арсенала блистал парадным освещением. Двери для всех были открыты: приходи кто хочешь. Там бывал Северен Тейлор, уроженец

Брюсселя, англичанин по происхождению, французский офицер, товарищ Альфреда де Виньи и любимец правительства. Софи Гэ и лучезарная, как вешний день, Дельфина Гэ, прозванная «французской музой»; бывал там Суме, с триумфальным успехом поставивший две свои пьесы, «две лучшие трагедии нашей эпохи», как говорил Гюго,— словом, более чем когда-либо «наш великий Александр»; Гиро, прославившийся своим «Маленьким Савояром»; Альфред де Виньи и Гаспар де Понс в голубом мундире; разумеется, здесь бывали братья Дешан и огромный де Сен-Вальри, совладелец «Французской Музы».

С восьми до десяти часов вечера шла беседа. Нодье, стоя у камина, принимался что-нибудь рассказывать — воспоминания юности или фантастические происшествия. Куда девались тогда его равнодушие и вялость? Он становился удивительно красноречивым. Затем начинались литературные споры. «Андре Шенье зашел слишком далеко,— говорил Виктор Гюго,— в его стихах столько цезур и переносов фразы из одной строки в другую, что они лишаются музыкальности, а ведь в поэзии прежде всего нужна напевность». Нодье возражал: «Шенье романтик на свой лад — и это хорошо... В искусстве нет раз и навсегда установленных правил». Эмиль Дешан, сверкнув в улыбке превосходными зубами, говорил, кривя тонкие губы: «Вы еще откажетесь от своего мнения, дорогой Виктор...» В десять часов Мари Нодье садилась за пианино, и разговоры прекращались. Стулья отодвигали к стенам, и начинались танцы. Нодье, заядлый картежник, садился играть в экарте; Виньи, бледный, стройный, вальсировал с Дельфиной Гэ. Люди серьезные, в том числе и молодой Гюго, продолжали вполголоса беседовать в уголке. Госпожа Гюго, с загоревшимся взглядом своих «андалусских» глаз, танцевала, и муж время от времени тревожно поглядывал на нее.

Все эти люди, хоть и собратья-литераторы, были добрыми друзьями. На смену царства острословия, говорил Эмиль Дешан, пришло царство добросердечия. Участники кружка великодушно хвалили друг друга. «Нашему великому Александру» воздавали самые высокие похвалы:

Мы ждем твоих стихов, их слава велика,
Их Франция возьмет в грядущие века...

Впрочем, хвалили всех по очереди, и Рессегье курил
фимиам Виктору Гюго:

Воспели вы Маренго и Бувин
И одой обессмертили их славу.
Малерб, Гюго и Жан-Батист — по праву
Вы встали в ряд один.

Это общество взаимного поклонения раздражало язвительного Анри де Латуша, и в газете «Меркюр» он напал на эти крайности: «По-видимому, господа Александр С***, Александр Г***, Гаспар де П***, Сен-В***, Альфред де В***, Эмиль Д***, Виктор Г*** и некоторые другие условились, что они будут прославлять друг друга. Да и почему бы этим мелким князькам поэзии не заключить подобный союз?» «Мелкие князьки» энергично ответили пером Виктора Гюго: «Энтузиастов оскорбляют за то, что песнь одного поэта вдохновляет другого поэта, и желают, чтобы о людях, обладающих талантом, выносили суждение только те, кто таланта не имеет... Можно подумать, что для нас привычна лишь взаимная зависть литераторов; наш завистливый век насмехается над поэтическим братством, таким радостным и таким благородным, когда оно возникает между соперниками».

Большинство сотрудников «Французской Музы» стремились к обновлению поэзии, но отнюдь не хотели вмешиваться в ссору между романтизмом и классицизмом. Жюль де Рессегье выразил в весьма плоских стихах этот осторожный эклектизм:

У двух прекрасных школ, как у сестер,—
Одна повадка, разная одежда.
Которая милей? Напрасный спор:
Величие в одной, в другой — надежда...

В чем же было тут дело? Какую действительность прикрывали слова *романтизм* и *классицизм*? Госпожа де Сталь делала тут два резких разграничения: «Литература, подражающая древним классикам, и та литература, которая своим рождением обязана духу средневековья; первая — по самым своим истокам окрашена язычеством, а во второй — движущая сила и развитие исходят из глубоко духовной религии...» Если судить по этим определениям, то поэты «Французской Музы» близки были к романтизму. Они были христиане и трубадуры; предоставляли северным духам и вампирам место, которое некогда занимали нимфы и эвмениды; они читали Шиллера и в некоторой мере знали его (немного,

так как мало кто из них владел немецким языком). Другие новаторы считали эту форму романтизма варварской и ретроградной. Ламартин говорил о «Музе»: «Это бред, а не гениальность». Стендаль около 1823 года писал, что он боится той «немецкой галиматьи, которую многие называют романтической». Он писал — «романтицизм» (на итальянский лад) и хотел, чтобы возник свободолобивый романтизм, романтизм писателей-прозаиков, влюбленных в правду. Он высмеивал «молодых людей, которые избрали себе жанр мечтательный, тайны души; хорошо упитанные, с хорошими доходами, они непрестанно воспевают страдания человеческие и радость смерти». Он называл их «мрачными дураками».

К спорам примешался шовинизм. «„Вертер“, — роман какого-то немецкого поэта», — писал в 1805 году в газете «Деба» критик Жофруа. Позднее Ф.Б. Гофман издевался над «поклонниками германской Мельпомены». Противники «Французской Музы» из числа либералов упрекали ее в том, что она больше немецкая и английская, чем французская; что она предлагает мистицизм народу, который всегда видел в мистицизме лишь предмет для шуток; что она преподносит туманные оды нашей нации, которая по своему характеру склонна ко всему позитивному; что «Муза» всерьез толкует с читателем-философом о всяческих суевериях. Словом, дух XVIII века восстал против духа XIX века. Во Французской Академии, которая по самому уж возрасту своих членов зачастую идет против новшеств и которая в те времена защищала классицизм и философию, господин Оже, постоянный секретарь Академии, в своей речи, произнесенной на публичном ее заседании, метал громы и молнии против содружества Арсенала, называл его еретической сектой в литературе: «Эта секта создана недавно и насчитывает еще мало открытых адептов; но они молоды и горячи; преданность и энергия заменяют им силу и численность...» Он призывал к порядку госпожу де Сталь за ее разграничение классицизма от романтизма, «которое неведомо для всех литератур, раскалывает их; проделывается такое разделение и в нашей литературе, которая о нем никогда и не подумывала...». Он упрекал романтиков в желании разрушить правила, на которых основаны французские поэзия и театр, и в том, что романтики ненавидят веселость и находят поэзию только в страданиях. Впрочем,

их печаль чисто литературная, говорил Оже, не причиняющая никакого вреда их прекрасному здоровью. Коротче говоря, романтизм не связан с реальной жизнью, это призрак, исчезающий, стоит только прикоснуться к нему.

Странно, что этот хулитель романтизма вскоре покончил с собой, как романтический Вертер, но ведь никто не мог предвидеть его самоубийства, и служителей «Французской Музы» смущали нападки Оже. «Наш великий Александр» лелеял честолюбивую мечту попасть в Академию, да и другой Александр — Гиро — тоже подумывал о доме на набережной Конти. Впрочем, они не считали себя романтиками и все меньше понимали, что означает это слово. «Столько раз давали определение романтизма, — говорил Эмиль Дешан, — что вопрос совсем запутался, и я уж не стану усиливать эту путаницу новыми разъяснениями...» Общим для всех этих молодых людей была защита таинственности, которую отвергали и даже презирали философы XVIII века, бунт против холодной поэзии времен Империи, стремление посвятить свое перо трону и алтарю. Было ли это романтизмом? Право же, заявлял Поль Валери, «невозможно задумываться серьезно над такими словами, как классицизм и романтизм: ведь нельзя ни напиться пьяным, ни утолить жажду этикетками бутылок...».

Если Академия хочет во что бы то ни стало разбить литературу на два лагеря, писал тогда в «Музе» Эмиль Дешан, «мы, со своей стороны, укажем среди писателей всех наций, которых за последние двадцать лет именовали романтиками, следующих лиц: Шатобриана, лорда Байрона, госпожу де Сталь, Шиллера, Монти, де Местра, Гете, Томаса Мура, Вальтера Скотта, аббата де Ламенне и т. д. и т. д.; после этих великих имен нам не подобает приводить имена более молодых писателей. В другом лагере (выбирая литературные имена в той же эпохе) мы увидим господ*** — оставляю пробел и предлагаю классицистам заполнить его; яснее сказать не могу. А затем пусть решит вопрос Европа или какой-нибудь ребенок».

Гюго, со своей стороны, ответил статьей «О лорде Байроне в связи с его смертью»:

Нельзя после гильотин Робеспьера писать мадригалы в духе Дорá, и не в век Бонапарта можно продолжить Вольтера. Настоящая литература нашего времени, та литература, деятели которой

подвергаются остракизму, подобно Аристиду... и в бурной атмосфере которой, несмотря на широкие и рассчитанные гонения против нас, расцветают все таланты, как иные цветы произрастают лишь в местах, овеваемых ветрами... эта литература не отличается мягкими и бесстыдными повадками музы, которая воспевала кардинала Дюбуа, льстила фаворитке Помпадур и оскорбляла память Жанны д'Арк... Она не порождает дикой оргии песен во славу кровавой резни... Ее воображение окрыляет вера. Она идет в ногу со своим временем, идет шагом твердым и размеренным. Она полна серьезности, ее голос мелодичен и звучен. Словом, она такова, какими должны быть чувства, общие для всей нации после великих бедствий,— чувства печали, гордости и веры в Бога.

В статье есть фраза: «Мы не можем сделать так, чтобы прошлое стало настоящим». Сказано прекрасно, однако «наш великий Александр» не сводил глаз с дворца Мазарини и боялся постоянного секретаря. «Мы едва осмеливаемся дышать при этом режиме литературного террора»,— вздыхал Молодой Моралист (Эмиль Дешан). Гиро и Рессегье готовы были из солидарности с Тулузской академией прикрывать отступление Суме. Выход этой группы из кружка не убил бы «Французской Музы», если бы среди остальных членов содружества царило полное согласие. Но его не было. Статья о «Новых поэтических думках» Ламартина, не то что враждебная, но сдержанная, имела целью наказать старшего собрата за его отказ сотрудничать в «Музе». Он ответил весьма язвительным письмом к Гюго: «Каждый делает на сем свете свое дело, как умеет. Птицы поют, змеи шипят; не надо за это сердиться на них...» Неприятное назидание. Альфред де Виньи, страстный поклонник Ламартина, написал Гюго: «Какая гнусная вещь — литература! Возьмем хотя бы отзывы о поэзии Ламартина, которые я слышу вокруг. О нем всегда неправильно судили — то ставили его слишком высоко, то слишком низко. Говорят, вы отлучили его от церкви. Не могу этому поверить...» Суме писал Александру Гиро: «Ламартин — гигант, а вы — шалуны в литературе, и вы еще смеете его критиковать».

Второй повод к расколу. А кроме того, Шатобриан, который, будучи министром иностранных дел, поддерживал «Музу», где поэты воспевали его войну в Испании, вдруг провалился с треском — был смещен со своего поста 6 июня 1824 года. 15 июня «Французская Муза» затопила свое судно. «По мотивам высокого порядка,— писала Мари Нодье,— корабль вернули в гавань после блистательного залпа в честь великого писателя при его выходе из министерства...» В последнем

номере журнала Гюго на прощание дал залп в честь Шатобриана:

Твои несчастья — славы пьедестал.
Когда судьба смеялась над тобой,
Ты возвышался над судьбой
И, падая с вершин, в лазурь взлетал¹.

Двадцатого июля Александр Суме был избран во Французскую Академию. Итак, под ее купол вступил романтизм? Нет, скорее уж Суме отступил от романтизма.

Кто же Гюго? Классицист? Романтик? Публикуя в феврале 1824 года у книгоиздателя Лавока «Новые оды и баллады», Виктор Гюго в предисловии к сборнику еще отказывается принять решение:

Теперь в литературе, как и в государстве, существуют две партии, и война в поэзии, по-видимому, должна быть не менее ожесточенной, чем яростная социальная война. Два лагеря, кажется, больше жаждут сразиться, чем повести переговоры. Они упорно не желают найти общий язык: внутри своего стана они говорят приказами, а вне его издают клич войны. Но ведь так противникам столкнуться невозможно. Меж двух боевых фронтов выступили благоразумные посредники, призывающие к примирению. Быть может, они окажутся первыми жертвами, но пусть будет так. Автор этой книги хочет занять место именно в их рядах. И прежде всего, желая придать некоторое достоинство беспристрастному обсуждению, которым ему хочется внести ясность в данный вопрос (больше для себя самого, чем для других), он решил отказаться от всяких условных терминов, которыми противники перекрываются, как пустыми воздушными шарами, от знаков, не имеющих значения, от выражений, ничего не выражающих, от туманных слов, которые каждый понимает по-своему, сообразно своей ненависти или своим предрассудкам, и которые служат доказательствами только для тех, кто доказательств не имеет. Сам автор ведать не ведает, что такое классический жанр и жанр романтический... В литературе, как и во всем остальном, есть только хорошее и плохое, прекрасное и безобразное, истинное и ложное... Однако прекрасное у Шекспира столь же классично (если слово классично означает *достойное изумления*), как и прекрасное у Расина...²

Гюго восставал против той мысли, что революция в литературе является выражением политической революции 1789 года. Она была, утверждает молодой Гюго, ее результатом, а это большая разница. Мрачный и грозный ход событий, конечно, пробудил все, что было бес-

¹ Виктор Гюго. Шатобриану («Оды и баллады»).

² Виктор Гюго. Предисловие к «Одам и балладам» издания 1824 г.

смертного и высокого в творчестве гениев. Но современная литература, произведения, созданные такими писателями, как госпожа де Сталь, Шатобриан, Ламенне, несколько не принадлежат Революции, — «они предвосхищают монархический и религиозный дух того общества, которое, несомненно, возникнет среди множества обломков прошлого». Форма «Новых од и баллад» не более революционна (утверждал автор), чем его политические взгляды. «Всякое новшество, противоречащее природе нашей просодии и духу нашего языка, должно быть признано посягательством на самые основы хорошего вкуса...»

Сильный темперамент художников, неведомый для них самих, влияет на форму их произведений. Гюго как поэт уже освобождался от пут больше, чем он знал об этом как автор предисловия. В некоторых стихотворениях он дерзнул отказаться от перифраз, сорвал с дрессированной собаки ошейник эпитетов и назвал вещи своими именами. Еще слишком много у него *муз* и *ангелов*, слишком много возгласов: «*Праведное небо! Что вижу... О небеса! Куда те воины идут!*» И все же в стихах, как будто против его воли, проскальзывают воспоминания детства, правдивые пейзажи, прекрасные строки:

Я король-изгнанник, гордый, одинокий..

Разве здесь уже не слышится Бодлер?

Вот уж ты явился взгляду,
Сыплешь блесток мириады,
И небесною отрадой
Песня крыл твоих звенит¹.

А здесь, разве вы не слышите Валери? Гюго предчувствует также ту роль, которую иным людям предназначено играть в мире:

Поэту чужд покой —
Он утешает род людской,
Рабов, страдаемых тоской...²

Нет ничего труднее, как написать без лишних или неточных слов короткое стихотворение, в котором смысл должен быть тесно связан с ритмом. В двадцать два года Гюго делал это с царственной легкостью. Но он был

¹ Виктор Гюго. К Трильби («Оды и баллады»). — Перевод В. Давиденковой.

² Виктор Гюго. Поэт в Революции («Оды и баллады»).

неведомо для себя романтиком, и присяжный критик «Журналь де Деба», «старая лисица Гофман», грубый и вёрчливый сын Лотарингии, писавший в молодости вольные стишки в подражание классикам, разоблачил его. Он упрекнул поэта за то, что у него отвлеченные идеи сочетаются с реальными образами. «Писатели античности,— неосторожно заявил он,— не давали бы какому-нибудь божеству в качестве облачения тайну». Однако он имел дело с человеком, который лучше его знал античную и классическую литературу, Гюго задал ему хорошую взбучку.

Письмо Гюго к Гофману, опубликованное (в силу права на ответ) в газете «Журналь де Деба»:

Я не стану утверждать, что это выражение буквально взято из Библии. Библия несколько романтична, не правда ли? Но я спрошу вас, чем это выражение кажется вам порочным? Дело в том, скажете вы, что у меня отвлеченное понятие, тайна, непосредственно сочетается с реальным образом — облачением. Ну что ж, сударь, такого рода сочетание слов, которое кажется вам романтическим, встречается на каждом шагу и у «писателей античного мира», и у «великих современных писателей».

...За отсутствием места, я хочу привести только самые убедительные примеры. Вы утверждаете, что классики, стремившиеся никогда не соединять отвлеченные понятия с реальностями, не дали бы какому-нибудь Божеству тайну в качестве облачения; но, сударь, они дали в качестве основы престола Божия — СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ИСТИНУ (Ж.-Б. Руссо. Ода XI, кн. 1), следовательно, вещественному образу — престол дали опору из двух отвлеченных понятий — справедливость и истина. Вот еще примеры: Гораций сказал в оде XXIX, кн. 111: «VIRTUTE me involo mea (я облакаюсь в свою ДОБЛЕСТЬ)». Жан-Батист Руссо сказал (кн. IV, ода X): «Так в высшую заслугу людям ставят порок, ИЗЯЩНЫМ облачением смягченный...» Ну и вот, сударь, — раз Гораций делает из ДОБЛЕСТИ облачение, а Руссо то же делает с ИЗЯЩЕСТВОМ, разве не употребляем мы ту же самую фигуру, применяя ее к слову ТАЙНА, столь же отвлеченному, как изящество и доблесть?..

Итак, я имел честь доказать вам, что выражения, в которых вы усматриваете всю суть романтизма, по меньшей мере столь же часто употреблялись классиками античной и современной литературы, как и писателями наших дней, а поскольку в этих выражениях вы усматривали различие между двумя литературными жанрами, то оно рушится само собой; из этого следует, сообразно вашей системе, что нет никакой реальной разницы между этими жанрами, раз единственная, признаваемая вами разница — разница в стиле, совсем исчезла. Позвольте поблагодарить вас за такой результат...

Нельзя не восхититься твердостью тона в этом письме, эрудицией и решительностью автора. Мастерство не декретируется, оно властно заявляет о себе.

Глава третья
БЛУА, РЕЙМС, ШАМОНИКС

Прекрасные творения — суть дщери своей формы, рождающейся прежде, чем они.

Поль Валери

Финансовые дела семейства Гюго улучшились. За право выпустить в течение двух лет «Новые оды» книгоиздатель Лавока платил автору две тысячи франков. Генерал ежемесячно посылал сыну небольшую сумму, и Виктор, получивший теперь два королевских пособия, просил отца, чтобы тот, помогая ему, «прежде всего думал о собственном своем благополучии». Молодые супруги смогли в 1824 году снять небольшую квартиру в доме № 90 по улице Вожирар, над мастерской столяра, и платить за нее шестьсот двадцать пять франков в год. Там у них и родилась 28 августа дочь Леопольдина. «Наша Дидина просто прелесть. Походит она на мать, походит и на дедушку...» Крестной матерью записали генеральшу графиню Гюго. Конечно, это был дипломатический ход.

Улица Вожирар стала местом сбора многих молодых писателей. Семейство Гюго они считали образцовым. В их спокойном жилище, всецело посвященном труду, госпожа Гюго разливала сияние своей красоты. «Оды» казались «Сенаклю» — так именовалось это содружество — сладостными и торжественными отзвуками этой «чистой и уединенной жизни».

Гюго — Альфреду де Виньи:

«Сию дома, где мне так хорошо, где я баюкаю свою дочку, где всегда со мною моя жена — мой ангел...»

Он хотел быть «первым в супружестве», в отцовских радостях и в поэзии. Друзья остались ему верны. Альфред де Виньи, служивший в Олоронском гарнизоне, сперва возмущался закрытием «Французской Музы»: «Ничего не понимаю в том, что мне пишут, дорогой друг, но из моей горной глуши мне кажется, что мы делаем глупость. Как! «Муза» прекратит существование, когда она стала силой?.. Спасите ее любой ценой... Отступить от нее было бы просто подло...» Он возмущался, что Александра Суме прельщает «ветхое кресло» академика. Но Олорон далеко от Парижа и, когда поэт-офицер писал

это письмо, «Французская Муза» уже умерла, а Суме стал «бессмертным». Это не затронуло дружбы, соединившей Гюго и де Виньи: «Оставим другим эти мелкие слабости и ребяческие страхи. Любите меня и пишите мне, вот и будет хорошо. *Альфред...*»

Иногда на улице Вожирар приходил к обеду Ламартин, он был тут старше всех, облик имел гордый, благородный и надменный. Он выставил свою кандидатуру во Французскую Академию и страдал из-за этого.

Ламартин — Гюго, 6 ноября 1824 года:

«В среду приду к вам обедать, дорогой Гюго. Но, пожалуйста, не приглашайте Суме. Вы и представить себе не можете, до чего гнусно третируют нас, кандидатов, господа, получившие право избирать; я негодную, я возмущен. Хорошо знаю, что господин Суме им не сообщник, но и он, и другие становятся их орудием. Будем жить вдали от них, и если вы, после того как эта история кончится, когда-нибудь снова увидите мое имя среди кандидатов в Академию, можете сказать, что я потерял голову, и сердце...»

Ламартин обожал молодое семейство Гюго. В письме от 23 декабря 1824 года он говорит: «Вы не делали глупостей в своей жизни, а моя жизнь до двадцати семи лет была соткана из ошибок и распущенности... У вас сердце, достойное золотого века, а жена ваша — женщина из рая земного. При таких обстоятельствах еще можно жить в наш железный век...» Летом, когда Ламартин жил в Сен-Пуане, поэты переписывались. Виктору Гюго, защищавшему грамматику, Ламартин отвечал: «Грамматика подавляет поэзию. Грамматика не для нас писана...» Разница была в том, что Гюго прекрасно знал грамматику. Это дружбе не мешало, и Ламартин прислал Гюго стихотворное приглашение в Сен-Пуан:

Не грустно ли певцу томиться
В людской толпе? К нам поспеши —
Ведь место вольной певчей птице
Среди полей, в лесной глуши!¹

Из-за болезни Эжена генерал Гюго задержался в Париже, и это привело не только к родственному, но и к духовному сближению Виктора Гюго с отцом. Когда-то торжествующий и суровый отец вызывал у его детей враждебные чувства, но отец, уволенный в отставку, искавший опоры у сына, уже ставшего знаменитым поэтом, внушал им снисходительное к себе отношение, жа-

¹ Перевод М. Донского.

лость, а также и гордость его былыми воинскими подвигами — Адель и Виктор любили слушать рассказы о них.

Оставь, о мой отец, твой страннический посох!
О бурях боевых, о гибельных утесах,
Встречавших твой корабль, поведай в тихий час
В кругу семьи своей. Ты кончил труд походный.
Ты завещал сынам свой подвиг благородный,
И нет наследия прекраснее для нас!¹

А через своего отца, которого сын теперь лучше знал и больше любил, он чувствовал себя ближе к Наполеону. При жизни Наполеон был «тираном», ненавистным для матери Виктора Гюго. После трагедии на острове Святой Елены он стал преследуемым героем, и в глубине души Гюго чувствовал, что французскому поэту приличнее воспевать тех, кто «сражался под Фридрихом и пал у Риволи», чем осыпать цветами заказных од мелькающие фигуры королевской семьи.

Французы! Отберем похищенную славу!
Вам подвиги его принадлежат по праву,
Довольно хор похвал о нем одним гремел!
Он вами вознесен, но ваших молний сила
Какому бы орлу весь мир не покорила
И кто б не стал велик с вершины ваших дел!²

Когда Шатобриан был министром, Виктор Гюго надеялся возвести отца «на вершину воинских почестей», но в пору своего могущества Шатобриан стал недоступным сановником.

Виктор Гюго — генералу Гюго, 27 июля 1824 года:

«Если мой знаменитый друг вернется на свой пост, наши шансы утратятся. Мои отношения с ним стали гораздо ближе со времени его опалы; а когда он был в милости, дружба наша очень остыла...»

29 июля 1824 года:

«Дорогой наш Эжен все в том же положении, бедняжка. Никакого сдвига! Полная безнадежность...»

Отношения с бывшей графиней де Салькано улучшились:

«Поблагодари, пожалуйста, свою жену за ее деликатное внимание ко мне — она сердечно поздравила меня с днем рождения. Не могу и передать, как я и моя Адель были тронуты. Поблагодари ее еще за обещанную присылку масла, оно будет нам очень полезно нынешней зимой...»¹

¹ Виктор Гюго. Моему отцу («Оды и баллады»). — Перевод В. Левика.

² Там же.

Генерал Гюго, радуясь необонапартизму своего сына, настаивал, чтобы тот приехал со всем семейством погостить в Блуа. Прежде это было невозможно из-за двух тяжелых беременностей Адели. Наконец в апреле 1825 года они предприняли это путешествие. Виктор Гюго, который, несмотря на смерть Людовика XVIII, по-прежнему был в милости двора, получил от директора почтового ведомства карету и поехал в ней с женой и маленькой дочкой. В Блуа на почтовой станции их встретил генерал Гюго с широкой улыбкой на багровом лице, чрезвычайно довольный, что может показать сыну и снохе свой красивый, прочный и просторный «бе-локаменный дом... с шиферной крышей»; еще больше он был счастлив, когда, вскоре после приезда, сын получил письмо от виконта де Ларошфуко, «уполномоченного ведать изящными искусствами, их сношениями с королевским домом». В этом письме сообщалось, что Карл X «милостиво соизволил» произвести в кавалеры орден Почетного легиона господ Гюго и Ламартина. На самом-то деле оба они ходатайствовали об этом ордене. Его величество весьма любезно выразил свое огорчение по поводу забвения, в коем пребывают деятели литературы, чем они по праву должны быть удивлены. Король пригласил молодого поэта на свою коронацию. Легко себе представить, как счастлив был отец, увидев дорогой ему орден Почетного легиона на груди своего двадцатитрехлетнего сына.

Для Виктора Гюго, умевшего наслаждаться возвышенными чувствами и долго считавшего себя сиротой, было радостно жить под отцовским кровом. Когда-то он восставал против отца, а теперь испытывал чудесное душевное спокойствие, чувствуя себя перед ним ребенком, но ребенком, которого отец уважает, и ему нравилось бродить с отцом по живописным окрестностям Блуа. О самом Блуа он говорил, что «это прелестнейший город... Он раскинулся на обоих берегах красавицы Луары, и все тут тешит взгляд: с нагорной стороны амфитеатром поднимаются по склонам сады и руины; с другой — простирается равнина, утопающая в зелени. На каждом шагу — воспоминание...». Он любил старинные замки, связанные с историей и с легендами.

Виктор Гюго — Адольфу де Сен-Бальри, 7 мая 1825 года:
Я побывал в Шамборе. Вы и представить себе не можете, какая там своеобразная красота!.. Всяческое волшебство, всяческая поэзия, всяческие безумства проглядывают в этом восхитительном

и странном дворце, где обитали феи и рыцари. Я вырезал свое имя на вершущке самой высокой башенки; прихватил с собою немножко камешков и мха с вершины холма и кусочек оконного переплета от того самого окна, на котором Франциск I написал две стихотворные строчки:

Женщины, женщины,
Как вы изменчивы!

Обе эти реликвии для меня драгоценны...

Очень понравилась ему и усадьба Мильтьеера, которую генерал Гюго купил в Солони, в нескольких километрах от Блуа.

Виктор Гюго — Полю Фуше, 10 мая 1825 года:

Нахожусь сейчас в Мильтьеере, в зеленой беседке около дома; плющу, обвивающий ее, бросает на бумагу зубчатые, вырезные тени; посылаю тебе их рисунок, раз ты хочешь, чтобы в моем письме было что-нибудь поэтическое. Не смейся над странными линиями, брошенными как будто случайно на оборотной стороне листка. Призови на помощь воображение. Представь себе весь этот рисунок, начертанный солнечным светом и тенью, и ты увидишь нечто очаровательное. Вот так и поступают безумцы, которых именуют поэтами...

Слова важные, так как они показывают счастливую непринужденность, с которой Гюго начал теперь рисовать, а зачастую и писать. Светлые пруды, старинный дом, дуслистые ивы, под которыми зажигались во тьме блуждающие огоньки, обратили для него Мильтьееру «в чудесный, таинственный приют».

Дни, проведенные в гостях у отца, пролетели, как показалось Гюго, чересчур быстро. Каждый жаждет тех почестей, в которых ему отказывают, и проклинает те, что сами плывут ему в руки. Когда пришло время ехать в Реймс на коронацию Карла X, молодой и уже прославленный поэт огорчился, что надо расстаться с Блуа, с отцом, а главное, с Аделью — впервые со дня свадьбы. Но так уж было решено. Виктор Гюго обещал, что путешествие из Парижа в Реймс он совершит вместе с Нодье, и попросил родителей жены приготовить ему придворный костюм: короткие панталоны, шелковые чулки, башмаки с пряжками, стальную шпагу. Он выехал 19 мая, испытывая некоторое удовольствие оттого, что Адель заливалась слезами, прощаясь с ним. Предстояло провести без нее лишь несколько дней, но ему они казались чуть ли не вечностью: «Как все эти почести печальны! Многие завидуют, что я еду, но завист-

ники не знают, как я несчастен из-за этого счастья...» Однако ж ему было двадцать три года, он любил славу и немало гордился, что попутчики в дилижансе смотрят на красную ленточку у него в петлице: «Скажи моему отцу, что дорогой меня спрашивали, не еду ли я в свой полк и т. д. Все это из-за ленточки!» В этой фразе чувствуется тайная любовь к воинской славе. Он просил Адель вскрывать письма, которые, возможно, будут приходить на его имя, и сообщать ему их содержание. О, простодушная доверчивость супругов, не имеющих тайн друг от друга!

На улице Вожирар он, разумеется, расположился в их общей спальне и от этого тяжелее почувствовал свое одиночество. Париж без Адели стал для него чужим: «Моя родина — это ты...» Завтрак у родителей жены — господин Фуше сам приготовил для зятя омара под соусом. Посещение портного — тот показал ему сшитый фрак, весьма безобразный и очень модный; визит к «бессмертному» Суме — академик обычной своей ласковой добротой предложил ему для предстоящей церемонии свои короткие панталоны; затем, поскольку и сам Гюго, и Нодье сидели без денег, переговорил с книгоиздателем Лавока — тот жаждал получить будущую оду на коронацию Карла X, а посему дал аванс на поездку в Реймс. Обед у Жюли Дювидаль де Монферье, художницы и хорошенькой женщины; когда-то Виктор Гюго ее ненавидел, а теперь она была другом дома, и молодой супруг обожал ее: «Мы пили за твое здоровье, моя дорогая Адель. Как я тебя люблю!.. Я тысячу раз поцеловал твое письмо. Какое прекрасное письмо! Каким красноречивым сделали его скорбь и нежность...»

Путешествие в Реймс началось хорошо. Шарль Нодье и Виктор Гюго совместно с двумя приятелями наняли за сто франков в день нечто вроде большого фиакра, так как нечего было и мечтать о билетах на дилижанс. Дорогу, подчищенную скребками, посыпанную песком, как парковая аллея, запрудили экипажи; гостиницы и постоялые дворы были переполнены. Всюду, где делали остановку, Гюго бежал осматривать исторические памятники, а Нодье устремлялся к букинистам. В Реймсе пришлось ночевать вчетвером в одной комнате, но Шарль Нодье так интересно рассказывал там о готических соборах, он был превосходный попутчик и настоящий эрудит. Гюго любил готику, «поистине порождение природы. Беспредельное, как сама природа, в вели-

ком и в малом. Микроскопическое и гигантское...». Шатобриан посвятил его в тайны готики, Нодье, замечательный знаток старины, научил его населять памятники прошлого священными тенями их основателей и оживлять воспоминаниями о событиях, свидетелями которых были крепости, замки, монастыри. «В этой Шампани все дышит сказками... Реймс — да ведь это царство химер...» Нодье рассказывал сказки и пробуждал химеры. На улицах Реймса теснились любопытные, желавшие посмотреть, как проедет Карл X; Гюго говорил Шарлю Нодье: «Пойдем лучше полюбуемся на его величество кафедральный собор». Нодье смеялся: «В вас вселился бес Стрельчатый». — «А в вас — бес Эльзевира», — ответил Гюго.

И Нодье и Гюго, оба в парадных фраках и со шпагой на боку, присутствовали на коронации среди сонма толстых мужчин и женщин, увешанных драгоценностями. «Вся церковь сверкала при свете майского дня. Блистали золотые ризы архиепископа, на алтаре дробились солнечные лучи...» Во время церемонии некто Эмонен, представитель департамента Ду, подарил Шарлю Нодье книгу, которую держал в руках. «Только что купил ее за шесть су», — сказал он. То был томик разрозненного издания Шекспира на английском языке. Вечером Нодье переводил оттуда с листа драму «Король Иоанн». Для Гюго она была откровением. «Право, это великое произведение!» — воскликнул он. Ламенне еще в 1823 году советовал ему «пройти курс лечения Шекспиром», но Гюго не пожелал читать его в отвратительном переводе Летурнера. Затем Виктор Гюго, также с листа, перевел Шарлю Нодье испанское «Романсеро», купленное дорогой у какого-то букиниста. Та ночь в Реймсе, когда Виктор Гюго в номере гостиницы открыл Вильяма Шекспира, также была коронацией — венчанием на царство великого поэта.

Шатобриан тоже приехал в Реймс; Гюго поспешил засвидетельствовать ему свое почтение и застал его в ярости: «Я мыслил коронацию совсем иначе. Голые стены церкви, король на коне, две раскрытые книги: Хартия и Евангелие, — религия, сочетающаяся со свободой». По-видимому, у виконта де Шатобриана было больше чувства театральности, чем почтения перед ритуалом. Гюго пошел проводить великого человека, посадить его в экипаж и оказался единственным провожающим: у свергнутых министров не бывает свиты почита-

телей. Даже Виктору Гюго хотелось поскорее освободиться, чтобы ехать в Блуа. Его тревожили письма Адели. Она жаловалась на холодность, которую после отъезда Виктора выказывала ей генеральша: «С грустью узнала я некоторые вещи, доказывающие, что госпожа Гюго с трудом переносит наше присутствие и сетует на него... Непременно напиши, что из-за непредвиденных дел тебе необходимо вернуться в Париж...» Она умоляла Виктора поскорее приехать за ней: «Через два дня после этого мы бы отправились домой, я заказала бы места в почтовой карете, здесь мы придумали бы какой-нибудь предлог...» А Гюго надеялся погостить у отца полтора месяца. Следующее письмо было еще более настойчивым: положение стало невыносимым. Виктор Гюго, глубоко огорченный, советовал жене быть спокойнее: «Успокойся. Мы все уладим. Твой Виктор, твой муж, твой покровитель, скоро вернется, и чего же тебе тогда будет недоставать?..» Но Адель не могла выдержать и уехала одна с Дидиной и с няней в Париж, где ее встретила мать.

В оправдание своего поспешного отъезда она ссылалась на то, что Виктору нужно срочно написать «Оду на коронацию». Действительно, он сочинил эту оду еще «в тени собора». «Стихи на случай», помпезные, какими и полагалось им быть:

Сиянье алтаря, великолепье трона,
Склоненные пред ним священные знамена
С тугими складками серебряной парчи,
На арках золотых гирлянды белых лилий,—
Все это бликами цветными озарили
Узором витражей смягченные лучи...¹

Почтительная и торжественная «Ода» понравилась в высоких сферах; Состен де Ларошфуко послал Виктору Гюго две тысячи франков в возмещение путевых издержек; Карл X дал аудиенцию поэту, который лично преподнес ему свои стихи и был вознагражден «самым деликатным образом»: король дал его отцу чин генерал-лейтенанта. Он приказал также, чтобы «„Ода“ была отпечатана со всей типографской роскошью на печатных станках Королевской типографии», и, кроме того, король сделал супругам Гюго хозяйственный подарок — столо-

¹ Виктор Гюго. Коронация Карла X («Оды и баллады»).— Перевод И. Шафаренко.

вый сервиз северского фарфора с тонким узором в виде золотой сеточки. Подарок пышный и полезный.

Ламартин пригласил Гюго и Нодье навестить его в Сен-Пуане. «Мы поедем,— сказал Нодье,— да еще возьмем с собой жен, и все это ничего не будет нам стоить». — «Каким образом?» — «Мы доберемся до самых Альп; мы расскажем о нашем путешествии. И какой-нибудь издатель оплатит его». В самом деле, издатель Юрбен Канель заказал этим туристам «Поэтическое и живописное путешествие на Монблан и в долину Шамоникс». Нодье должен был представить прозаический текст и получить за него две тысячи двести пятьдесят франков, а Гюго — две тысячи двести пятьдесят франков «за четыре плохеньких оды,— писал он отцу.— Оплата недурная...».

Взяли в путешествие даже Дидину. Гюго в costume из серого тика резво бегал по косогорам и походил на школьника, приехавшего на каникулы. Нодье был великолепный рассказчик; его невозмутимый вид и медлительная манера говорить были очень забавным контрастом с живостью его ума,— а ведь в этом как раз секрет юмора. Добродушная госпожа Нодье тоже была забавна, когда она с практическим и здравым смыслом французенки объявляла неправдоподобными фантастические рассказы своего мужа. Обстановка в Сен-Пуане оказалась не очень приятной. Дом «господина Альфонса» совсем не походил на его поэмы и разочаровал Гюго. Нет ни *зубчатых вершин*, ни *густой завесы плюща*, *колорит столетий* на стенах дома оказался желтоватой малярной покраской. «Руины хороши для описания, а не для жилья»,— прозаически пояснил Ламартин. Женат он был на англичанке, она надевала к обеду нарядный туалет, что очень смущало путешественниц. «Она выходила к столу декольтированная и вся в бантах,— писала Адель Гюго.— Наши скромные шелковые платья с высоким воротом казались весьма неуместными при таком параде...» Гюго и Ламартин уважали друг друга, но сблизиться не могли.

Альпы, и особенно «царственно возвышавшийся Монблан в ледяной тиаре и в снеговой мантии», взволновали Виктора Гюго. Все эти исполины, то сверкающие, то сумрачные, зеленые и белые, представляли собою зрелище, достойное его. При своих внутренних противоречиях (мать и отец, христианская религия и вольтерьянство, красота и жестокость мира, радость и кош-

мары, ангел и фавн) он испытывал потребность и во внешних контрастах, отвечающих его душевному складу. Он любил контраст между белизной сверкающего на солнце снега и черным провалом бездны. «Вот сейчас разорвалось облако над нами, и сквозь эту расщелину мы увидели вместо неба — крестьянский домик, зеленый луг и несколько едва различимых коз, которые паслись на заоблачной высоте. Никогда я не видел таких необычайных картин. У наших ног бурлит поток, похожий на реку Ада; над нашими головами — уголок Рая...» Безотчетно обращаясь к мифологии, он превращал горы, скалы, потоки в чудовища, в духов и демонов: «Признаюсь, такой уж у меня уродливый склад ума: в грозной красоте диких мест для меня чего-то не хватало бы, если бы народные сказания не придавали им волшебного характера. Я охотно остановился на этих подробностях, потому что люблю суеверия; суеверия — детище религии и мать поэзии...»

По вечерам, собравшись на постоялом дворе, наши путники смеялись, вспоминая, каких опасностей избежали в дороге. Никогда Гюго не забывал это «радостное путешествие в Швейцарию... Это одно из светлых воспоминаний моей жизни».

Глава четвертая МАСТЕРСТВО

Поразительная виртуозность Гюго
не была помехой его гению.

Жюль Ренар

С 1826 по 1829 год Гюго много работал, многому научился, много создавал. Ошибочно было бы измерять его гигантские успехи датами опубликования его книг: «Оды и баллады» (конец 1826), «Кромвель» (1827), «Восточные мотивы» (1829). Некоторые написанные им вещи он держал в ящике стола по два-три года. В «Восточных мотивах» содержатся стихи, написанные в 1826 году; очаровательная «Песенка шута» из драмы «Кромвель» напечатана была в виде эпиграфа еще в «Одах и балладах». Лучше будет проследить общую линию его поисков.

В эти годы поэзия становится для него искусной игрой, в которой он чувствовал себя мастером. Официальные «Оды» доставили ему то, что они могли дать: те-

перь у него появилась публика; книгоиздатель Лавока заплатил ему четыре тысячи франков за сборник «Разные стихи». Путешествия, беседы с Нодье, изучение поэтов XVI века вызвали у него интерес к немецким и шотландским балладам (так возникли баллады «Невеста литаврщика» и «Два лучника»), а с другой стороны, у него появилось стремление к чистой виртуозности. Он создавал фантастические баллады, или, как он называл их впоследствии, «романсы». Политический или религиозный смысл в том, что он писал тогда, значил для него довольно мало. Он уже был далек от мысли, которую высказал в 1824 году, утверждая, что вся поэзия должна быть монархической и христианской. Теперь его стихи только очаровательны.

Если ты в пути
Ночью — не шути
С судьбиной.
Зренье напряги,
Тропкой не беги
Пустынной.

Хмурый океан
Заволок в туман
Долины,
Чтоб светить не мог
Даже огонек
Единый...

Мрачен темный бор —
Вдруг настигнет вор
С дубиной?
Слышен хор дриад,
Что людей манят
В трясины;

Здесь нашел конец
Не один беглец
Невинный...
Духи под луной
Пляшут ганец свой
Старинный...¹

Слова здесь поставлены лишь ради их музыкальности. То он развлекается («Охота бургграфа»), чередуя на восьми страницах восьмисложную строку стихотворения с односложной, которая звучит, как эхо.

¹ Виктор Гюго. Песенка шута (драма «Кромвель»).— Перевод И. Шафаренко.

Старый бургграф с сенешалем у гроба
Оба.
Готфрид святой, ты для нас господин
Один¹.

То он пишет длиннейшую балладу трехсложным стихом («Турнир короля Иоанна»). Да можно ли считать это только виртуозностью? Это скорее уж акробатика, гимнастические трюки, поражающие непринужденностью, почти что сверхчеловеческой легкостью исполнения.

Молодому поэту Виктору Пави он дал тогда такой совет: «Быть очень требовательным в отношении богатства рифмы, единственной прелести нашего стиха, а главное, чтобы мысль всегда укладывалась в четкие рамки строфы...» Это требование, добавил Гюго, — результат изучения (плохого или хорошего) самого духа нашей лирической поэзии. Тут он близок к другим крупным поэтам Франции, которые столетием позднее учили, что присутствие образного слова уже является элементом красоты, что наш язык, лишенный разнообразия в ударениях, требует точных ритмов и правильных рифм и, наконец, что поэзия — это прежде всего музыка.

Эта поразительная эволюция в творчестве Гюго началась после торжественных «Од». Когда вышли в свет «Оды и баллады» (1826), Ламартин написал ему из Флоренции: «Хочу по-дружески еще раз дать вам суровый совет: не стремитесь к оригинальности! Подумайте хорошенько, прав я или нет: ведь это игра ума, а не то, что вам надо...» «Глобус» — умный и серьезный журнал — не очень благосклонно относился к Виктору Гюго. Этот либеральный орган печати, призывавший к международным культурным связям, раздражала, а иногда и возмущала «Французская Муза» и ее салонный католицизм. Однако редактора журнала, Поля-Франсуа Дюбуа, преподавателя литературы и журналиста, человека властного и даже гневливого, однажды затащили на улицу Вожирар к «ангелу Виктору», как говорила Софи Гэ, и Дюбуа потом признался, что его очаровала молодая чета Гюго: «В скромной квартирке над столярной мастерской я увидел в крошечной гостиной молодого поэта и молодую мать, баюкавшую свою малютку дочь,

¹ Виктор Гюго. Охота бургграфа («Оды и баллады»). — Перевод М. Донского.

учившую ее складывать молитвенно ручки перед гра-
вюрами рафаэлевских мадонн с младенцами Иисусами.
Эта наивная, искренняя, хотя и немножко театральная
сцена растрогала и восхитила меня...» Гюго, со своей
стороны, заверил редактора «Глобуса» в своей симпатии
к нему: «За те немногие часы, которые я провел подле
вас, вы внушили мне чувство истинной дружбы...»

Когда «Оды и баллады» вышли в свет, Дюбуа, со-
хранивший нежные воспоминания о «святом семействе»
с улицы Вожирар, передал книгу своему бывшему учени-
ку в Бурбонском коллеже Шарлю-Огюстену Сент-Бёву,
который вел отдел литературной критики в «Глобусе»,
и сказал ему: «Вот стихи молодого варвара Виктора Гю-
го, у которого есть талант... Я с ним знаком, и мы ино-
гда встречаемся». Сент-Бёв написал большой и похваль-
ный отзыв, но разумно предостерегал в нем автора от
крайностей: «В поэзии, как, впрочем, и в другом, ничего
нет опаснее, как чрезмерная сила; если ее не укрощать,
она может наделать много вреда; из-за нее то, что было
оригинальным и новым, вполне способно сделаться
странным; яркий контраст перерождается в жеманную
антитезу; автор стремится к изяществу и простоте, а
приходит к слащавости и упрощенности, он ищет геро-
ическое, а встречает гигантское; если же он когда-ни-
будь попытается изобразить гигантское, ему не избе-
жать ребячливости...»

Критик был еще моложе поэта (младше его на два
года), но он обладал широким образованием, чутьем к
оттенкам и был одним из самых проникательных умов
своего времени. Он отличался также врожденной тонко-
стью вкуса, верностью суждений. Остатки религиозно-
сти боролись в нем с реалистическим и скептическим
духом, развившимся благодаря научным занятиям. Этот
лирик и позитивист страстно мечтал о счастье, о любви
и страдал, думая, что он не может внушить любовь.
Внутренняя жизнь занимала его больше, чем живопис-
ность фразы. В своей статье он восхищался «пламен-
ным стилем Гюго, его красочными образами, неждан-
ными их переходами, гармонией его стиха», но из всех
«Од и баллад» больше всего хвалил он те немногие сти-
хотворения, в которых Виктор Гюго, возвышаясь над
виртуозностью, изливал чувства, поднимавшиеся из глу-
бины его души. «Постарайтесь вообразить себе самые
чистые часы любви, самую целомудренную нежность в
браке, самое священное слияние душ перед взором гос-

пода,— словом, вообразите в мечтах наслаждения страсти, похищенной с небес, слетевшие к нам на крылах молитвы, и все ваши мечты осуществит да еще и превзойдет поэт Гюго в стихотворениях, которым он дал прелестные названия: «Еще раз о тебе» и «Ее имя». Цитировать их — это значит омрачить их целомудренную тонкость чувства». Действительно, это были задушевные стихи, проникнутые нежной лиричностью.

Люблю и чту тебя, как высшее создание,
Как предков правнуки благоговейно чтут,
Как любит брат сестру, что делит с ним страданья,
А старики — внучат, которые к ним льнут.
Я так люблю тебя, что слезы умиленья
Текут из глаз моих при имени твоём...¹

Легко понять, как радовались молодые супруги, читая 2 января 1827 года эти похвалы стихам, дорогим для них, появившиеся в обычно суровом журнале. Их не огорчили некоторые оговорки критика,— общий тон статьи был благожелательный и даже почтительный; Гете, прочитав ее, не ошибся в своем суждении — 4 января он сказал Эккерману: «Виктор Гюго — истинный талант, на который оказала влияние немецкая литература. Его юность была, к несчастью, ущемлена в поэзии педантизмом лагеря классицистов, а теперь, извольте-ка, даже «Глобус» за него,— стало быть, он победил». Гений распознал гения.

Статья в «Глобусе» была подписана инициалами — С. Б. Виктор Гюго написал редактору журнала, господину Дюбуа, два письма — в первом спрашивал, кто такой этот С. Б., а во втором благодарил его.

Виктор Гюго — Полю-Франсуа Дюбуа, 4 января 1827 года:

Я так ценю ваши труды, господин Дюбуа, что не решился бы побеспокоить вас изъявлением своей признательности. Надеюсь, однако, что вы не откажете мне в разрешении зайти поблагодарить вас. И не будете ли вы так добры прислать мне адрес господина Сент-Бёва, которому мне также хотелось бы выразить, что я испытывал, читая его превосходную статью. Все, что говорится в ней, даже то, что могло бы противоречить моим взглядам или задеть мое самолюбие, сказано достойным тоном благожелательного и честного человека, это восхищает меня, и его замечания, очень ценные сами по себе, становятся для меня просто драгоценными.

Надеюсь, что еще до тех пор, когда мне удастся пойти к господину Сент-Бёву и сказать ему все это устно, вы, господин Дю-

¹ Виктор Гюго. Еще раз о тебе («Оды и баллады»).— Перевод И. Шафаренко.

буа, будете любезны передать ему живейшую мою благодарность. Позвольте мне также сказать, что вы принадлежите к числу тех немногих людей, к которым меня с первой же встречи привлекает искренняя симпатия, и я горжусь ею...

Дюбуа ответил: «Он живет рядом с вами, на улице Вожирар, в доме № 94». Гюго пошел и позвонил к соседу; Сент-Бёва не оказалось дома, но на следующий день он сам пришел к супругам Гюго. Перед ними предстал длинноносый молодой человек, робкий и хрупкий, дурно сложенный и немножко косноязычный. Рыжие волосы, круглую, слишком большую для его тела голову нельзя было назвать красивыми. Однако он напрасно считал себя безобразным. В чертах его лица не было ничего неприятного, и он вполне мог нравиться. Надо сказать, что это лицо озарено было умом, и как только Сент-Бёв чувствовал себя свободно, он становился бесподобным собеседником. Он не договаривал фраз, как будто «швырял их с отвращением, не желая докончить», но мысли он высказывал верные и глубокие.

По правде сказать, говорил-то главным образом Гюго. Сент-Бёв слушал, «покоренный сиянием гения», и украдкой поглядывал на красавицу Адель, присутствовавшую при этом свидании.

В наряде утреннем, юна, свежа, мила,
Она меня сперва в смущенье привела,
Так строг был взгляд ее. Почтительно кивая,
Я слушал, как лилась поэта речь живая,
Но, на нее глаза переводя с него,
Боюсь, что, слушая, не слышал ничего...

Он говорил. Жена ему внимала стоя...
Я, наблюдая их, все недоумевал,
Что с хрупким деревцем связало шумный вал...
Но вскоре мысль ее, как видно, утомилась,
И, находясь среди нас, она совсем забылась;

Хоть руки делали привычные дела,
Мечта ее от нас далеко увела,
И, не засмейся он, она бы все мечтала
И даже слов моих прощальных не слышала¹.

Сент-Бёв пришел еще раз. Все, что Гюго говорил о рифме, о колорите, о фантазии, о ритме, о своей поэтике, открывало перед восхищенным взглядом молодого критика новые, неизведанные края. Он тогда работал над обзором поэзии XVI века. То, что он услышал, про-

¹ Сент-Бёв. Что я рассказывал Адели («Книга любви»).— Перевод И. Шафаренко.

ливало яркий свет на понятия о стиле и о фактуре стиха. После второго посещения он передал Гюго стихи, которые сам писал украдкой. По сравнению с фейерверком поэзии Гюго они казались тусклыми. Однако у них были свои достоинства: естественность стиля, прелесть интимности, и Гюго сумел похвалить лучшее, что было в них: «Приходите поскорее, сударь, чтобы я мог поблагодарить вас за прекрасные стихи, которые вы мне доверили...» С этого дня, говорит Сент-Бёв, «я был завоеван тем отрядом романтиков, вождем которого был Гюго». Он пришел в качестве критика, а ушел учеником. «Гюго все читал и все запоминал. Он с некоторым хвастовством выставлял свои познания...» Но он так щедро и так искусно расточал похвалы, что целый отряд писателей признал его своим главой. «Литература,— говорилось на страницах «Глобуса»,— накануне 18 брюмера, но Бог знает, кто в ней Бонапарт...» Бог это знал.

Виктор Гюго уже год работал над драмой «Кромвель». Его всегда влекло к театру, и он еще в детстве писал пьесы. Теперь он прочел все, что мог найти о жизни Кромвеля (около ста книг), и в августе 1826 года принялся за работу. Тейлор, друг Альфреда де Виньи, получивший дворянство по указу Карла X и пост королевского комиссара в театре Комеди-Франсез, спросил, почему Гюго ничего не пишет для сцены, и тот сказал о своем «Кромвеле». Тейлор пригласил его на завтрак вместе с Тальма, и поэт объяснил трагику, что он хочет создать драму, идя по стопам Шекспира, а не Расина, в языке же смешать все виды стиля — от героического до шутовского, уничтожить трескучие тирады и эффектные стихи. «Да, да! — согласился Тальма.— Не надо красивых стихов».

Но Тальма умер в том же году; драма получилась слишком длинной, поставить ее на сцене казалось невозможным. Виктор Гюго решил прочесть «Кромвеля» своим друзьям. Чтения вошли тогда в моду. Слушатели млели, как гости мольеровских «Жеманниц». Выслушав какую-нибудь оду, рассказывает госпожа Ансело, приглашенные в явном волнении подходили к поэту, «брали его за руку и поднимали глаза к небу». После многозначительной паузы слышалось: «Собор! Готика! Пирамида!» Засим следовало глубокое сосредоточенное раздумье. Прочитав отрывки из «Кромвеля» у госпожи Тастю, Гюго пригласил «господина Сент-Бёва» пожало-

вать 12 марта 1827 года к Фуше, на улицу Шерш-Мида, где он будет читать всю драму целиком. «Все будут счастливы видеть вас, а я — особенно. Вы принадлежите к числу тех людей, перед которыми я всегда готов читать, так как люблю слушать ваши замечания...»

Чтение прошло с успехом, как всякое авторское чтение, но на этот раз успех был вполне оправдан. Драматическая сила некоторых сцен, новизна лексики, шекспировская веселость четырех шутов делали «Кромвеля» произведением крупным и оригинальным, заслуживающим постановки в театре. «Из-за вашего Кромвеля, — сказал автору Альфред де Виньи, — покроются старческими морщинами все современные наши трагедии. Когда «Кромвель» взберется на театральные подмостки, он там произведет революцию, и вопрос будет решен». На следующий день, 13 марта, Сент-Бёв написал Гюго письмо, представляющее большой интерес. Он восхищался красотами этой «трагикомедии», и вместе с тем у него нашлись критические замечания.

Все эти замечания сводятся к одному, которое я уже позволил себе высказать в отношении вашего таланта: чрезмерность, злоупотребление силой и, простите меня, — *шаржирование*. Серьезная часть вашей драмы восхитительна; как бы вы ни увлекались, сколько бы ни буйствовали, вы никогда не выходите за пределы возвышенного. Сцена приема послов и две следующие за нею сцены во втором действии, монолог Кромвеля после встречи с сэром Робертом Уиллисом, а в третьем действии — сцены Тайного совета, Мильтон у ног Кромвеля, — все это хорошо, даже прекрасно, при каждом стихе хочется вскрикнуть от восторга, упреки мои относятся главным образом к комической части. Намерение перемешать, переплести комическое с основным развитием действия, которое в целом посвящено ужасным событиям, является для вас источником красот, из которого вы широко, слишком широко черпали. Чем больший эффект производит контраст, тем сдержаннее следовало быть, мне кажется, вы превысили меру, особенно в слишком частых и длинных репликах «в сторону», которые, думается, больше следовало бы угадывать: пародию не надо подчеркивать, ее должны понимать с полуслова... Словом, я сетую только на злоупотребления, на мелочи, и, право, вчера были минуты, когда я очень досадовал на них; однако не думайте, что мне *наскучили* они, у вас ничего скучного не бывает; но они раздражали меня, выводили из терпения; меня так и подмывало крикнуть, как Кромвель кричал своим шутом, когда приходил в дурное расположение духа: «Тише! Довольно! Прочь отсюда!» Простите, дорогой мой, что я позволил себе без всякого стеснения высказать свои мысли о вас, но чем меньше тут будет церемоний, тем скорее, надеюсь, вы извините меня... Большая наглость с моей стороны нападать на вас с критическими замечаниями, когда меня просто подавляют красоты вашей драмы, это у меня жалкая попытка отомстить вам. А все-таки скажу еще два слова о вашем стиле. Он очень хорош, особенно в серь-

езной части драмы. А в остальном он не всегда свободен от чересчур многочисленных, иной раз странных образов... Вы поставили перед собою двойную цель: с одной стороны, сравняться с Корнелем, а с другой — с Мольером. С Корнелем вы сравнялись, а с Мольером — нет, вы ближе к Реньяру и особенно — к Бомарше: в вашей пьесе много от «Женитьбы Фигаро»...

Тут полностью выявилась противоположность двух темпераментов. Могучая натура Гюго не могла и не должна была отказываться от вершин; Сент-Бёв, тонкий и хрупкий, мог дышать только на «умеренных высотах». Он понял романтизм, он понимал все на свете, но не мог отделаться от мысли, что у романтиков возвышенную пьесу всегда сопровождает «пародийный водевиль». Сам он ясно видел и строго судил свои собственные безумные выдумки. «Я классик,— признался он однажды,— в том смысле классик, что стоит мне обнаружить в литературном произведении большую долю безрассудства, безумства, нелепости или дурного вкуса, как оно погибнет для меня и я отшвырну книгу». Гюго, прирожденный поэт, чувствовал ценность рифмы, вдохновляющей мысль, как Микеланджело чувствовал ту скульптуру, которую подсказывала ему глыба мрамора; прозаик Сент-Бёв верил в необходимость логической связи между мыслями. Но его стихи никогда не достигали того уровня вдохновенного безумства, которое зовется поэзией. Гюго, натура более широкая, умел применяться к требованиям, предъявляемым прозой. Прекрасное этому доказательство — предисловие к «Кромвелю».

Написанное после драмы, оно было принято, особенно молодежью, с неслыханным восторгом. Для Гюго оно представляло собою и сделанный наконец выбор позиции, и вступление в бой. Преследуемый злобными и глупыми нападка ми классицистов, он встал во главе бунтарей. Теперь он уже не говорил, как в 1824 году: «Романтизм, классицизм — не все ли равно, что значат эти слова?» Он создал свой романтизм и дал ему обоснование. Нужно, говорил он, вернуть молодость языку, возродить «широкую и смелую манеру старых писателей», отбросить Делиля и возвратиться к Матюрену Ренье. Драма должна быть борьбой между двумя противоположными началами, потому что этот контраст — самая суть действительности. Прекрасное и безобразное, комическое и трагическое, гротескное и возвышенное должны сталкиваться и сливаться, чтобы создавалось сильное впечатление. Мрак и Свет. Ад и Рай. Гюго был в пле-

ну манихейского дуализма. Его заблуждение сродни тому, какое бывает у народов в пору их младенчества,— стремление воплощать возвышенное и гротескное в противоположных ипостасях; он все видит только в черном и белом цвете. Поэтому он и рисует чудовищ. Некоторой наивностью, похожей на ту, которая характерна для романа «Ган Исландец», страдает и «Кромвель», но драма поражает широтой и силой стиха.

А в те годы на силу был большой спрос. Разве молодых людей, выросших под бой барабанов наполеоновской Империи, могли удовлетворять благонамеренные оды и неоклассические трагедии? Один молодой полковник говорил Стендалю: «После похода в Россию мне кажется что «Ифигения в Авлиде» не такая уж замечательная трагедия». Публика теперь принадлежала не к хорошему обществу, а к новому классу, уже не пугавшемуся насилия «и все более жаждавшему сильных ощущений». В 1816 году кое-кто еще мог верить, что Людовик XVIII — это свобода; в 1827 году никак нельзя было думать, что Карл X — это дух столетия. Виктор Гюго начинал понимать, что под влиянием матери и семейства Фуше его политические взгляды зашли в тупик, а в вопросах религии богословские догмы не удовлетворяли его воображение. Сент-Бёв, новые друзья из журнала «Глобус» проповедовали ему антидинастический либерализм; генерал Гюго, открыв ему другой лик Истории, обратил его в бонапартиста. Да и как бы он, восторгавшийся исполинами, не почувствовал поэзии той жизни, которую прожил Наполеон?

В 1827 году австрийское посольство устроило бал, на который приглашены были и маршалы Империи. Один из них сказал свое имя швейцару: «Герцог Тарентский»; швейцар громогласно доложил: «Маршал Макдональд». Другой гость сказал: «Герцог Далматский»; швейцар провозгласил: «Маршал Сульт». «Герцог Тревизский» — «Маршал Мортье». «Герцог Реджский» — «Маршал Удино». Европа хотела стереть с карты французские победы; маршалы потребовали свои кареты, уехали, и в Париже был большой скандал. Сын генерала графа Гюго с достаточным основанием почувствовал себя оскорбленным и тотчас написал оду «К Вандомской колонне».

Нет! Франция жива! Заслышав оскорбленье,
Отважно рвется в бой младое поколение,
И партии спешат раздоры все пресечь,

И все вокруг встает, от гнева пламеня,—
К оружию, Франция! — и вот уже Вандея
На Камне Ватерлоо точит меч...

Напрасно Австрия плетет силки обмана!
С нее сбивали спесь французских два титана!
История в веках воздвигла Пантеон,—
Там шрамы выставил германский гриф двуликий,
Один своей стопой оставил Карл Великий,
Другой — своей рукой Наполеон...

И мне ли, мне ль молчать! Я сын того, чье имя
Навек прославлено делами боевыми,
Я слышал плеск знамен, что выются, в бой летя!
Над люлькою труба мне пела об отваге,
Мне погремушкой был эфес отцовской шпаги —
Я был уже солдат, хоть был еще дитя!

Нет, братья, нет! Француз дождется лучшей доли!
В походах вскормлены, воспитаны на воле,
В болото жалкое мы свергнуты с вершин.
Так пусть же, честь страны лелея в сердце свято,
Сберечь отцовский меч сумеет сын солдата,
Отчизны верный сын!¹

По правде сказать, он никогда и не был солдатом, разве что в списках Корсиканского полка, куда отец включил его для забавы, но эта роль ему нравилась. Молодежь восторгалась; отставные наполеоновские офицеры, переведенные на половинную пенсию, аплодировали, бонапартисты и либералы торжествовали: «Наш язык стал теперь его языком, его религия стала нашей. Он негодует на оскорбления, нанесенные Австрией, его возмущают угрозы чужеземцев. И, встав перед Колонной, он поет священный гимн, который напоминает людям нашего возраста тот клич, ту песню, те хоры наших воинов, что раздавались под Жемаппом...» Предисловие к «Кромвелю» сделало Гюго главой теоретиков романтической школы; ода «К Вандомской колонне» завоевала ему симпатии «глобистов»; в царстве литературы закончилось регентство Нодье, а в триумвирате Ламартин — Виньи — Гюго выделился и стал первым консулом Виктор Гюго. Сыну генерала Гюго выпало на долю командование Молодой Францией.

¹ Виктор Гюго. К Вандомской колонне («Оды и баллады»). — Перевод М. Ваксмахера.

Глава пятая
«ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ» КВАРТАЛА ВОЖИРАР

Виктор Гюго — это форма, искавшая своего содержания и наконец нашедшая его.

Клод Руа

Если Гюго казался когда-либо счастливым человеком, то именно в 1827 и в 1828 годах. В 1826 году у него родился сын Шарль. Квартира на улице Вожирар стала тесна, Гюго снял целый особняк — дом № 11 по улице Нотр-Дам-де-Шан, — «поистине обитель поэта, притаившуюся в конце тенистой въездной аллеи», за которой зеленел романтический сад, украшенный прудом и «деревенским мостиком». Из парка было два выхода: один, в глубине, вел в Люксембургский сад, а выйдя за ворота, Гюго мог пешком дойти до городских застав — Монпарнасской, Мэнской и Вожирарской. За ними уже начинались сельские пейзажи, над полями люцерны и клевера вертелись крылья ветряных мельниц. Вдоль Большой Вожирарской улицы тянулись распивочные и кабачки с беседками, служившие местом встреч отставных наполеоновских офицеров, мастеровых и гризеток.

Сент-Бёв, который уже не мог обходиться без семейства Гюго, поселился около них, в доме № 19; вместе с ним жила там его мать. Ламартин навестил Сент-Бёва и расхваливал потом «уединенный уголок, и мать поэта, и сад, и голубей... Все это напоминало мне церковные домики и добродушных сельских священников, которых я так любил в детстве». Гюго ежедневно виделся с Сент-Бёвом и живо интересовался его работой о поэтах Плеяды. Ронсар, Белло, Дю Белле привлекли его внимание к старинным стихотворным формам, казавшимся теперь новыми, и особенно к свободной форме баллад, больше отвечавшей его виртуозности, чем торжественная ода.

Каждый смотрит на природу сквозь призму своего темперамента. Гюго до безумия любил простонародный квартал Вожирар с его песнями, воплями, бесстыдными поцелуями; деликатный Сент-Бёв вздыхал: «Ах, какая унылая, плоская местность за бульваром!» Поэтому Гюго не часто брал его с собой, когда, давая отдых глазам, утомленным работой, отправлялся на свою ежевечернюю прогулку до деревни Плезанс, чтобы полюбоваться закатом. Поэта окружал теперь маленький двор — тут был

и старший его брат Абель, и шурин Поль Фуше, и целая ватага молодых художников и поэтов. Их, как магнитом, притягивало к нему: среди прочих талантов у Гюго был дар привлекать к себе молодежь. Каждому поклоннику он немедленно отвечал на его послание: «Не знаю, поэт ли я, но что вы поэт, в этом я не сомневаюсь». Стоило юноше из города Анже, Виктору Пави, написать в своей статье несколько восторженных строк об «Одах и балладах» — и он стал получать от их автора письмо за письмом: «Под вашей статьей не постыдились бы подписаться лучшие наши писатели... Не является ли главным достоинством моей книги то, что она дает материал для таких замечательных статей, как ваши «фельетоны» и «Анжерские афиши»?..» Можно ли зайти дальше в похвалах? Но даже такие гиперболы все еще не удовлетворяли Гюго. Пави приехал в Париж и был принят Гюго так сердечно, что чуть не заплакал от счастья. Он и двадцать лет спустя с трепетом волнения вспоминал об этой встрече. «Право, можно было с ума сойти!..» — говорил он.

Пави познакомил Виктора Гюго с Давидом д'Анже, уже знаменитым скульптором, защищавшим современное, живое искусство. Ко двору поэта присоединились художники и литографы — Ашель и Эжен Девериа, два красавца с гордой осанкой, которые работали в одной мастерской с Луи Буланже и каким-то чудом жили, как и Гюго, на улице Нотр-Дам-де-Шан. Буланже был на четыре года моложе Гюго и сделался его тенью. Картины его стали иллюстрациями к стихотворениям Гюго «Мазепа», «Колдовской хоровод»; он написал портреты Гюго и его жены. Вскоре Буланже подружился с Сент-Бёвом, и Гюго называл их не иначе, как «мой художник и мой поэт». Эжен Делакура и Поль Гюэ тоже участвовали в вечерних прогулках поэта. Так через Гюго складывался союз современных ему писателей и художников.

Летними вечерами отправлялись на прогулку целой ватагой; шли в «Мулен де Бер», поестъ там лепешек, потом обедали в кабачке за некрашеным столом, пели за обедом песни и спорили. Однажды вечером Абель Гюго, услышав под деревьями что-то похожее на пение скрипок, зашел в сад тетушки Саге, пообедал у нее в беседке и остался доволен кухней. За двадцать су там давали яичницу из двух яиц, жареного цыпленка, сыр и вдоль белого вина. По воскресеньям приходила с мужем и Адель Гюго, к которой вся эта молодая компания от-

носились с восторгом и почтением. Теодор Пави находил ее «приветливой и рассеянной». Кругом шли шумные беседы, а она о чем-то мечтала, и если вдруг вмешивалась в разговор, то всегда невпопад. Впрочем, говорила она редко,— она очень боялась грозного взгляда мужа и больше молчала. Ее мать, госпожа Фуше, умерла 6 октября 1827 года, а сестренку Жюли, которая была лишь на два года старше Дидины Гюго, отдали учиться в монастырский пансион.

Виктор Пави при первом своем посещении Гюго был поражен, что тот говорил с ним о живописи, а не о поэзии. Но ведь в эти годы поэзия для Гюго приближалась к живописи. Он приводил ватагу своих почитателей в «Мулен де Бер».

...под кровом темноты,
Когда гуляют ошалевшие коты,
Поэт глядел, как умирает светлый Феб...—

как спускается вечерний сумрак на сады Гренель, подмечал все краски и очертания вещей. На следующий день, наблюдая издали «архипелаг кровавых облаков», он читал своим ученикам, сидевшим вокруг него на траве, какое-нибудь стихотворение, вроде «Закатов».

Я вечера люблю; мне нравится закат,
Когда его лучи внезапно золотят
Усадьбы, скрытые листвою;

Когда вдали огнем объят густой туман,
Когда меж облаков небесный океан
Сверкает ясной синевой¹.

Нередко он читал им также стихи из «Восточных мотивов». Как ему пришла мысль нарисовать некий условный Восток? Это было тогда в моде. Греция боролась за свою свободу, Байрон умер за Грецию. Во всем мире люди либеральных взглядов были на ее стороне, к ним принадлежали и друзья Гюго — художники и поэты. Дельфина Гэ, Ламартин, Казимир Делавинь — все они писали стихи, прославлявшие Грецию. Но эти стихи были плоскими. Гюго, обладавший драматическим чутьем, пытался создать в «Восточных мотивах» живые сцены. Он любил перезвон слов, ему нравилось, когда они отбивали в его стихах дьявольскую *zarateado*², перебрашивались неожиданными рифмами, чудесным образом со-

¹ Виктор Гюго. Закаты («Осенние листья»).— Перевод В. Иванова.

² Чечетка (исп.).

храня и число слогов, и ритм, и поразительную гармонию строфы. Декорацией ему служили солнечные закаты в садах Гренель. Из них он извлекал свое золото и огни. Его Восток находился на улице Нотр-Дам-де-Шан.

За мною по углам роится мгла густая,
А я задумчиво смотрю в окно, мечтая
О том, чтоб там, вдали, где горизонт померк,
Внезапно засиял восточный город алый
И красотой своей неожиданной, небывалой
Туманы разорвал, как яркий фейерверк¹.

Для живописных картин Востока у него было достаточно источников: Библия, читанная и перечитанная на улице Фельянтинок, советы ориенталиста Эрнеста Фуине (с этим чиновником, влюбленным в арабскую поэзию, он познакомился когда-то у Шарля Нодье), поэмы Байрона и, главное, — Испания, та, которую воспевали в «Романсеро», и та, что жила в его воспоминаниях. Ему хотелось, чтобы сборник «Восточные мотивы» был подобен какому-нибудь старинному и прекрасному испанскому городу, в котором высится большой готический собор, а «на другом конце города, среди смоковниц и пальм, — восточная мечеть с куполами из меди и олова... с арабской вязью стихов из Корана над каждой дверью, со сверкающими святилищами с мозаичным полом и мозаикой стен...»² Это была больше Гранада, чем Стамбул. Что за важность! Восточные эти мотивы или не очень восточные, но они были восхитительны. Поэт играючи возрождал в них прелестную строфику поэтов Плеяды:

Зара в прелести ленивой
Шаловливо
Раскачалась в гамаке
Над бассейном с влагой чистой,
Серебристой,
Взятой в горном ручейке.
С гамака склонясь к холодной
Глади водной,
Как над зеркалом живым,
Дева с тайным изумленьем
Отраженьем
Восхищается своим.

«Восточные мотивы» — это ряд прихотливых и неправдоподобных стихов, слегка окрашенных иронией,

¹ Виктор Гюго. Мечты («Восточные мотивы»). — Перевод Э. Линецкой.

² Виктор Гюго. Предисловие к «Восточным мотивам».

и вдруг в них поэт, позабыв, что он только играет, отдается в плен страстным грезам, и сквозь поверхностную истому экзотических слов поднимается искренняя, молодая чувственность, и купальщица Зара, раздвинув цветочные рамки slashавой гравюры, возникает прекрасной искусительницей, волнующей и автора, и читателя.

Выйдет Зара молодая,
Вся нагая,
Грудь ладонями прикрыв¹.

И может быть, самая прекрасная из этих песен была та, которую Гюго создал, оторвавшись и от Востока, и от Запада, и от времени, и от пространства, и назвал ее «Экстаз».

Раз ночью один я стоял на просторе:
Ни облачка в небе, ни паруса в море!
И взор мой тонул за пределом земным.
И горы и лес — вся природа, казалось,
За мною с вопросом одним обращалась
К сияющим звездам и к волнам морским.
И звезд золотых легион бесконечный
То тихо, то громко, в гармонии вечной,
Твердил, свой блестящий склоняя венец,
И синие волны грядой набегаю,
Твердили, свой пенистый гребень склоняя:
Все Он — всемогущий Творец!²

Здесь уже рождается поэт, написавший «Созерцания», способный, как Бетховен, поднять нас к высоким мыслям и чувствам, повторяющимся переливами дивных аккордов.

«Восточные мотивы» Гюго «привели к единству романтиков». Молодые писатели упивались ими: «Виктор всегда пишет чудесные стихи с непостижимой быстротой... и время от времени бросает нам «Восточные мотивы», как камень в муравейник». Виктор Пави восхищался и просил пощады: «Виктор читал нам «Восточные мотивы», неслыханные, совершенно неслыханные... И ни одного слабого стиха! Совсем убил нас...» Художники и скульпторы восхваляли поэта за то, что он своими стихами давал им сюжеты, краски, и за то, что он горячо защищал творческую свободу художника. Романтиков умеренного толка, группировавшихся вокруг

¹ Виктор Гюго. Купальщица Зара («Восточные мотивы»).— Перевод Е. Полонской.

² Виктор Гюго. Экстаз («Восточные мотивы»).— Перевод И. Тхоржевского.

журнала «Глобус», завербовал Сент-Бёва, которому Гюго, справедливо считавший его драгоценным союзником, расточал похвалы:

Дай руку мне, поэт, — с моей соедини!
И лиру подними, и крылья распахни...
Взойди, взойди, звезда!

Классицисты либеральных взглядов, такие, как Дюбуа, тоже склонялись перед этой молодой силой, которая после многих версификаторских стихов теперь пробуждала мысль. Эти люди, оппозиционно настроенные, были признательны Гюго за то, что он, обладатель призов и премий, поэт, получающий пособие от короля, осмелился провозгласить себя сторонником Греции, на что косо смотрели при дворе, и даже говорил с какой-то странной симпатией о Наполеоне: «И снова он! Повсюду он!» Как студенческая молодежь, он «трепетал при этом гигантском имени».

Ты ангел или черт — теперь не все равно ли?
Весь мир ты подчинил своей железной воле,
Все взоры приковал орлиный твой полет.
Ты над землей паришь, как царственная птица,
Повсюду тень твоих гигантских крыл ложится,
Над веком образ твой встает¹.

Сердиться могли только чистокровные роялисты, бывшие сотрудники «Французской Музы», но в свое время Гюго давал им столько свидетельств дружбы, что они терпели. Однако у «добрého Нодье» отношение к Гюго стало не таким уж добрым. Со времени собраний в Арсенале Нодье привык править литературным движением, а возвышение Гюго, провозглашенного властителем дум молодежи, лишало его власти. Он напечатал враждебную «Восточным мотивам» статью под заголовком «Байрон и Мур». Современные французские поэты, говорилось в этой статье, не создали ничего хоть сколько-нибудь приближающегося к дивным творениям двух английских гениев: «Есть люди, воображающие, что большие таланты формируются в общении с себе подобными, что врожденное дарование со всеми его богатствами развивается среди учтивых разговоров и не нуждается ни в каких побуждениях к своему росту, кроме желанья стать знаменитостью, соревноваться с другими в славе...» Это была сатира на августейший двор

¹ Виктор Гюго. Экстаз («Восточные мотивы»). — Перевод И. Шафаренко.

Виктора Гюго, в квартале Вожирар. Гюго, при его обидчивости, очень огорчила измена бывшего соратника, свидетеля его первых успехов.

Виктор Гюго — Шарлю Нодье:

«И вы тоже, Шарль! Как я жалею, что прочел вчерашний номер «Ла Котидьен». Ведь это одно из самых жестоких потрясенных в жизни, когда из сердца твоего с корнем вырывают старую и глубокую дружбу...» Нодье сразу сдался: «В вас вся моя литературная жизнь. Если когда-нибудь обо мне вспомнят, то лишь потому, что вы этого пожелаете...»

Осколки своей дружбы они как-то склеили, но в ней уже не было прежнего чувства непоколебимого и светлого доверия.

Добряк Эмиль Дешан, который никогда не знал зависти, оставался нежным другом и завсегдатаем в доме Гюго на улице Нотр-Дам-де-Шан. «Я люблю вас и все больше восхищаюсь вами», — писал он после каждого своего посещения.

Эмиль Дешан — Виктору Гюго:

Дорогой Виктор, я был так преисполнен сожалений, расставаясь с вашим домом, что позабыл у вас свой зонт. Пришлите мне, пожалуйста, зонт, а сожаления пусть остаются у вас. Зонт стоял в углу столовой, возле двери в гостиную; сожаления были повсюду, где мы не находили вас. Ваша милая супруга, думается мне, вчера превзошла самое себя в любезности и радушии. Она показала нам весь ваш дворец и весь сад. Апартаменты у вас превосходные, а музей — просто чудо. Где еще найдешь столько прекрасных картин!..

Эмиль Дешан — Виктору Гюго, 13 октября 1828 года:

В ближайшую субботу, 18 октября, вы непременно должны прийти на улицу Виль-л'Эвек, в дом № 10 (бис), пообедать у нас вместе с Ламартином и Альфредом. Это решено. Мне совершенно необходимо посоветоваться с вами о моей поэме «Родриго», которую я вскоре буду читать. Вы простите меня, правда? Могу же я смотреть на вас как на *самонужнейшего* друга моего?.. Ламартин не был знаком с вашим замечательным предисловием к «Кромвелю», я ему дал его; и теперь Ламартин просто от него без ума и ничего другого, написанного прозой, больше читать не хочет. Как поживает госпожа Гюго? Сообщите, как ее здоровье, — соответственно этому и мы себя будем чувствовать... Черкните, пожалуйста, ответ, — одно краткое утверждение из двух букв...

Эмиль Дешан просил, чтобы родители привели с собой и Дидину:

Нам холодно, и в супе льдины —
Обед невкусен без Дидины,
Без ангелочка, без ундины...

С Дешаном супруги Гюго веселились от всего сердца. Его беспредельное восхищение ими обоими заставляло их прощать его ужасные каламбуры: «Ковыля-

ет, как нотариус на деревянной ноге...» Как не простить любых неуклюжих острот человеку, который написал 31 декабря 1828 года: «Поздравляя с Новым годом, шлю пожелания: помилосердствуйте, не будьте в 1829 году еще гениальнее, чем в 1828 году, и еще счастливее близ своей супруги...»

Альфред де Виньи, по видимости, остался верным другом. В феврале 1825 года он женился в По на англичанке, приехавшей из Индии, мисс Лидии Бенбери, которую он считал очень богатой. Виньи любил всех англичанок вкупе,— «белокурые создания Оссиана» умиляли его. «Если б вы знали, как поэтична эта нация!» Сообщая Виктору Гюго о своей женитьбе, он писал: «Наших жен свяжет взаимная любовь, как нас с вами, мы четверо составим единое целое... Я обещал жене, что ваша милая Адель будет ей другом... Мы хотим жить так же, как вы, и возле вас, насколько то будет для нас возможно...» Лидия оказалась более сдержанной. Если англичане были поэтической нацией, то мисс Бенбери, очевидно, представляла собою исключение. Она была холодна, надменна, часто хворала, так как «подвержена была несчастным случайностям материнства», а между двумя выкидышами предпочитала возить Альфреда де Виньи к герцогине де ла Тремуай, к княгине де Линь, к герцогине де Майе, а не на улицу Нотр-Дам-де-Шан.

Однако два поэта оставались союзниками и обменивались похвалами — пищей, необходимой для того, чтобы выжила дружба. Гюго дарил Виньи свои новые книги: «Мне нужно дать вам «Восточные мотивы» и «Последний день приговоренного». Мне нужно, чтобы вы не сердились на меня; мне нужно, чтобы вы не говорили: «Виктор пренебрегает мной»,— ведь я восхищаюсь вами и люблю вас, как никто еще не восхищался и не любил...» Альфред де Виньи хвалил «все эти благоволия Востока, собранные в золотом ларце», выражал желание расцеловать Виктора Гюго в обе щеки: «...в правую — за Восток, в левую — за Запад, ибо ваша голова — это целый мир... Я завоевал вас, я вас полонил уже давно, дорогой друг, и не расстанусь с вами; вы со мною целые дни, с утра до ночи, а утром я снова завладеваю вами. Я иду от вас к вам, сверху вниз и снизу вверх, от «Восточных мотивов» к «Приговоренному», от Городской ратуши к Вавилонской башне. И повсюду вижу вас, всегда — вас, всегда блещут ваши краски,

всегда поражают глубокие чувства, выраженные правдиво и образно, всегда и везде поэзия...».

Вот она, святая вода Сенакля. Но в своем заветном «Дневнике» Альфред де Виньи осуждал старого друга.

23 мая 1829 года у него записано:

«Видел Виктора Гюго; с ним был Сент-Бёв, маленький, довольно безобразный человек; лицо самое заурядное, спина больше чем сутулая; разговоривая, делает заискивающие и почтительные гримасы, словно угодливая старуха... В области политической этот умный молодой человек господствует над Виктором Гюго и своим поведением, настойчивым воздействием привел к тому, что он совсем изменил свои взгляды... Недавно он мне заявил, что, по зрелом размышлении, решил покинуть правый лагерь... Того Виктора, которого я любил, больше нет. Он был несколько фанатичен в своем благочестии и роялизме, целомудрен, как девушка, был также немного дичком; все это очень ему шло; мы его любили таким. Теперь ему нравятся вольные шуточки, и он становится либералом: это ему не идет. Но что поделать. Он начал с настроенности, более подобающей зрелым годам, а вот теперь как будто вступает в пору молодости и ищет в жизни то, о чем писал, меж тем как надо сперва пережить, а потом писать...»

«Последний день приговоренного к смерти», который Виньи похвалил, представлял собою короткую повесть, произведение, глубоко волнующее, которое Гюго опубликовал без своей подписи через месяц после «Восточных мотивов», выдавая эту повесть за найденные в тюрьме записки человека, приговоренного к гильотине, написанные им в последние часы перед казнью; Гюго уже давно испытывал болезненный интерес к проблеме смертной казни. В Италии и в Испании он видел в детстве трупы казненных; на Гревской площади в Париже он отводил взгляд от страшной машины. Намереваясь писать книгу, он собрал основательную документацию, ходил в Бисетр, присутствовал при том, как заковывают в кандалы осужденных, как их отправляют на торгу. Сильное воображение учит состраданию. Гюго искренне хотел содействовать отмене смертной казни, считая эту кару более жестокой, чем полезной для общества, быть может, он надеялся также, что, поместив «Последний день» рядом с «Восточными мотивами», он своим первым опытом постановки в литературе социальных проблем успокоит тех, кто корил его за дерзкую виртуозность. «Он хорошо рассчитал», — с презрительным высокомерием говорил Виньи. Но это несправедливое мнение: Гюго больше чувствовал, чем рассчитывал.

В одном отношении, однако, Виньи судил верно. Как и многие люди, чья юность была строгой, Гюго в

двадцать семь лет начал «жить»; он испытывал еще неутоленную жажду счастья и наслаждения своими успехами. «Не найти во всей Европе принца, короля или полководца, более достойного зависти или более счастливого, чем поэт, создавший «Восточные мотивы»...» — писал Жюль Жанен, и он же говорил: «Не знаю ни одного человека на свете, кто хоть когда-нибудь смеялся бы таким заразительным смехом, как Виктор Гюго, которого привел в хорошее расположение духа успех «Восточных мотивов»...» Возможно, впрочем, что он переживал тогда душевный разлад. Нельзя безболезненно перейти из одного лагеря в другой, а кроме того, молодой муж подвергался искушениям в обществе художников и их натурщиц. Мораль квартала Вожирар была не та, что царила на улице Шерш-Миди.

Адель, почти всегда беременная или кормящая ребенка, очень усталая, далеко не разделяла пламя чувственности, обуревавшей этого «пьяного сборщика винограда». Быть может, он невольно думал о других женщинах. Он стал было ухаживать за Жюли Дювидаль де Монферье, но энергичное вмешательство ее брата, кавалерийского офицера, прекратило роман. А тут Абель Гюго сделал ей предложение и в декабре 1827 года женился на этой бывшей учительнице рисования. Братья Гюго влюблялись всем семейством. Виктор легко утешился и написал эпитахаму:

Ты должна быть нашей, так судьба решила,
И ничто твоей участи изменить не могло.

Вскоре после этой свадьбы — 28 января 1828 года — с генералом Гюго случился апоплексический удар, «сразивший его с быстротою пули», в доме Абеля — он умер сразу.

Виктор Гюго — Виктору Пави, 29 февраля 1828 года:

«Я потерял человека, любившего меня больше всех на свете, человека благородного и доброго, для которого я был и предметом гордости и большой любви!»

Но в том же году, 21 октября, на улице Нотр-Дам-де-Шан у супругов Гюго родился второй сын и вновь дом казался счастливым.

Счастье, полнота жизни, веселость — эти слова употребляли все, кто описывал, каким был Виктор Гюго, приближаясь к тридцати годам. Порой его мучили сомнения в связи с его новыми политическими и религиозными взглядами, сменившими прежние, юношеские убеждения. «Мы носим в сердце истлевший труп Рели-

гии, жившей в наших отцах», но уверенность брала верх над сомнениями. Уверенность в своей физической силе. Ни малейшего следа не осталось от хрупкости, отличавшей его в детстве. «Волчьи зубы, зубы, разгрызавшие косточки персиков». Сила крупного хищного зверя. В стихах, написанных около 1829 года, заметно, что в крови его пробуждается отцовская чувственность. Целомудренный поэт, автор «Од» позволяет себе в разговорах нескромные шутки. В сборнике «Восточные мотивы» рядом с музой, воодушевлявшей «Первые вздохи», блистала «ослепительная Пери, которая все краше с каждым днем». У сильных желание увеличивает силу.

Затем была уверенность в житейских успехах. Он снимал красивый особняк с большим садом. Своей работой он на все добывал средства. За первое издание «Восточных мотивов», выпущенное Босанжем, он получил три тысячи шестьсот франков, от Гослена, другого издателя, — семь тысяч двести франков за изданные в формате in-folio «Восточные мотивы», «Бюг-Жаргаль», «Последний день приговоренного к смерти» и за роман, который еще не был написан, — «Собор Парижской Богоматери». Юность свою он прожил в нужде и теперь особенно ценил достаток, ибо, по его мнению, только достаток обеспечивает писателю независимость. Он сказал Фонтане: «Я хочу зарабатывать и тратить пятнадцать тысяч франков в год». Чисто бальзаковское желание, но Бальзак увязал в долгах, а Гюго ужасно боялся долгов; он каждый вечер подсчитывал свои расходы, записывал каждый сантим и требовал того же от своей жены, которую считал мотовкой.

И наконец, уверенность в своей славе. С 1829 года он был в глазах молодежи неоспоримый мэтр. «Виктор Гюго был тем вожаком, — говорит Бодлер, — к которому каждый поворачивается, чтобы спросить, каков приказ. Никогда ничье господство не было более законным, более естественным, принималось бы с большим восторгом и признательностью, больше подтверждалась бы невозможность восстать против него...» У него были враги. Успех всегда их порождает — надо обладать величием души, чтобы переносить чужую славу. У Гюго даже были искренние и бескорыстные противники. Стендаль и Мериме считали его скучным; эти вольнодумцы не верили в поэта — добропорядочного отца семейства; Мюссе пародировал его, впрочем, без всякой злобы. Но что все это для него? Он знал, что является

главой новой школы и поборником свободы литературного творчества. Новое поколение писателей собирается у него в доме на улице Нотр-Дам-де-Шан. Ящик его письменного стола полон набросков и всяких планов.

Носит в сердце с давних пор
Нотр-Дам Виктор,
А теперь влезает сам
в Нотр-Дам.

Тетрадь «Драмы, которые я должен написать» содержала планы его театральных пьес, один из этих замыслов он вскоре осуществил, некоторые пьесы уже раньше были им написаны: «Марион Делорм», «Близнецы», «Лукреция Борджа»; другие же остались неосуществленными: «Людовик XI», «Смерть герцога Энгенского», «Нерон». Внизу одной страницы, исписанной заглавиями его будущих произведений, стояло следующее примечание: «Когда все это сделаю, посмотрим дальше». Такая творческая сила порождает чудесную веру в себя. Предисловие к «Восточным мотивам», написанное в 1829 году, носит воинственный характер: «Искусство не желает, чтобы его водили на помочах, надевали на него кандалы, затыкали ему рот кляпом; оно говорит: «Иди!» — и выпускает вас в большой сад поэзии, где нет запретных плодов...» Автор знает, что кое-кто «обвиняет его в самомнении, заносчивости, гордыне, и не знаю уж в чем еще, что его изображают кем-то вроде Людовика XIV в молодости, который при обсуждении в государственном совете самых серьезных дел являлся туда в охотничьих сапогах со шпорами и с хлыстом в руке. Однако автор осмеливается утверждать, что те, кто видит его таким, глубоко заблуждаются...»¹

Да, это верно. В нем больше императорского, чем королевского. Как молодой Бонапарт, он властвует не по праву рождения, не по божественному праву, но по праву победителя и по праву гения, и он, ликуя, кричит с гордым видом: «Будущее, будущее, будущее — принадлежит мне!» Но вскоре он сам ответит: «Нет, государь, будущее никому не принадлежит»; и он нарисует нам орла под вечным небосводом, «когда ему внезапный вихрь могучие крыла сломал»; вскоре и сам он рухнет в бездну моральных страданий, но в страданиях познает те мрачные муки сердца, которые должен был испытать, чтобы стать самым большим французским поэтом.

¹ Виктор Гюго. Предисловие к «Восточным мотивам».

Ведь романтизм, что бы о нем ни говорилось в предисловии к «Кромвелю», не был ни смесью трагического и гротескного, ни обновлением языка, ни свободным членением стиха цезурой — это было нечто иное, куда более глубокое. В нем отразился самый дух века, тоска, недовольство, конфликт между человеком и миром, неведомый классикам. «Чувство неудовлетворенности жизнью, удивительно, невероятно пустой, если оставаться в плену ее границ; странное смятение души, никогда не знающей покоя, то ликующей, то стенающей...», сердце, полное отвращения к самому себе и освобождающееся от него лишь в те мгновения, когда человек наслаждается «собственным своим несчастьем, видя в этом вызов судьбе», — вот что принесли Гете и Байрон после Руссо; вот чего искала в канун тридцатых годов вся французская молодежь, повергнутая в меланхолию, так как она внезапно лишилась славы; вот что Гюго, которому жилось чересчур счастливо в квартале Вожирар, Гюго, автор «Восточных мотивов», еще не мог ей принести.

Но только Гюго мог это сделать. Ни один поэт, даже Ламартин, даже Виньи, не был тогда способен поставить на службу своему времени такое мастерство, такое богатство языка и ритмов. И лишь немногого недоставало, чтобы гений Гюго достиг зрелости, — недоставало ему тревоги, сомнений, грусти, которые сблизили бы его с этой эпохой. Но как далек он был от мысли, что творчество его станет глубже из-за тех страданий, которые причинят ему молчаливая молодая женщина, подруга его жизни, и рыжеволосый некрасивый друг, говоривший столько тонких и полезных вещей о его творениях. Когда он считал себя в полной безопасности и наслаждался своими триумфами, в действительности его подстерегала катастрофа. Но следовало показать, каким он был в эти краткие годы безоблачного счастья — властным мужем, идиллическим отцом семейства, учителем, за которым шел живописный кортеж его учеников, художником, который любовался на огромный город, дремавший у подножия холмов в прелестной дымке, цепеневшей за его башни, поэтом, изливавшим

И весь пламень, и дивную свежесть в тот миг
На страницах признаньем увенчанных книг.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

РАННЯЯ ОСЕНЬ

Глава первая

ВЕРНЫЙ АХАТ

Кто бы на земле не был достоин жалости, будь нам известно все о всех.

Сент-Бёв

Альфред де Виньи в своем тайном «Дневнике» очень неблагоприятно разбирает отношения, сложившиеся между Гюго и Сент-Бёвом. Последний, говорил Виньи, «стал сеидом Виктора Гюго и через него вошел в поэзию; но Виктор Гюго, который, с тех пор как он существует на свете, проводит свою жизнь в том, что переходит от одного человека к другому, чтобы от каждого поживиться, получил от Сент-Бёва множество познаний, каких сам не имел; и, хоть он говорит тоном учителя, на самом деле он ученик Сент-Бёва...». Конечно, Гюго многому научился от Сент-Бёва, но кто же будет таким глупцом, что не усвоит то хорошее, что ему привелось узнать; да, впрочем, и влияние-то было взаимным. Каждый обладал тем, чего недоставало другому. Гюго, в совершенстве владевший музыкой языка, недостаточно обращал внимания на внутреннюю жизнь человека; Сент-Бёв, поэт по своей чувствительности, грешил в поэзии неуклюжестью и вялостью формы.

«Дело в том,— пишет Анри Бремон,— что сама его душа какая-то неуклюжая, смутная, бессильная и связанная; утонченная и вместе с тем низкая. Рядом со своими приятелями из Сенакля он всегда тревожится, смущается, как гость, опоздавший на званый обед. По уму и таланту он чувствует себя их ровней, но он безумно восторгается их мужественностью, и притом почти без зависти, настолько его подавляет, ослепляет эта яркая, пленительная, глубоко здоровая сила... Керу-

бино, скорее бледный, чем румяный, морщинистый, как старик, и не замечающий, что он грызет себе ногти; школьник, который начитался романа Лакло и хотел бы, но не смеет и не умеет все это пережить; наивный мальчик, церковный служка, проливающий слезы, укрываясь за алтарем; то ангел, то зверь, но отнюдь не человек...»

Надо пожалеть этого угрюмого юношу, отличавшегося усердием к наукам и тонким умом, страдавшего тайным уродством (гипоспадией), что еще увеличивало его робость,— юношу, которого его душевное изящество предназначало для самой благородной любви, и вынужденного довольствоваться продажными женщинами, площадной Венерой. «Вы не знаете,— сказал он однажды с мрачной грустью,— не знаете вы, каково это — чувствовать, что никто тебя никогда не полюбит, а почему — признаться невозможно...» То, что он обрел в доме Гюго, ему казалось просто чудом. Ведь он нашел там все, чего у него не было: семейный очаг, друзей, детишек, которых он любил.

Сент-Бёв — Виктору Гюго, 11 октября 1829 года:

«Тот малый талант, которым я обладаю, развился у меня благодаря вашему примеру и вашим советам, принимавшим обличье похвал; я работал потому, что видел, как вы работаете, и потому, что вы считали меня способным работать; но собственное мое богатство так мало, что своим дарованием я всецело обязан вам, и после более или менее долгого пути оно вливается в ваши воды, как ручей вливается в реку или в море; вдохновение приходит ко мне лишь подле вас, от вас и от всего, что вас окружает. Да и вся моя домашняя жизнь пока еще протекает у вас. Я бываю счастлив и чувствую себя уютно только на вашем диване или у вашего камелька».

Все это совсем не походит на речи человека, которого «обирают».

Он изобразил себя и свои страдания в книге, которую выпустил без имени автора, дав ей заглавие: «Жизнь, мысли и стихи Жозефа Делорма». Жозеф Делорм мечтал стать великим поэтом, но вдохновение бежало его: «Какие горькие муки он испытывал при каждом новом триумфе своих молодых современников!» У Жозефа Делорма не было ни учителя, ни друзей, ни религии; «Его душа являла собою непостижимый хаос, где в бездне отчаяния переплетались чудовищные игры воображения, чистые образы, преступные мечты, великие неудавшиеся замыслы, мудрое предвиде-

ние, и вслед за ним безумные побуждения, порывы благочестия и кощунственные чувства». Он называл себя чистым, «больным и терзаемым мыслью, что он не извдал любви».

В конце 1828 года Сент-Бёв передал Гюго «эти мерзкие страницы» и спросил у него, не будет ли чересчур неприличным и смешным опубликовать такую «обнаженность души». Гюго ответил коротким письмом, горячо выразив в нем «волнение, которым потрясли меня ваши строгие и прекрасные стихи, ваша мужественная, простая и меланхолическая проза и образ Жозефа Делорма, ведь он — это вы сами... Это короткая и суровая история молодой жизни, ее анализ, искусное анатомирование, обнажающее душу,— право, я чуть не плакал, читая все это...». Бедняга Сент-Бёв был счастлив, на мгновение он вообразил себя великим поэтом. В январе 1829 года появились «Восточные мотивы», в марте того же года — «Жозеф Делорм». «Восточные мотивы» наделали больше шуму, но их трудолюбивый автор глубоко обдумал урок, который дал ему «Жозеф Делорм», и вынес из него мысль, что возможна поэзия интимная, глубоко личная.

Успехи друга внушали тогда Сент-Бёву больше смирения, чем зависти. В своих статьях он выступал как поборник того течения в романтизме, которое возглавлял Гюго, и горячностью тона восполнял слабость убежденности. Ведь он никогда не был подлинным романтиком. Жозеф Делорм был одним из отражений автора, порожденным образом Вертера, но, покопавшись поглубже, можно было обнаружить в Сент-Бёве скептика, смеявшегося над Жозефом Делормом. Только он любил все понимать, и его очень смущало, что можно иметь столько воображения, такую красочность и силу выразительности, как у Виктора Гюго. Когда он отобрал материал для своей «Картины французской поэзии XVI века», он подарил Виктору Гюго великолепный том избранных стихов Ронсара, из которого были взяты выдержки, и сделал на нем такую надпись: «Величайшему со времен Ронсара лирику французской поэзии от скромного комментатора Ронсара — Сент-Бёва». Виктор и Адель положили это прекрасное издание в белом веленовом переплете «с гербами» на стол в гостиной, украшенной Золотой лилей, полученной на литературном конкурсе, и мало-помалу друзья — Ламартин, Виньи, Гуттенгер, Дюма-

отец — обогатили его своими автографами. Да и сам Сент-Бёв мелким, бисерным почерком написал там сонет, не лишенный тонкости и изящества:

Да, друг мой, гений ваш поистине велик,
И ваша мысль сильна, как мощный глас пророка;
Все преклоняемся мы перед ней глубоко,
Как бурей согнутый, склоняется тростник.

Но вы к нам так добры, как будто каждый миг
Бойтесь чем-нибудь поранить нас жестоко,
И дружески следит внимательное око,
Чтоб для обид у нас и повод не возник.

Так воин, весь в броне, суровый, медноликий,
Увидев малыша, зашедшегося в крике,
Его сажает в свой пробитый, старый шлем.

Столь бережно подняв рукою загрубелой,
Что не сравниться с ним кормилице умелой
Иль нежной матери, заботливой ко всем¹.

Право, кажется, что эта чувствительная душа, трепещущая, подобно листве серебристого тополя, при малейшем ветерке, расцвела тогда в тепле внимательной и снисходительной мужской дружбы. Впервые в своей жизни Сент-Бёв, благодаря близости с супругами Гюго, вошел в содружество людей и уверовал, что теперь он спасен от одиночества и томительных размышлений о самом себе.

Глава вторая ДОРОГУ ТЕАТРУ

На «Эрнани» я надевал не красный жилет, а розовый камзол. Это очень важно.

Теофиль Готье

Тысяча восемьсот двадцать девятый год был для Виктора Гюго, всегда большого труженика, одним из наиболее плодотворных. Он начал «Собор Парижской Богоматери», написал много стихов, а главное, решил завоевать театр. «Кромвель» не был поставлен на сцене, но кружок романтиков справедливо полагал, что теперь публика требует нечто иное, чем псевдоклассические трагедии. Что Корнель и даже Расин были великими драматургами — это отрицали только фанатики. Но

¹ Перевод И. Шафаренко.

их гений слишком уж подчинялся условностям: три единства, сюжеты античные или восточные, сны или «узнавание», благородный язык — словом, все те правила, которые в XVIII веке, в руках менее могучих, породили скучные и однообразные пьесы. «Полагалось,— говорил Альфред де Виньи,— изображать в прихожих, которые никуда не вели, персонажей, которые никуда не шли, говорили о немногих вещах, выражали неопределенные мысли, изъяснялись туманными притчами, слегка были волнуемы вялыми чувствами, безмятежными страстями и кончали на сцене изящной смертью или фальшивым вздохом. О, ненужная фантазмагория! Тени людей и тень природы! Пустопорожнее царство!..»

Убегая от скуки таких «бесчувственных» пьес, публика стала увлекаться мелодрамой. Пиксерекур, этот Шекспир бульварных театров, дал ее рецепт: герой, героиня, предатель, шут, и задолго до предисловия к «Кромвелю» уже соединял гротескное и трагическое. Сам великий Тальма говорил Ламартину: «Не пишите больше трагедии, пишите драму» — и просил Дюма: «Поторопитесь, постарайтесь написать еще в мое время».

В 1822 году директор театра Жан-Гуссен Мерль, человек предприимчивый, выписал труппу английских актеров, чтобы играть Шекспира, и натолкнулся на яростное сопротивление либералов. Людовик XVIII слыл сторонником Англии, этого оказалось достаточным для того, чтобы «Макбета» освистали. На афишах Мерля весьма неловко возвещалось: «„Отелло“, трагедия знаменитого Шекспира, в исполнении верноподданных его величества короля Великобритании». Партер кричал: «Прочь чужестранцев! Долой Шекспира! Это пособник Веллингтона!» Мерль капитулировал, и только в 1828 году в Париже снова увидели английскую труппу. К тому времени атмосфера изменилась, а труппа пришла превосходная: Кин, Кембл и очаровательная Гарриет Смитсон. Успех был так велик, что не одному писателю захотелось переложить Шекспира стихами на французский язык. Эмиль Дешан и Виньи совместно переложили «Ромео и Джульетту», а Виньи после постановки «Отелло» принялся за «Венецианского мавра», несомненно прибегая в переводе к помощи своей жены, англичанки.

Гюго еще в 1822 году извлек из романа Вальтера Скотта «Кенилворт» пьесу «Эми Робсар». Он держал

эту пьесу в ящике стола, потом переделал ее, но сам не верил в ее достоинства. Когда наконец в 1828 году ему удалось поставить ее в Одеоне, он решился на эту авантюру лишь под именем своего шурина Поля Фуше, хотя тому только что исполнилось тогда семнадцать лет и он не проявлял никакого восторга перед такой затеей. В январе 1828 года он писал Виктору Гюго: «Через несколько дней дадут злосчастную «Эми Робсар», и для меня из этого дела получится только то, что я прослышу «подставным лицом и заместителем». Не везет некоторым людям...» Пьесу публика встретила чрезвычайно плохо, и Гюго благоразумно отрекся от нее.

Виктор Гюго — Виктору Пави, 29 февраля 1828 года:

«Вы знаете о маленькой беде, случившейся с Полем. Это очень маленькое несчастье... В подобных обстоятельствах мне следовало бы его выручить. Ведь я-то и принес ему несчастье. Клика интриганов, освиставшая «Эми Робсар», полагала, что отраженно она освистывает и «Кромвеля». Впрочем, не стоит и говорить об этих жалких и обычных кознях...»

Пожалуй, лучше было бы вообще не заговаривать об этом.

Гюго решил выступить под своим именем и написал пьесу на другой сюжет: «Марион Делорм» (первоначальное заглавие — «Дуэль при кардинале Ришелье»). Действие в пьесе происходит во времена Людовика XIII. Это довольно банальная история о куртизанке, которой возвращает чистоту ее любовь к целомудренному и строгому юноше. Герой пьесы — сумрачный красавец Дидье, роковое существо для самого себя и для других, преследуем властью, что внушало сочувствие к нему со стороны автора, в душе которого запечатлелась драма Лагори. Принимаясь за пьесу, Гюго прочел много памфлетов, мемуаров, исторических материалов о времени Ришелье; в романе «Сен-Мар» Альфред де Виньи нарисовал романтический образ Ришелье — «человека в красной мантии»; Гюго верно уловил тон светского общества того времени; многие стихи были хороши. Словом, драма имела большие достоинства, отличалась твердой, четкой, «крепкой» композицией, как и все, что писал тогда Гюго.

Барон Тейлор (получивший дворянство в 1825 г.) попросил устроить чтение пьесы. Оно состоялось 10 июля 1829 года в «комнате с Золотой лилией» в присутствии всех друзей: Виньи, Дюма, Мюссе, Бальзака, Мериме, Сент-Бёва, обоих Дешанов, Вильмена и худож-

ников, завсегда в доме. «Виктор Гюго читал сам, и читал хорошо...— вспоминает Тюркети.— Надо было видеть его бледное и прекрасное лицо, а главное, пристальный, несколько растерянный взгляд его глаз, порою сверкавших, как молнии... Пьеса оказалась интересная, в ней было чем восхищаться, но в те времена просто восхититься считалось недостаточным. Полагалось восторгаться, подсакивать в экстазе, трепетать, полагалось восклицать, как мольеровская Филамента: «Ах, не могу больше! Ах, млею! Умираю от удовольствия!» Словом, слышались нечленораздельные возгласы, более или менее громкий восторженный шепот. Такова картина в целом, подробности ее не менее забавны. Маленький Сент-Бёв вертелся вокруг рослого Виктора. Знаменитый Александр Дюма, еще не состоявший в раскольниках, с беспредельным восторгом размахивал своими большущими руками. Помнится, что после чтения он даже схватил поэта и поднял его с геркулесовой силой. «Мы вознесем вас к славе!» — провозгласил он... Что касается Эмиля Дешана, он рукоплескал еще раньше, чем успевал услышать; щеголеватый, как всегда, он посматривал украдкой на присутствующих дам. Подали прохладительные напитки; мне запомнилось, как огромный Дюма с аппетитом поедал пирожные и бормотал с полным ртом: «Восхитительно! Восхитительно!» Забавная комедия, последовавшая за мрачной драмой, кончилась лишь в два часа ночи...»

Четырнадцатого июля Комеди-Франсез приняла пьесу без голосования. Через три дня де Виньи прочел своего «Венецианского мавра» перед теми же литераторами и перед большим числом светских людей. «Слуга все докладывал, — говорит Тюркети, — о графах да о баронах». У Гюго атмосфера была романтическая и семейная, у Виньи — романтическая и геральдическая.

Виньи — Сент-Бёву, 14 июля 1829 года:

«В пятницу, 17 июля, ровно в половине восьмого вечера, «Венецианский мавр» воспрянет к жизни и умрет на ваших глазах, друг мой. Если вы хотите пригласить на этот мрачный пир тень Жозефа Делорма, место ему оставлено, так же как и для Банко...»

Пьесу приняли столь же горячо, как и «Марион Делорм».

Всемогущая в те времена цензура разрешила «Мавра» к постановке, а «Марион» запретила. Министр виконт де Мартиньяк одобрил запрещение: он счел угрозой для монархии образ Людовика XIII, выве-

денный в драме. Виктор Гюго, полагая, что он не погрешил против истории, апеллировал по этому поводу к самому королю Карлу X и тотчас получил аудиенцию в замке Сен-Клу. В «Ревю де Пари», в статье, подписанной Луи Вероном, редактором журнала, сообщалось об этой встрече, в которой король выразил благосклонность к поэту, а тот говорил откровенно и почтительно; на самом же деле статью написал Сент-Бёв, и она была подсказана Виктором Гюго. Он описывал, как напомнил королю, что теперь многое изменилось со времен «Женитьбы Фигаро». При абсолютной монархии оппозиция, вынужденная молчать, пыталась заявить о себе в театре; при конституционном режиме, имеющем Хартию, пресса становится предохранительным клапаном. Король обещал, что он сам прочтет четвертый, «опасный» акт. Он действительно прочел этот акт и подтвердил запрещение. Но поскольку Гюго как писатель был другом королевского престола, его пожелали успокоить монаршими милостями и предложили ему новое пособие — в две тысячи франков ежегодно. Гюго отказался в письме, полном достоинства.

Виктор Гюго — графу де ла Бурдонне, министру внутренних дел, 14 августа 1829 года:

Соблаговолите, сударь, передать королю, что я умоляю его позволить мне остаться в том же положении, в каком застают меня его новые благодеяния. Как бы там ни было, мне вовсе не надо еще раз заверять вас, что ничего враждебного от меня не может исходить. Королю следует ждать от Виктора Гюго только доказательств верности, лояльности и преданности...

И тотчас же, с поразительной своей работоспособностью, граничившей почти с чудом, он принялся за другую драму — «Эрнани». Имя героя — Эрнани — взято из названия пограничного испанского городка, через который Гюго проезжал в 1811 году; по сюжету пьеса напоминала «Марион Делорм». Эпиграф состоял из немногих слов: «Тres рага упа» — «Трое мужчин на одну женщину»; один из них, молодой, пламенный и, как полагается, преследуемый властями человек, — Эрнани (подобие Дидье), второй — безжалостный старик Руй Гомес де Сильва, третий — император и король Карл V. Какими источниками пользовался автор, неизвестно. Несомненно, он обращался к «Романсеро», к Корнелию и к испанским трагедиям; развивая любовную тему, он, вероятно, почерпнул кое-что из своих писем к невесте. В «Эрнани» отражена и опоэтизирована драма,

пережитая им самим вместе с Аделью. Борьба двух юных влюбленных против роковой судьбы вызвала воспоминания о его собственном прошлом. Дядюшка Асселин, этот буржуа и деспот, некое подобие Карла V, своей фамильярностью с хорошенькой племянницей не раз вызывал у Виктора Гюго взрывы бурной ревности. Предложение умереть после единственной ночи любви сделал в юные годы своей невесте и сам Гюго. Избранная Гюго обстановка позволила ему выразить свою любовь к Испании. «Эрнани» нередко сравнивают с корнелевским «Сидом». Сравнение справедливое. Условности различны, но в обеих пьесах та же атмосфера героизма. Правда, у Гюго больше напыщенности, он «злоупотребляет зооморфическими метафорами» — лев, орел, тигр, голубка.

Пьеса была написана с невероятной быстротой. Начал ее Гюго 29 августа, закончил 25 сентября, прочел друзьям 30 сентября, а в Комеди-Франсез — 5 октября, и она была принята там без голосования. Цензура было воспротивилась, но все же дала разрешение, и прошел слух, что, желая вознаградить Гюго за обиду, нанесенную «Марион Делорм», театр поставит «Эрнани» раньше «Венецианского мавра». Альфред де Виньи вознегодовал. В кружке романтиков уже говорили о его ссоре с Гюго. Но Гюго напечатал в «Глобусе» письмо, исполненное чисто кастильского благородства: «Я прекрасно понял бы, если бы всегда, независимо от даты принятия пьесы театром, «Отелло» ставили раньше «Эрнани», но «Эрнани» раньше «Отелло»? Нет, никогда!..»

Что же произошло? Вероятно, актеры Комеди-Франсез, обиженные тем, что Виньи надменно третировал их на репетициях, сами предложили Гюго поставить «Эрнани» не в очередь. Но он знал, что его подстерегают, завидуют ему. Он написал Сент-Бёву: «Надо мной собрались черные тучи, вот-вот разразится ужасная гроза. Ненависть всей этой низкопробной журналистики так велика, что там уже не числят за мной никаких заслуг...» Действительно, «в разбойничьем вертеле газет» Жанен и Латуш уже точили оружие, которое должно было послужить и против «Отелло», и против «Эрнани». Этой общности Альфред де Виньи не желал признавать. Однако академик Вьенне одинаково порочил «двух этих молодых безумцев, которые своими дикими доктринами готовят для нас нелепую литерату-

ру». Гневливый классицист Вьенне приводил в качестве образца этого «авантюрного и разрушительного духа, все решительно ниспровергающего», три строки из «Венецианского мавра»:

Сейчас... во вторник утром... иль к обеду...
Во вторник вечером иль утром в среду
Приди ко мне, иль я к тебе приеду...

Трагедия «Отелло» была поставлена первой, но великой битве предстояло произойти на представлении «Эрнани».

Глава третья
ET NE NOS INDUCAS...¹

Терзали душу тернии желанья...
Сент-Бёв

Весь 1829 год Гюго работал с утра до вечера, а иногда с вечера до утра,— то он писал, то должен был бежать в театр или к издателям, то обстоятельно изучал старый Париж вокруг Собора Парижской Богоматери или складывал стихи, прохаживаясь по аллеям Люксембургского сада. Меж тем у Сент-Бёва уже создалась сладостная привычка приходить ежедневно, а то и два раза в день на улицу Нотр-Дам-де-Шан. Теперь он заставал дома лишь одну госпожу Гюго. Обычно она сидела в саду возле деревенского мостика, а рядом, на лужайке, резвились дети. В начале дружбы двух писателей Адель не играла заметной роли. Новое материнство и кормление грудью маленького Франсуа-Виктора привели ее, как и многих женщин, находящихся в таком физиологическом состоянии, к какой-то мечтательности. Сент-Бёв долго держался «самого неопределенного мнения» о госпоже Гюго, но выказывал ей «изысканное почтение». Беседуя с нею наедине, он заметил, что вдали от своего знаменитого супруга она понемногу переходит к душевным излияниям. У Сент-Бёва, любившего жить на краю чужого гнезда, была природная склонность к роли духовника. «Он рожден был для того, чтобы носить сутану,— говорит Теодор Пави,— и я помню, как он сказал однажды: „ В другое время я был бы монахом и очень хотел бы стать кардина-

¹ И не введи нас... (лат.).

лом...» Но этот аббат колебался между строгим монастырем траппистов и Телемской обителью. Впрочем, никто лучше самого Сент-Бёва в романе «Сладострастие» не проанализировал эту сторону его психологии:

Я любил узнавать интимные привычки, обычаи в семье, мелочи домашнего уклада; знакомство с жизнью каждого нового дома, в который я попадал, всегда было для меня приятным открытием; уже на пороге дома я испытывал некий толчок, мгновенно улавливал обстановку, с увлечением определял малейшие оттенки взаимоотношения людей. Но вместо того, чтобы направить по прямому пути свой природный дар и вовремя поставить для него цель, я пустил его по кривым тропинкам, изошрил его, но обратил в пустое или даже пагубное искусство и добрую часть своих дней и ночей проводил в том, что, крадучись, как вор, заглядывал в чужие сады и пытался попасть в гинекеи...

О, эти летние медлительные дни,
Как нескончаемы и как грустны они!
Вот полдень,— глыбою навис он надо мною,
И выдан головой я солнцу, пыли, зною.
Как жду я вечера! И вот уж к трем часам,
Чуть-чуть придя в себя, я отправляюсь к вам.
Супруга вашего нет дома; на лужайке
Резвится детвора,— и я иду к хозяйке.
Прекрасны, как всегда, вы в кресле, и кивком
Вы мне велите сесть; мы наконец вдвоём.
И льется разговор привольный и неспешный.
С вниманьем слушая рассказ мой безутешный
О горькой юности, прошедшей как во сне,
Доверьем платите вы за доверье мне...
Мы говорим о вас и о блаженной доле,
Что вам назначена была по высшей воле:
О малышах, чей смех ваш оглашает дом,
О муже, славою венчанном, обо всем,
Что счастьем вашу жизнь наполнило до края;
Однако же, дары судьбы перечисляя,
Вы завершаете с уныньем свой рассказ:
И скорбь туманит взор прекрасных черных глаз:
«Увы! Сколь взыскана я счастьем! Но не скрою,—
Не знаю почему, является порою
Внезапная тоска! И чем вокруг меня
Щедрей сияние безоблачного дня,
Чем беззаботнее живется мне на свете,
Чем ласковее муж, чем веселее дети,
Чем ветерок нежней, чем слаще запах роз,
Тем горше рвется грудь от подступивших слез!»¹

Почему же она плакала? Потому что все женщины любят поплакать; потому что приятно бывает, когда тебя жалуют; потому что брак с гениальным человеком иногда

¹ Сент-Бёв. Утешения.— Перевод М. Донского.

был для нее тягостным; потому что ее знаменитый супруг был могучим и ненасытным любовником; потому что она уже родила четверых детей, и она боялась иметь еще новых детей; потому что она чувствовала себя угнетенной. Сент-Бёв не позволял себе ни одного неосторожного слова, всячески восхвалял Гюго и вместе с тем говорил о своем единении с прекрасной собеседницей, ибо их сближает «братство скорбящих душ», и предоставлял ей право потихоньку «привести его к Господу Богу».

Позднее он писал Гортензии Алар: «В свое время я немножко интересовался христианской мифологией; все это улетучилось. Она была для меня чем-то вроде лебедя Леды — способом приблизиться к красавице и предаться с нею нежной любви...»

В 1829 году Сент-Бёв был еще далек от такого цинизма. Какие-то нити еще связывали его с верованиями детских лет, и ему нравилось, что его «вновь обращает к Господу» женщина, красота которой его волновала. Они говорили о Боге, о бессмертии, Сент-Бёв цитировал святого Августина и Жозефа Делорма: «Я очень хотел бы верить, Господи, я хочу; почему же я не могу?» Адель Гюго гордилась тем, что с ней так серьезно говорит человек, которого в Сенакле считали очень умным. У нее были свои дарования: она талантливо рисовала, недурно писала, а в жизни с властным эгоистом порой бывала несправедливо унижена. Сент-Бёв успокаивал ее уязвленную гордость. Время от времени эта добродетельная мать семейства почти бессознательно прибегала к легкому кокетству. Зимой, когда уже нельзя было посидеть в саду, она, случалось, принимала своего друга у себя в спальне. «Равнодушная к материальному миру», она забывала переодеться и оставалась в утреннем пеньюаре. Случалось также, что и по вечерам, когда Гюго не бывало дома, двое покинутых и одиноких сидели допоздна у погасшего камина. «О, эти минуты были самыми прекрасными, самыми светлыми в тогдашней моей жизни. По крайней мере за эти воспоминания мне не приходится краснеть...»¹

А когда Сент-Бёв путешествовал, он писал письма Виктору Гюго и наслаждался тогда счастьем, хорошо известным каждому влюбленному, — удовольствием послать через мужа весточку о себе его жене; «Все это отнесется к вам, дорогой Виктор, и к вашей супруге, кото-

¹ Сент-Бёв. Сладострастие.

рая неотделима от вас в моих мыслях; пожалуйста, передайте, что я о ней очень скучаю и что я напишу ей из Безансона...»

Сент-Бёв — Адели Гюго, 16 октября 1829 года.

Какая, право, сумасбродная мысль пришла мне расстаться без всякой цели с вашим гостеприимным домом, лишиться живительных, бодрящих бесед с Виктором и права посещать вашу семью два раза в день, причем один раз визит предназначался вам. Мне по-прежнему тоскливо, потому что в душе у меня пусто, у меня нет цели в жизни, нет стойкости, нет дела; жизнь моя открыта всем ветрам, и я, как ребенок, ищу вовне то, что может исходить лишь от меня самого; на свете есть только одно устойчивое, прочное — то, к чему я всегда стремлюсь в часы безумной тоски и неотвязных бредовых мыслей: это вы, это Виктор, ваша семья и ваш дом...

Адель взялась написать ответ, так как у Гюго болели глаза, но он помог ей составить письмо. Он несколько и не думал ревновать. Сент-Бёв был его собственным другом и совсем не соблазнительным мужчиной. Сам Сент-Бёв и Адель считали свои отношения вполне целомудренными, но, верно, уж все запутал дьявол в тот день, когда Адель постаралась, чтобы ее друг, придя в дом в три часа дня, увидел, как она причесывается:

Ты встала, волосы рассыпались волной.
«Останьтесь!» — молвил мне негромкий голос твой.
Под нежною рукой блаженно и лениво
Струились волосы, как под дождями нива,
Будатный гребня блеск, тяжелый черный шлем —
Младой богинею из эллинских поэм
Ты предо мной была иль нежной Дездемоной,
Иль амазонкою... Тобою ослепленный,
Навек я был пленен...¹

Опасная игра, даже для порядочной женщины, и, пожалуй, особенно для порядочной. «Волнение передается, смятение чувств заразительно. Каждый ее жест, каждое слово кажется милостью. Приходит мысль, что ее волосы, небрежно уложенные на голове, сегодня-завтра разовьются при малейшем вздохе и волной упадут тебе на лицо; сладострастный аромат исходит от нее, как от цветущего деревца, источающего благоухание...»²

Первого января 1830 года Сент-Бёв пришел на улицу Нотр-Дам-де-Шан, принес игрушек в подарок детям и прочитал своим друзьям предисловие к сборнику «Утешения». Оно было адресовано Виктору Гюго и посвяще-

¹ Сент-Бёв. Книга любви.— Перевод М. Ваксмахера.

² Сент-Бёв. Сладострастие.

но дружбе, являющейся союзом душ пред лицом Бога, ибо всякая иная дружба легковесна, обманчива и скоро иссякает. В этом послании к мужу многие фразы о чистых и благочестивых чувствах обращены были к жене. Два стихотворения, очень интимных по тону и довольно хороших, были посвящены Адели Гюго. Доверчивый человек не увидел в этом ничего опасного, а Сент-Бёв искренне думал: «„Утешения“ были временем моральной чистоты в моей жизни, шесть месяцев я вкушал небесное мимолетное блаженство...» Да, полгода длился этот красивый роман, который Сент-Бёв считал столь невинным, что сам над собой умилялся. Ах, если бы рядом с ним с самой юности, как рядом с его другом, была белоснежная красавица, никто не видел бы, как он «без цели и без мысли, не оборачиваясь и головой поникнув, из дома утром выходил» и брел у самых стен, «влача постыдно свой погубленный талант». И никто бы не видел, как вечерами он вместе с Мюссе шел в злачные места, в тщетных поисках забвения, пытаюсь, и зачастую неудачно, показать себя развратником (он не был в этом большим декой). Нет, никакой ценой он не мог избавиться от чувства горечи и грусти.

Первый день нового, 1830 года — увы! — ознаменовал конец небесного и мимолетного блаженства. В январе чета Гюго жила очень бурно. В Комеди-Франсез уже репетировали «Эрнани», и эти репетиции были долгой борьбой между автором и актерами. Конечно, исполнители ролей знали, что пьесу ждут как событие в литературной жизни; конечно, молодой и красивый драматург казался им необычайно пленительным, «блистающим гениальностью и лучами славы». Но всех актеров пугали непринужденность тона в его драме, буйство страстей и большое количество смертей на сцене. Всемогущая мадемуазель Марс, выказывая на репетициях добросовестность, каждый день старалась, однако, как-нибудь унижить поэта. Гюго, холодный, спокойный, вежливый, суровый, наблюдал за раздраженными выходками богини. Он сдерживал нараставший в душе гнев. Однажды чаша переполнилась, и он попросил мадемуазель Марс вернуть роль доньи Соль. «Сударыня,— сказал он,— вы женщина большого таланта, но есть обстоятельство, о котором вы, по-видимому, не подозреваете, и я считаю необходимым о нем уведомить вас: дело в том, что я тоже человек большого таланта, помните это и соответствующим образом держите себя со мной». В достоинстве

молодого писателя было нечто воинственное и внушительное. Мадемуазель Марс покорилась.

Виктор Гюго, поглощенный театральными репетициями, совсем не бывал дома. Он писал друзьям: «Вы знаете, что я обременен, подавлен, перегружен, задыхаюсь. Комеди-Франсез, «Эрнани», репетиции, закулисное соперничество, актеры, актрисы, подвохи газет и полиции, а тут еще мои личные дела, по-прежнему весьма запутанные: вопрос с отцовским наследством все еще не улажен... наших песков в Солони уже полтора года никак не могут продать; домá в Блуа мачеха оспаривает у нас... словом, ничего или почти что ничего нельзя собрать из остатков большого состояния, одни только судебные процессы и огорчения. Вот какова моя жизнь. Где уж тут всецело принадлежать своим друзьям, когда и себе-то самому не принадлежишь...»

Действительно, Гюго, который с гордостью выставял себя образцовым мужем и отцом, больше не принадлежал своей семье. Нужно было, чтоб драма «Эрнани» любой ценой имела успех, так как судебные тяжбы и хлопоты поглотили все сбережения супругов. Адель, у которой кошелек опустел, всей душой предалась этой спасительной битве, сражаясь рядом с мужем. Провал «Эми Робсар» показал им всю опасность театральные козней, и Гюго твердо решил захватить собственными своими войсками зрительный зал Комеди-Франсез в вечер первого представления. А войск у него было достаточно. Каждый начинающий художник питал честолюбивое стремление выступить на защиту самого крупного поэта Франции от рутинеров, проповедников классицизма. «Разве не было естественным противопоставить дряхлости — молодость, лысым черепам — пышные гривы волос, косности — энтузиазм, прошлому — будущее?» У Жерара де Нерваля, на которого возложили вербовку легионов, карманы полны были квадратиками красной бумаги, на которых стоял таинственный гриф: «Hierro». Это был клич альмогаваров: «Hierro despertat!» («Шпага, пробудись!»)

И теперь уж Сент-Бёв, являясь ежедневно в три часа дня с визитом к госпоже Гюго, неизменно находил ее в окружении растрепанных юношей, склонявшихся вместе с ней над планом зрительного зала. Женщины чтут полководцев, и Адель увлеклась сражением, тем более что от исхода битвы зависела слава ее супруга и материальное положение семьи. Ей было только двадцать пять

лет; понукаемая молодыми энтузиастами, она словно очнулась внезапно от обычной своей задумчивости. Разумеется, молодое воинство приветливо встречало «верного Ахата», соратника и учителя. «А-а, это вы, Сент-Бёв,— говорила Адель.— Здравствуйте, садитесь. А мы, видите, в какой горячке...» Сент-Бёва приводило в отчаяние, что ему больше не удастся побыть с нею наедине, он ревновал ее к этим красивым юношам, у него зарождалось смутное раздражение против Гюго, который так доверчиво рассчитывал, что Сент-Бёв расхвалит в газетах его драму, меж тем как в глубине души критик терпеть не мог ее напыщенности. Вместе с тем он чувствовал, что сам-то он не способен создать такой неистовый поток страстей, как в «Эрнани», и считал это унижительным для себя, да, впрочем, ему и не хотелось быть на это способным, и он вообще был против всей этой затеи. Неудивительно, что он ходил унылый, подавленный, видя, как гнездо, в котором он нашел себе приют, стало «таким шумным и полным всякого мусора. Да что ж это такое! Нельзя больше уединиться тут с любимыми людьми! Ах, как это печально, как печально!..».

Раздражение, которое не могло рассеяться в излияниях души, все усиливалось, и наконец терпение Сент-Бёва лопнуло. За несколько дней до премьеры он прислал Виктору Гюго невероятно жесткое письмо, в котором извинялся, что не может написать статью об «Эрнани»:

Сказать по правде, тяжело видеть, что у вас творится с некоторых пор,— жизнь ваша навсегда предоставлена во всеобщее распоряжение, ваш досуг утрачен, ненавистников у вас стало вдвое больше, старые и благородные друзья отходят от вас, их заменяют теперь глупцы или безумцы; чело ваше прорезали морщины, его омрачает тень забот, порожденная не только трудами и высокими думами; видя все это, я могу лишь огорчаться, жалеть о прошлом, поклониться вам на прощание и пойти поискать какой-нибудь уголок, где я мог бы спрятаться. Консул Бонапарт мне был гораздо симпатичнее императора Наполеона.

Теперь я не могу и пяти минут отдать мыслям об «Эрнани» — тотчас всякие унылые думы начинают тесниться в моем мозгу. Да и как не думать, что вы вступаете на путь вечной борьбы, что вы утратите в ней целомудрие своей лирики, что всеми вашими поступками станут руководить соображения тактики, что вы должны будете встречаться с грязными людьми, что вам придется пожимать им руку, я говорю все это не для того, чтобы вы сошли с избранного вами пути,— такие умы, как ваш, непоколебимы, да и должны быть непоколебимыми, ибо ясно сознают свое призвание. Я говорю это ради себя самого — хочу объяснить свое молчание, пока его никто еще не истолковал превратно, хочу сказать о своей беспомощности...

Порвите, предайте все забвению. Пусть это письмо не будет для вас еще одной неприятностью среди вполне понятных неприятностей. Мне нужно было написать вам, так как теперь уж невозможно поговорить с вами наедине, в доме вашем как будто был разгром.

Ваш неизменный и гоустный
Сент-Бёв

А как же ваша супруга? Та женщина, чье имя должно было бы звучать под звуки лиры лишь в те минуты, когда ваши песни люди слушали бы, преклонив колени; та самая, на которую теперь ежедневно устремлены чужие кощунственные взгляды; та, которая раздает билеты восьми и даже более десяткам молодых людей, вчера еще едва знакомых ей? Чистая, пленительная близость, бесценный дар дружбы, навсегда осквернена в этой толкучке; понятие «преданность» попрано, превыше всего ценится у вас теперь полезность, и нет ничего для вас важнее материальных расчетов!!!

Эта приписка сделана поперек письма, на полях, и почерк свидетельствует, что писавший был в ярости. Этот взрыв бешенства по поводу «супруги» походил на сцену ревности со стороны оскорбленного любовника, и как не удивиться, что Виктор Гюго вытерпел ее. Он уже не мог сомневаться, какой характер носит чувство Сент-Бёва к Адели. Но он всецело отдался борьбе, и всякая ссора со своей группой ослабила бы его силы. Два бывших соратника продолжали работать бок о бок. Сент-Бёв рассылал от имени «своего страшно занятого друга» билеты его поклонникам в партер. В день премьеры (15 февраля 1830) он пришел вместе с Гюго за восемь часов до начала спектакля, чтобы наблюдать за тем, как будут впускать в еще не освещенный зал верных людей. Молодой Теофиль Готье, командир целого отряда красnobилетников, явился в своем знаменитом розовом камзоле, в светло-зеленых (цвета морской волны) панталонах и во фраке с черными бархатными отворотами. Он хотел эксцентричностью костюма привести в содрогание «филистимлян». В ложах зрители с ужасом указывали друг другу на удивительные гривы романтиков, а молодые художники, глядя на лысые головы классицистов, торчащие на балконе, кричали: «Лысых долой! На гильотину!» Эти писатели, эти художники, эти скульпторы, образовавшие железный эскадрон, отнюдь не были «гносным сборищем подонков». Они проникали во все уголки, где мог притаиться зловерный «свистун», они хотели защищать свободное искусство. Их горячность была признаком силы. То было прекрасное время, бурное и полное энтузиазма, время, ког-

да роялисты и либералы, романтики и классицисты еще не дрались друг с другом на баррикадах, а сражались в театре.

Наконец занавес поднялся. Столкновение началось с первых же строк: «*За дверью потайной он ждет. Скорей открыть*». Тут все коробило одних, а других все восхищало. Если б не страх, который нагоняли «банды Гюго», ропот недовольных превратился бы в шумный протест. Две армии напряженно следили друг за другом. «*Из свиты я твоей? Ты прав, властитель мой*». Слова эти «стали для огромного племени безволосых предлогом для невыносимого шиканья». Но рыцари, защищавшие «Эрнани», никому не позволяли ни одного жеста, ни одного движения, ни одного звука, не продиктованных восхищением и энтузиазмом. На площади перед Комеди-Франсез, во время антракта, книгоиздатель Мам предложил Гюго пять тысяч франков за право напечатать пьесу. «Да вы же kota в мешке покупаете. Успех может уменьшиться». — «Но он может возрасти. Во втором акте я решил было предложить вам две тысячи франков, в третьем — четыре тысячи; теперь вот предлагаю пять тысяч... Боюсь, что после пятого акта предложу десять тысяч». Виктор Гюго колебался. Мам протянул ему пять банковских билетов по тысяче франков. В тот день дома, на улице Нотр-Дам-де-Шан, было только пятьдесят франков. Гюго взял банкноты.

Когда разразилась буря оваций после финала, «вся публика повернулась и устремила взгляд на восхитительное лицо женщины, еще бледное от тревоги, пережитой утром, и волнений этого вечера; триумф автора отражался на облике его дражайшей половины».

После спектакля сотрудники «Глобуса» собрались в типографии журнала. Среди них были Сент-Бёв и Шарль Маньен, которому поручили написать статью. Спорили, восторгались, делали оговорки; к радости триумфа примешивалось некоторое удивление и боязливая мысль: «А в какой мере «Глобус» примет участие в компании? Подтвердит ли он успех пьесы? Ведь с воззрениями, выраженными в ней, он в конечном счете мог согласиться лишь наполовину. Тут были колебания. Я тревожился. И вдруг через весь зал один из самых умных сотрудников журнала, который впоследствии стал министром финансов, то есть не кто иной, как господин Дюшатель, крикнул: «Валяй, Маньен! Кричи: „Восхитительно!“» И вот «Глобус» опубликовал бюллетень о победе. Зато

«Насъональ» выступила враждебно и жаловалась на приятелей автора, «которые не имеют чувства меры, не знают приличий». Пришлось порекомендовать преданным защитникам больше не аплодировать по щекам соседей. Следующие представления были организованы Гюго так же заботливо. Оппозиция проявлялась всегда при одних и тех же стихах. Эмиль Дешан советовал убрать слова: «Старик глупец, ее он любит».

Из дневника Жоанни (исполнителя роли Руй Гомеса): «Неистовые интриги. Вмешиваются в них даже дамы высшего общества... В зале яблоку упасть негде и всегда одинаково шумно. Это радует только кассу...»
5 марта 1830 года: «Зала полна, свист раздается все громче; в этом какое-то противоречие. Если пьеса так уж плоха, почему же ходят смотреть ее? А если идут с такой охотой, почему свистят?..»

Из дневника академика Вьенне: «Сплетение невероятностей, глупостей и нелепостей... Вот чем литературная группировка намеревается заменить «Аталию» и «Меропу»... выступая под таинственным покровительством барона Тейлора, которого когда-то назначил ведать этим кавардаком министр Корбьер, со специальной миссией погубить французскую сцену...»

Сборы превысили все ожидания. Пьеса вызволила супругов Гюго из нужды. В ящике Адели скопилось немало тысячефранковых билетов, которые до сих пор редко появлялись в доме. Триумфатор Гюго уже привык к поклонению. «Из-за дурного отзыва в статье он приходит в бешенство,— сказал Тюркети.— Себя он как будто считает облеченным высокими полномочиями. Представьте, он так разъярился из-за нескольких неприятных для него слов в статье, напечатанной в «Ла Котидьен», что грозился избить критика палкой. Сент-Бёв разразился проклятьями, потрясая каким-то ключом...»

Сент-Бёв — Адольфу де Сен-Вальри, 8 марта 1830 года:

Дорогой Сен-Вальри, нынче вечером уже седьмое представление «Эрнани», и дело становится ясным, раньше тут ясности не было. Три первых представления при поддержке друзей и публики прошли очень хорошо; четвертое представление было бурным, хотя победа осталась за храбрецами; пятое — полухорошо, полуплохо; интриганы вели себя сдержанно, публика была равнодушна, немного насмешничала, но под конец ее захватило. Сборы превосходные, и при маленькой поддержке друзей опасный путь будет благополучно пройден,— вот вам бюллетень. Среди всех этих треволнений Виктор спокоен, устремляет взор в будущее, ищет в настоя-

шем хоть один свободный день, чтобы написать другую драму, — истинный Цезарь или Наполеон, *nil actum reputans*¹, и так далее. Завтра пьеса будет напечатана; Виктор заключил выгодный договор с книгоиздателем — пятнадцать тысяч франков; три издания по две тысячи экземпляров каждое, и на определенный срок. Мы все изнемогаем, на каждое новое сражение свежих войск не найти, а ведь нужно все время давать бой, как в кампании 1814 года...

Сент-Бёв был честным соратником, а между тем в сердце у него бушевала буря. Он узнал, что супруги Гюго в мае съедут с квартиры и поселятся в единственном доме, построенном на новой улице Жана Гужона. На улице Нотр-Дам-де-Шан хозяин им отказал, испугавшись нашествия косматых, небрежно одетых мазилок-художников, защитников «Эрнани», но граф де Мортемар сдал супругам Гюго третий этаж своего недавно построенного особняка. Средства теперь позволяли им жить в районе Елисейских Полей. Адель ждала пятого ребенка, и Гюго не прочь был перебраться с нею подальше от Сент-Бёва. Пришел конец приятным ежедневным встречам. А впрочем, были ли они по-прежнему возможны? Жозеф Делорм задыхался от смешанного чувства ненависти и восхищения, которые вызывал у него Гюго. Он знал теперь, что любит Адель не как друг, а любит по-настоящему. Некоторые полагают, что он тогда покался перед Гюго, и тот предупредил жену; другие считают, что сцена признания произошла позднее. Но, по-видимому, она несомненно произошла: Сент-Бёв использовал ее в романе «Сладострастие». Что у Гюго с мая 1830 года появились серьезные основания для горьких чувств, видно из тех стихов, какие он создавал в то время. Однако Сент-Бёву, который жил тогда в Руане у своего друга Гуттенгера, он писал не менее ласково, чем прежде: «Если б вы знали, как нам недоставало вас в последнее время, как стало пусто и печально даже в семейном нашем кругу, которым мы обычно ограничиваемся; грустно нам даже среди наших детей, грустно переезжать без вас в этот пустынный город Франциска I. На каждом шагу, каждую минуту нам недостает ваших советов, вашей помощи, ваших забот, а вечерами разговоров с вами, и всегда недостает вашей дружбы! Кончено! Но не вырвать из сердца милой привычки. Надеюсь, у вас впредь не будет дурного желания бросать нас и коварно дезертировать...» Однако в том же месяце мае Гюго писал стихи, полные разочарования, такие непохо-

¹ Не раскаивающийся ни в чем содеянном (лат.).

жие на торжествующие «Восточные мотивы». Перечитывая свои «Письма к невесте», он с печалью вспоминал то время, когда «звезда светила мне, надежда золотая тка-ла мне дивный сон».

О письма юности, любви живой волненье!
Вновь сердце обожгло бывшее опьяненье,
Я к вам в слезах приник...
Отрадно мне, забыв о прочном, тихом счастье,
Стать юношею вновь, тревожным, полным страсти,
Поплакать с ним хоть миг...

Когда нам молодость улыбкою отрадной
Блеснет на миг один, о, как мы ловим жадно
Край золотых одежд...
Миг ослепительный! Он молнии короче!
Очнувшись, слезы льем,— в руках одни лишь клочья
Блеснувших нам надежд!¹

Адель часто плакала, и муж с горечью обращался к ней:

Ты плакала тайком... Ты в грусти безнадежной?
Следит за кем твой взор? Кто он — сей дух мятежный?
Какая тень на сердце вдруг легла?
Ты черной ждешь беды, предчувствием томима? —
Иль ожила мечта и пролетела мимо?
Иль это слабость женская была?²

А Сент-Бёв жил в это время в Руане, у романтического Ульрика Гуттенгера, среди гортензий и рододендронов, и с горделивой нескромностью откровенно рассказывал ему о своей любви к Адели. Исповедник исповедовался, а Гуттенгер, прославивший в лагере романтиков большим знатоком в делах любви, поощрял его преступные замыслы, хотя и называл себя другом Гюго. Пребывание у Гуттенгера было вредным для Сент-Бёва; донжуанство заразительно. Возвратившись в Париж, он снова увиделся с четой Гюго, но чувствовал себя у них неловко.

Сент-Бёв — Виктору Гюго, 31 мая 1830 года:

Хочу написать вам, потому что вчера вы были так грустны, так холодны, так плохо простились, что мне было очень больно; возвратившись домой, я страдал весь вечер, да и ночью тоже; я говорил себе, что, поскольку я не могу видеться с вами постоянно, как прежде, нельзя нам встречаться часто и платить за эти встречи такой ценой. В самом деле, что мы можем теперь сказать друг дру-

¹ Виктор Гюго. О, письма юности... («Осенние листья»).— Перевод И. Грушецкой.

² Виктор Гюго. XVII («Осенние листья»).

гу, о чем можем беседовать? Ни о чем, потому что не можем сделать так, чтобы во всем мы были вместе, как прежде... Поверьте, если я не прихожу к вам, то любить вас буду не меньше прежнего — и вас, и вашу супругу...

Сент-Бёв — Виктору Гюго, 5 июля 1830 года:

Ах, не браните меня, мой дорогой великий друг; сохраните обо мне хотя бы одно воспоминание, живое, как прежде, неизменное, неизгладимое, — я так рассчитываю на это в горьком моем одиночестве. У меня ужасные, дурные мысли, подсказанные ненавистью, завистью, мизантропией; я больше не могу плакать, я все анализирую с тайным коварством и язвительностью. Когда бываешь в таком состоянии, спрячься, постарайся успокоиться; пусть осядет желчь на дно сосуда, — не надо очень его шевелить; не надо делать то, что я сейчас делаю, — каяться перед самим собой и перед таким другом, как вы. Не отвечайте мне, друг мой; не приглашайте прийти к вам — я не могу. Скажите госпоже Гюго, чтобы она пожалела меня и помолилась за меня...

Что это — искренность или стратегия? Вероятно, и то и другое. Сент-Бёв слишком любил и восхищался Гюго, видел, как поэт великодушен по отношению к нему, и не мог так скоро позабыть свою привязанность. Но правда и то, что минутами он ненавидел Гюго, а тогда искал оснований для своей ненависти, и тем больше стремился их найти, чем больше любил. Чтобы утешиться в том, что у него нет могучих сил Гюго, он называл их в своих тайных записных книжках силами «ребяческими и вместе с тем титаническими». Он упрекал Гюго в том, что среди всех греческих стилей в архитектуре тот понимает только стиль «циклопический», и называл его Полифемом, бросающим наугад чудовищные обломки скал. Он заносил в свои заметки, что в «Последнем дне приговоренного к смерти» Гюго «проповедовал милосердие вызывающим тоном». Словом, он считал его тяжеловесным, гнетущим, неким грубым готом, вернувшимся из Испании. «Гюго был молодым царьком варваров. Во времена «Утешений» я попробовал было цивилизовать его, но мало в этом преуспел». В заключение он восклицает: «Фу, Циклоп!» Затем, пытаясь провести параллель между своим соперником и собой, он говорит: «Гюго свойственно величие, а также грубость; Сент-Бёву — тонкость, а также смелость». Он мог бы добавить: Гюго — гений, а Сент-Бёв — только талант.

Глава четвертая
ОДЫ СЛЕДУЮТ ОДНА ЗА ДРУГОЙ

В конце концов монархия пала, па-
дут и многие другие монархии.

Шатобриан

Двадцать первого июля 1830 года молодой швейцарец Жюст Оливье, страстный любитель литературы, заручившись рекомендацией Альфреда де Виньи и Сент-Бёва, пришел в дом № 9 по улице Жана Гужона и позвонил в дверь на третьем этаже. Служанка сказала ему: «Проходите, пожалуйста, в кабинет барина...» Он увидел там медальоны работы Давида д'Анже, литографии Буланже, изображающие колдунов, призраков, вампиров, и картины резни. Окно кабинета выходило в сад с тенистыми деревьями; вдали виднелся купол Дома Инвалидов. Наконец появился Виктор Гюго. Оливье объяснил, что он тот самый молодой человек, которого направил к нему Сент-Бёв. Сперва Гюго как будто ничего об этом и не слышал, но потом сказал: «Совсем из головы вылетело». Они поговорили о Шильонском замке, о Женеве, о старинных домах. Вошла высокая и красивая дама, весьма заметно было, что она беременна, с нею двое детишек, мальчик и девочка, которую поэт назвал «мой котеночек», очаровательная крошка с загорелым и выразительным личиком. То была Леопольдина, она же Дидина, она же Кукла. Посетитель нашел, что Гюго не похож на своем портрете. Волосы у него темные (действительно, волосы стали у него каштановыми) и «как будто влажные», лежат странной волной. Лоб высокий, белый и чистый, но не громадный. Карие живые глаза, выражение лица приветливое и естественное. Сюртук и галстук черные; рубашка и носки — белые. Таким описывает его Оливье.

Вечером Оливье рассказывал у Альфреда де Виньи о своем посещении поэта. Он сказал, что, по его мнению, Гюго тоньше, чем на портрете. «О что вы! — язвительным тоном возразил Сент-Бёв. — Он растолстел». Потом заговорили об «Эрнани», где актеры, предоставленные самим себе, все меняли по-своему. В монологе Карла V вместо слов: «Так Цезарь с папою — две части Божества» — Мишелло говорил: «Народ и Цезарь — две части мира», хотя это ломало ритм стиха. «Что ж, — наивно замечала публика, — так по крайней мере мысль менее

нелепа». И все собратья захохотали. Сент-Бёв рассказал, как Фирмен ловко искажил реплику Эрнани: «Из свиты я твоей? Ты прав, властитель мой». Вместо этого он говорил: «Из вашей свиты», и как сумасшедший бегал по сцене, потом возвращался на авансцену и свистящим шепотом добавлял: «Я к ней принадлежу». Некоторые строфы опять были освистаны, и Вашё, главарь клакеров, хозяйничавших в Комеди-Франсез, заявлял: «Добавили бы еще человек шесть из левых, и я бы мог спасти эту пьеску!» Словом, чисто парижские шуточки, в которых не щадят ни учителей, ни друзей,— играючи, раздирают их в клочья, как хищные звери, чтобы поточить свои когти.

Выйдя от Виньи вместе с Сент-Бёвом, швейцарец захотел проводить его. Он нашел, что это болтливый и желчный человек. «Какое убийственное время! — говорил Сент-Бёв. — Чтобы забыть о нем, нужны уединение, богатство и развлечения. Покончить с собой не хочется, самоубийство — это нелепость. Но что за жизнь! Я думаю, лучше всего было бы уехать в деревню, ходить по воскресеньям к мессе, спокойно говеть великим постом и праздновать Пасху...» — «Господин Гюго верующий?» — «О, Виктора Гюго такие вопросы не мучают. У него столько больших и таких чистых, таких тонких наслаждений, которые ему доставляет его талант! Все, что он пишет, так прекрасно, так совершенно! И он так плодит!.. Он доволен и своей семейной жизнью. Он весел,— может быть, чересчур весел! Вот уж счастливый человек...» Заметим, что этот «счастливый человек» только что написал стихи о счастье, полные мрачного смирения и разочарования¹. Но Сент-Бёв больше не бывал у четы Гюго; его стул в их доме оставался пустым и еще до конца месяца критик журнала «Глобус» вновь уехал в Руан.

Двадцать пятого июля безумные ордонансы Полиньяка против гражданских свобод возмутили Париж. «Еще одно правительство бросилось вниз с башен Собора Парижской Богоматери», — сказал Шатобриан. 27 июля поднялись баррикады. Гюстав Планш, приехавший навестить супругов Гюго, предложил маленькой Дидине поехать с ним в Пале-Рояль полакомиться мороженым; он повез девочку в своем кабриолете, но дорогой они увидели такие толпы народа и отряды солдат, что Планш

¹ Виктор Гюго. Где же счастье? («Осенние листья»).

испугался за ребенка и отвез его домой. 28 июля было тридцать два градуса в тени. Елисейские Поля, унылая равнина, в обычное время предоставленная огородникам, покрылись войсками. Жители этого отдаленного тогда квартала были отрезаны от всего и не знали новостей. В саду Гюго просвистели пули. А накануне ночью Адель произвела на свет вторую Адель, крепенького младенца с пухлыми щечками. Вдалеке слышалась канонада. 29 июля над Тюильри взвилось трехцветное знамя. Что будет? Республика? Лафайет, который мог бы стать ее президентом, боялся ответственности не меньше, чем он любил популярность. Он вложил республиканское знамя в руки герцога Орлеанского. Короля Франции больше не было, теперь он назывался король французов. Оттенки зачастую берут верх над принципами.

Виктор Гюго сразу же принял новый режим. Со времени запрещения «Мария Делорм» он был в холодных отношениях с королевским дворцом, но считал, что Франция еще не созрела для республики. «Нам надо, чтобы по сути у нас была республика, но чтоб называлась она монархией»¹, — говорил он. Он был противником насилия; мать описывала ему страшные стороны всякого бунта. «Не будем больше обращаться к хирургам, обратимся к другим врачам». Вскоре его возмутили карьеристы, спекулировавшие на революции, искавшие и раздававшие теплые местечки. «Противно смотреть на всех этих людей, нацепляющих трехцветную кокарду на свой печной горшок». Несмотря на то, что Гюго написал столько од, посвященных низложенной королевской семье, ему нечего было бояться. Разве он не совершил революцию в литературе вместе с той самой молодежью, которая приветствовала Шатобриана у подножия баррикад? «Революции, подобно волкам, не пожирают друг друга». Гюго отдал прощальный поклон свергнутому королю. «Злосчастный род! Ему — хоть слово сострадания! Изгнанников былых постигло вновь изгнание...»² Гюго принял Июльскую монархию; оставалось только, чтобы она его приняла. Он сделал поворот с поразительным искусством — одами, но без угодничества.

Его ода «К Молодой Франции» была гораздо лучше в литературном отношении, чем его прежние легитимистские оды, — что было признаком искренности:

¹ Виктор Гюго. Дневник революционера 1830 года.

² Виктор Гюго. Писано после Июля 1830 года («Песни сумерек»). — Перевод Е. Полонской.

О братья, и для вас настали дни событий!
Победу розами и лавром уберите
И перед мертвыми склонитесь скорбно ниц.
Прекрасна юности безмерная отвага,
И позавидуют пробитой ткани флага
Твои знамена, Аустерлиц!

Гордитесь! Доблестью с отцами вы сравнялись!
Права, которые в сраженьях им достались,
Под солнце жизни вы вернули из гробов.
Июль вам подарил, чтоб дети в счастье жили,
Три дня из тех, что жгут форты бастилий,
А день один был у отцов¹.

Гюго хотел, чтобы эти стихи напечатаны были в «Глобусе», либеральном журнале. Сент-Бёв, вернувшийся из Нормандии, провел переговоры с редакцией. Гюго пошел к нему в типографию журнала, чтобы пригласить его быть крестным отцом своей новорожденной дочери. Сент-Бёв замаялся было и согласился, лишь когда получил заверение, что этого хочет Адель. Сент-Бёв и стал лоцманом, который провел оду Виктора Гюго «через узкие еще каналы восторжествовавшего либерализма». Для ее опубликования в «Глобусе» он составил милостивую «шапку». «Он сумел,— говорилось там о Гюго,— сочетать с полнейшим чувством меры порыв своего патриотизма с должным приличием по отношению к несчастью; он остался гражданином Новой Франции, не стыдясь своих воспоминаний о Старой Франции...» И сказано было хорошо, и маневр был искусный. Поэтому Сент-Бёв остался доволен собой. «Я призвал поэта на службу режиму, который тогда установился, на службу Новой Франции. Я избавил его от роялизма...»

Гюго чувствовал себя прекрасно в этой новой роли, которую он, впрочем, начал играть еще со времени оды «К Вандомской колонне». «Плохая похвала человеку,— писал он,— сказать, что его политические взгляды не изменились за сорок лет... Это все равно что похвалить воду за то, что она стоячая, а дерево за то, что засохло...» За «Дневником юного якобита 1819 года» последовал «Дневник революционера 1830 года». «Нужно иногда насильно овладеть хартиями, чтобы у них были дети». Для него все складывалось хорошо. Он состоял в Национальной гвардии — в четвертом батальоне 1-го легиона, занимая там должность секретаря Дисциплинар-

¹ Виктор Гюго. Писано после Июля 1830 года («Песни сумерек»).— Перевод Е. Полонской.

ного совета, которая освободила его от дежурств и караулов. После постановки его пьесы, после признания его своим при новом режиме, он мог наконец вновь приняться за «Собор Парижской Богоматери».

Работа была срочная. По договору с книгоиздателем Госленом, тем самым, который выпустил в свет «Восточные мотивы», он обещал представить книгу в 1829 году. С Госленом Гюго плохо обошелся за то, что тот требовал изменений в «Последнем дне приговоренного к смерти», а затем Гослена весьма плохо приняла госпожа Гюго, когда он на следующий день после премьеры «Эрнани» пришел на улицу Нотр-Дам-де-Шан, намереваясь приобрести право на опубликование пьесы в печати. Адель с гордым видом испанской инфанты, бросив на Гослена «ястребиный взгляд», надменно рассказывала ему историю об издателе Маме и пяти тысячах франков. Гослен, разумеется, был всем этим раздражен до крайности и потребовал представления рукописи «Собора Парижской Богоматери», угрожая взыскать неустойку в сумме пяти тысяч франков за каждую неделю запоздания. Гюго принялся было за работу, но тут произошла Июльская революция. Новая отсрочка — до февраля 1831 года. Но на дальнейшую отсрочку уже нечего было надеяться. Виктор Гюго «купил себе бутылку чернил и вязанку из грубой серой шерсти, окутавшую его от шеи до кончиков ног, запер свои костюмы на ключ, чтобы не поддаваться соблазну куда-нибудь отправиться вечером, и вошел в свой роман, как в тюрьму».

Так как он не отходил от письменного стола, Адель вновь оказалась очень одинокой. Неодолимое искушение для Сент-Бёва, который исповедовался в своей любви всем подряд.

Сент-Бёв — Виктору Пави, 17 сентября 1830 года:

«Да, друг мой, помолитесь за меня, посочувствуйте мне, потому что я страдаю от ужасных душевных мук; все, что я мог бы сказать в поэзии, подавлено, любовь моя безысходна; тоска меня томит. Я ожесточился. Я вновь стал злым...»

А ведь довольно выгодно называть себя злым, — тем самым позволяешь себе быть злым. В редакции «Глобуса» происходили крупные ссоры. Дюбуа хотел отстранить Пьера Леру, гневаясь на его сен-симонистские рассуждения. Сент-Бёв высказывал поразительную снисходительность к Леру, свойственную скептикам по отношению к ясновидцам; кончилось все это пощечиной, которую Дюбуа дал Сент-Бёву, и дуэлью

последнего со своим бывшим учителем. Жертв не было, но госпожа Гюго не могла скрыть свою тревогу. Сент-Бёв, увидавшись с нею на крестинах маленькой Адели, воспользовался этим, чтобы осведомить ее о состоянии своего сердца,— тот же самый прием, который когда-то применил жених мадемуазель Фуше во времена «Литературного консерватора». Сент-Бёву нужно было написать статью о переписке Дидро с мадемуазель Воллан, и он включил в эту статью прекрасные выдержки из писем Дидро, предназначая их для своей любимой:

Сделаем так, моя дорогая, чтобы жизнь наша не была омрачена ложью: чем больше я буду уважать вас, тем больше вы будете мне дороги: чем больше я проявлю добродетели, тем больше вы будете меня любить... Однако ж я порою уношусь мыслью в те края, где вы пребываете, отвлекаясь от своих дел. Возле вас я чувствую, я люблю, я слушаю, я смотрю, я ласкаю, я веду такой образ жизни, который предпочитаю всякому иному. Четыре года тому назад я впервые увидел вас, и вы показали мне красивой; ныне я нахожу, что вы стали еще краше, вот магия постоянства, самой трудной и самой редкой из наших добродетелей... О друг мой, не будем делать ничего дурного, пусть любовь возвышает нас, будем, как и прежде, неизменно наставлять друг друга...

Искусное сочетание обожания и почтительности. Дальше, 4 ноября 1830 года, в другой статье, написанной по поводу переиздания «Жозефа Делорма», Сент-Бёв под именем несчастного Делорма лишний раз старался вызвать сострадание к себе: «Он был неловок, робок, нищ и горд. Он ожесточился под бременем своих несчастий и без стеснения рассказывал о них самому себе». Сент-Бёв провозглашал будущую славу своих друзей — Гюго и де Виньи. «Что касается бедного Жозефа, ему ничего этого не достигнуть; впрочем, у него и сил не хватило бы пройти через всяческие испытания; он размяк от собственных своих слез...» Короче говоря, читателю сообщалось, что Делорм, так же как Чаттертон, покончил с собой. Это самоубийство, по уполномочию автора, потрясло Виктора Гюго, и, оторвавшись на один день от «Собора Парижской Богоматери», он написал своему другу хорошее, ласковое письмо.

Виктор Гюго — Сент-Бёву, 4 ноября 1830 года:

Только что прочел вашу статью о вас самом и заплакал над ней. Ради Бога, друг мой, заклинаю вас, не поддавайтесь отчаянию. Вспомните о своих друзьях, особенно о том, чье письмо вы сейчас читаете. Вы же знаете, кем вы стали для него, как он доверял вам в прошлом и станет доверять в будущем. Помните, что, если жизнь ваша отравлена, будет навсегда отравлена и его жизнь, ему необходимо знать, что вы счастливы. Не падайте же духом. Не презирай-

те то, что делает вас великим,— ваше дарование, вашу жизнь, вашу добродетель. Не забывайте, что вы принадлежите нам, что есть два сердца, для которых вы всегда самый дорогой предмет заботы... Приходите навесить нас...

Сент-Бёв пришел поблагодарить Гюго, и тот говорил с ним, как брат, умолял его отказаться от любви, губительной для их дружбы. Виктор Гюго, так же как Жорж Санд, как все романтики, уважал «право на страсть». Но, вероятно, он думал о Сент-Бёве, как дон Руй Гомес об Эрнани: «Так вот мне плата за гостеприимство!» Однако для него было бы ужасным отдать другому роль великодушного героя и согласиться сыграть роль ревнивого мужа. Он предложил Сент-Бёву предоставить Адели самой сделать выбор между ними двумя и при этом искренне верил, что поступает в высшей степени благородно. Из этого вышла бы прекрасная сцена для одной из его драм, но, несмотря на подлинное свое благородство, Гюго в данном случае вел себя весьма неловко. Разве мог Сент-Бёв, как бы он ни был влюблен, согласиться на его предложение? У Адели было четверо детей, Сент-Бёв едва зарабатывал себе на жизнь. Ему казалось, что предложение Гюго было более жестоким, чем великодушным. Благородная поза противника заставляет соперника притихнуть, хотя и не изменяет его чувств. Описывая эту сцену в своем романе «Сладострастие», Сент-Бёв вкладывает в уста Амори следующие слова: «Меня так ошеломила эта сцена, так взволновала мягкость этого сильного человека, что я не мог ответить ничего вразумительного. Я даже не смел поднять глаз, боясь, что увижу, как краска смущения заливает это суровое и чистое лицо. Я торопливо пожал ему руку, пробормотав, что я всецело полагаюсь на него, и мы заговорили о другом...»

Сент-Бёв пообещал, что он сделает над собой усилие и постарается все забыть, чтобы прийти, как прежде, по-дружески, но ушел он, чувствуя себя униженным, и 7 декабря написал душераздирающее письмо.

Сент-Бёв — Виктору Гюго:

Друг мой, я не могу этого вынести. Если б вы знали, как проходят для меня дни и ночи, какие противоречивые страсти владеют мною, вы бы пожалели меня, оскорбившего вас, и пожелали бы мне смерти, но никогда не осуждали бы меня и память обо мне предали бы вечному забвению... Во мне, знаете ли, кипит бешенство, я полон отчаяния; минутами мне хочется уничтожить вас, право, хочется убить вас. Простите мне эти ужасные порывы. Подумайте, однако, что у вас-то такая полнота жизни, столько у вас за-

мыслов, а в моей душе пока пустота, после нашей погибшей дружбы! Как! Неужели она навсегда утрачена? Больше я уже не могу приходить к вам; ноги моей больше у вас не будет, — это невозможно. Но это отнюдь не равнодушные... Если я впредь не буду видеться с вами, то лишь потому, что такая дружба, как та, что была у нас с вами, не может чуть теплиться. Она живет, или ее убивают. Ну что я делал бы теперь у вашего семейного очага, когда я заслужил ваше недоверие, когда меж нами закралось подозрение, когда вы тревожно наблюдаете за мной, а госпожа Гюго не смеет посмотреть на меня, не попросив у вас взглядом разрешения? Нет, мне непременно нужно удалиться и свято блюсти заповедь — воздержись...

На следующий день Гюго ответил очень мягко:

«Будем снисходительны друг к другу, дорогой мой. У меня своя рана, у вас — своя; горестное потрясение пройдет. Время все излечит. Будем надеяться, что когда-нибудь мы увидим в том, что пережили, лишь причину еще больше полюбить друг друга. Жена прочла ваше письмо. Приходите ко мне, приходите почаще. Всегда пишите мне...»

Но ведь он нарочно сказал — *ко мне*, он не сказал — *к нам*. И Сент-Бёв не пришел. А Гюго передал жене свое трагическое объяснение с ним, сказал, что он предложил Сент-Бёву, показал письма Сент-Бёва. Странная ошибка со стороны знатока человеческих душ. Разве могли оставить Адель равнодушной болезненные ноты скорби, звучавшие в этих письмах? Как ей было не пожалеть своего друга, своего наперсника, которого она к тому же обратила, как ей казалось, на путь благочестия? Как Гюго не догадался, что она скорее уж извинит Сент-Бёва за то, что он отверг нелепое предложение, чем простит мужу готовность лишиться ее? Все это еще оставалось скрытым в ее гордой и затуманившейся головке.

Первого января 1831 года Сент-Бёв прислал игрушки детям, и Гюго отправил ему записку.

«Как вы добры к моим детишкам, дорогой друг. Нам с женой очень, очень хочется лично поблагодарить вас. Приходите послезавтра, во вторник, пообедать с нами. 1830-й год прошел! Ваш друг Виктор».

Ответа не было.

Пытаясь забыть, Сент-Бёв погрузился в изучение политико-религиозной доктрины — сен-симонизма. «У меня в ту пору сердце болело, страдания терзали сердце, охваченное страстью. И чтобы отвлечься, я играл во всякие умственные игры...» Гюго вновь принялся за «Собор Парижской Богоматери». Адель, покинутая, мечтала.

Собор Богоматери очень стар, но, пожалуй, он переживет Париж, видевший, как он родился...

Жерар де Нерваль

В начале января 1831 года Гюго завершил работу над «Собором Парижской Богоматери». Этот длинный роман он написал за шесть месяцев, представив рукопись в крайний срок, назначенный издателем Госленом. В сущности, ему нужно было только все записать и скомпоновать, а материал он собирал и обдумывал три года; он прочел много исторических трудов, хроник, картин, описей, грамот, изучал Париж времен Людовика XI, осматривал то, что сохранилось от старых домов той эпохи. И главное, он досконально знал Собор, его винтовые лестницы, его таинственные каменные каморки, старинные и современные документы. В этом романе, надеялся он, все будет исторически точным: обстановка, люди, язык. «Впрочем, не это важно в книге. Если есть в ней достоинства, то благодаря тому, что она плод воображения, причуды и фантазии...» В самом деле, если эрудиция автора была вполне реальна, персонажи романа кажутся нереальными. Архидиакон Клод Фролло — чудовище; Квазимодо, уродливый большеголовый карлик, — один из гротескных образов, теснившихся в воображении Гюго; Эсмеральда — скорее прелестное видение, чем женщина.

Однако этим персонажам предстояло жить в умах людей всех стран и всех наций. Ведь они обладали бесспорным величием эпических мифов и той глубокой правдивостью, которую им сообщила их тайная связь с душевным миром автора. Нечто от самого Гюго закралось в образ Клода Фролло, раздираемого борьбой между плотским вожделением и обетом целомудрия; было нечто от Пепиты (и от Адели в ее юности) в образе Эсмеральды, золотисто-смуглой, как девушки Андалусии, тоненькой цыганочки с огромными черными глазами; была тут такая важная для Гюго тема тройного соперничества вокруг Эсмеральды — архидиакона, хромого звонаря и капитана Феба де Шатопера. *Tres para*

¹ Рок (греч.).

ша. Было, наконец, и нечто от смятения, пережитого Гюго в 1830 году, в угрюмом приятии Клодом Фролло роковой неизбежности. Нигде нет прямой исповеди. Пуповина была перерезана. Но пока произведение росло, оно все время питалось жизнью творца. Читатель смутно чувствовал это тайное соответствие; невидимое и мощное, оно оживляло роман.

Но главное, роман жил жизнью вещей. Подлинный его герой — это «огромный Собор Богоматери, вырисовывающийся на звездном небе черным силуэтом двух своих башен, каменными боками и чудовищным крупом, подобно двухголовому сфинксу, дремлющему среди города...»¹. Как и в своих рисунках, Гюго умел в своих описаниях показывать натуру в ярком освещении и бросать на светлый фон странные черные силуэты. «Эпоха представлялась ему игрой света на кровлях, укреплениях, скалах, равнинах, водах, на площадях, кишащих толпами, на сомкнутых рядах солдат,— ослепительный луч выхватывал здесь белый парус, тут одежду, там витраж». Гюго был способен любить или ненавидеть неодушевленные предметы и наделять удивительной жизнью какой-нибудь собор, какой-нибудь город и даже виселицу. Его книга оказала глубокое влияние на французскую архитектуру. До него строения, возведенные до эпохи Возрождения, считали варварскими, а после появления его романа их стали почитать, как каменные библии. Создан был Комитет по изучению исторических памятников; Гюго (формировавшийся в школе Нодье) вызвал в 1831 году революцию в художественных вкусах Франции.

«Собор Парижской Богоматери» не был ни апологией католицизма, ни вообще христианства. Многих возмущала эта история о священнике, пожираемом страстью, пылающем чувственной любовью к цыганке. Гюго уже отходил от своей еще недавней и непрочной веры. Во главе романа он написал: «Анапкè»... Рок, а не Провидение... «Хищным ястребом рок парит над родом человеческим, не так ли?» Преследуемый ненавистниками, познав боль разочарования в друзьях, автор готов был ответить: «Да». Жестокая сила царит над миром. Рок — это трагедия мухи, схваченной пауком, рок — это трагедия Эсмеральды, ни в чем не повинной и чистой девушки, попавшей в паутину церковных судов. А высшая

¹ Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери.

степень Анапкè — рок, управляющий внутренней жизнью человека, гибельный для его сердца. Адель и сам Сент-Бёв, жалкие мухи, тщетно бившиеся в тенетах, брошенных на них судьбой, тоже подпадали под эту философию. Быть может, Гюго, звучное эхо своего времени, воспринял антиклерикализм своей среды. «Это убьет то. Печать убьет церковь... Каждая цивилизация начинается с теократии, а кончается демократией...»¹ Изречения, характерные для того времени.

Ламенне, прочитав роман, упрекал его за то, что в нем недостаточно католицизма, но хвалил его живописность и богатство воображения автора; Готье восхвалял стиль, «гранитный стиль», неразрушимый, как средневековые соборы. Ламартин писал: «Это колоссальное произведение, допотопная глыба! Это Шекспир в романе, это эпопея средневековья... Однако это безнравственно, потому что довольно ясно чувствуется отсутствие Провидения; в вашем храме есть всё что угодно, только в нем нет ни чуточки религии...» От Сент-Бёва Гюго ждал, «несмотря ни на что», большой статьи о романе и полагал, что своим поведением в декабре 1830 года он заслужил, чтобы дружба литературная и даже просто дружба устояла перед домашними передрыгами. Он попытался считать чувство Сент-Бёва к Адели любовью преступной, но чистой и безнадежной, в духе «Вертера». А ведь Вертер уважал честь Альбера, мужа Шарлотты. Словом, невзирая на трехмесячное молчание Сент-Бёва, Гюго твердо надеялся, что без труда приведет его к сознанию долга и к прежнему восхищению другом.

Он ошибся. За время своего молчания Сент-Бёв очень изменился. От небесного тона «Утешений» он вновь обратился к горькому и скептическому тону «Жозефа Делорма». Он бесцеремонно говорил об Адели со всеми приятелями, даже со священниками, например с аббатом Барбом и Ламенне. Гуттенгер писал ему: «Я слышал много разговоров о ваших любовных делах». Действительно, они стали одной из злободневных сплетен в Париже. В марте Гюго написал ему письмо, в котором сообщил, что рекомендовал его Франсуа Бюло, занявшемуся тогда возрождением журнала «Ревю де Дё Монд», и упомянул, что послал Сент-Бёву экземпляр «Собора Парижской богородицы». Сент-Бёв счел грубым маневром то, что ему оказывают услугу, о которой он не про-

¹ Виктор Гюго. Собор Парижской Богородицы.

сил, словно заранее платят ему за ожидаемую от него любезность. Сент-Бёв был не прав: услугу Гюго оказал скорее уж Франсуа Бюло, чем Сент-Бёву, но тот все понял по-своему. Лишний раз он удивился «чудовищному эгоизму» Гюго и на письмо не ответил. Гюго встревожился, написал второе письмо, предложил, что придет за Сент-Бёвом для «долгого, глубокого, душевного разговора», но такого рода эпитеты могли только возмутить недоверчивую натуру Сент-Бёва, и 13 марта 1831 года Гюго получил от него резкое письмо — не по форме (она была чрезвычайно вежливой), но по самой сути. Привязанность? Восхищение? Да, все это осталось нерушимым, утверждал Сент-Бёв. «Но сказать вам, что привязанность эта осталась той же самой, какой она была, сказать, что восхищение еще живет в моей душе, словно некий домашний, семейный культ божества,— это значило бы солгать вам, и, если бы я двадцать раз заверил вас в прежнем поклонении, вы бы мне все равно не поверили...» Неожиданный поворот: оказывается, Сент-Бёв был оскорбленной стороной!

Каким бы преступником я ни был перед вами или каким должен был казаться вам, я полагаю, друг мой, что и вы были тогда виноваты передо мной. Имея в виду ту тесную дружбу, которая связывала нас, это была вполне реальная вина, заключавшаяся в недостатке искренности, доверия и откровенности. Я не намерен вооружить печальные воспоминания. Но именно это и причинило мне боль. Вдумай вы рассказать о своем поведении, в глазах всего света оно было бы безупречным, ведь оно было достойным, твердым и благородным. А я вот не считаю его столь душевным, столь хорошим, столь редкостным, столь исключительным, каким оно бы могло быть при той задушевной дружбе, которая тогда соединяла нас в жизни...

Каждого человека изумляет дурное мнение о нем других людей. Гюго был ошеломлен; он ответил Сент-Бёву только через пять дней, 18 марта 1831 года:

Я не хотел отвечать под первым впечатлением от вашего письма. Впечатление это было слишком печальным и слишком горьким. Я бы тоже оказался несправедливым, как и вы. Я решил подождать несколько дней. Нынче я по крайней мере спокоен и могу перечесть ваше письмо, не боясь разбередить глубокую рану, которую оно нанесло мне. Должен сказать, не думал я, что все случившееся между нами, *известное лишь нам двоим на всем свете*, могло быть когда-нибудь забыто... Вы ведь должны помнить, что произошло при обстоятельствах самых горестных в моей жизни, в ту минуту, когда мне пришлось выбирать между нею и вами. Вспомните, что я вам тогда сказал, что я предложил, что я обещал, конечно, с твердым намерением выполнить обещание и поступить так, как вы

что пожелаете. Вспомните это и скажите, как вы могли написать, что в этом деле у меня не было по отношению к вам искренности, доверия, откровенности! И все это вы написали мне через какие-нибудь три месяца... Я вам это прощаю сейчас. Но, может быть, придет день, когда вы сами себе этого не простите...

На полях этого письма, рядом со словами «известные лишь нам двоим на всем свете», Сент-Бёв написал (вероятно, для потомства): «Ложь! Он этим хвастался перед нею, приписывая мне то, чего я не говорил». Рядом со словами: «Вспомните, что я вам предложил» стоит злобная реплика: «В ту самую минуту он мне лгал и вел двойную игру». На конверте написано: «Он вел двойную игру. Писал мне пышно, а действовал наперекор. Оттого и шел несколько лет упорный поединок между нами».

«Упорный поединок», в котором двое мужчин сражались из-за Адели, и эти заметки на полях, как нам кажется, доказывают, что отчасти и на нее тут падает ответственность. Нельзя отрицать, что летом 1831 года она разлюбила своего знаменитого мужа. Он сам в отчаянии признает это и даже говорит это сопернику. Почему охладела жена? У Гюго, так же как у его отца, требования чувственности были, несомненно, сильнее обычных. Адель жаждала отдыха, страшилась пылких страстей и отвергала домогательства мужа. Сент-Бёв в своих стихах ликовал:

Адель, бедняжка! Как часто ночью темной,
В тот час, когда твой лев, свирепый, неумный,
Врывается в твое ночное забытье,
Чтобы схватить тебя и грубо взять свое,
Тебе приходится, овечка дорогая,
Вести тяжелую борьбу, изнемогая,
Хитрить на все лады, чтоб верность сохранить
Тому, с кем чистых чувств тебя связала нить!¹

К тому же муж, окруженный ореолом славы, вовсе не обязательно бывает любезным с женой. Даже наоборот: как мать, всецело отдающая себя своим детям, поэт всего себя отдает творчеству. Он становится раздражительным, нетерпимым, властным. Адель, как она это и предвидела во времена их помолвки, обрела в Викторе деспотического повелителя; она жалела о своем робком и покорном поклоннике. Не подлежит сомнению то, что

¹ Сент-Бёв. Детство Адели («Книга любви»).— Перевод И. Шафаренко.

она потихоньку встречалась с Сент-Бёвом, виделась с ним наедине, что она неосторожно передавала ему слова своего мужа, и даже несомненно то, что на этих тайных свиданиях вдали от *Циклопа*, влюбленная пара безжалостно критиковала его.

Переход от супружеской верности к измене сердца и ума занял несколько месяцев. В апреле соперники обменивались резкими письмами, а затем под давлением Адель они помирились,— обоих растрогало то, что она заболела из-за этих распрей. Сент-Бёв написал Гюго: «Могу я прийти позвать вам руку?» Гюго ответил: «Приходите в ближайшие дни пообедать с нами. Непременно». Необходимо напомнить, что в это время Сент-Бёв уже прочел «Собор Парижской Богоматери», что, несмотря на всеобщие похвалы, книга не очень понравилась ему и он не собирался писать о ней статью; Гюго знал это, а следовательно, приглашал его к себе бескорыстно. Но эта попытка возобновить прежнюю близость оказалась неудачной. У обеих сторон не доставало теперь доверия. Когда все трое были вместе, Гюго следил за женой и за другом. Оставшись с Аделью один, он устраивал ей сцены. Сперва она старалась утихомирить его кротостью. Затем потеряла терпение: «Разве я виновата, что меньше тебя люблю, когда ты меня мучаешь?» Тут он бросался к ее ногам, потом писал ей: «Прости меня». Чтобы его успокоить, она просила его всегда быть третьим, когда приходит Сент-Бёв; возможно, это была женская хитрость, которая, однако, лишь усиливала опасения мужа.

В конце июня у Гюго все же появилась надежда. Во-первых, Адель с детьми уехала на лето из Парижа к Бертенам, в их замок де Рош. Этот красивый дом, окруженный большим парком, построен был близ деревни Бьевры на зеленом холме, возвышавшемся над долиной и оттуда открывался «горизонт беспредельный, простор, что радует глаз». Луи-Франсуа Бертен, основатель газеты «Журналь де Деба», именовавшийся Бертен-старший (Энгр оставил его великолепный портрет), очень любил де Рош и охотно отдыхал там. По соседству жили приятели Бертена — Ленорманы и Дольфусы, у которых была там ситценабивная фабрика. В доме составлялся кружок приветливых и культурных людей: сыновья Бертена — художник Эдуар Бертен, журналист Арман

Бертен, дочь Луиза, музыкантша, которая ставила на домашней сцене оперы на сюжеты, почерпнутые у Вальтера Скотта. Гюго познакомился с Бертенами в 1827 году. После статьи об «Одах и балладах», появившейся в «Деба», он пришел к Бертену-старшему поблагодарить его; Бертена, так же как и Дюбуа, очаровало «святое семейство» поэта. Между супругами Гюго и Бертенами возникла нежная дружба. Особенно с мадемуазель Луизой, девушкой некрасивой, чересчур полной, почти что тучной, но всех пленявшей величавым душевным спокойствием; «мужчина по уму, а сердцем — женщина», «добрая фея счастливой долины Бьевры» — она стала близким другом Виктора Гюго и второй матерью для его детей.

В усадьбе Рош Виктор Гюго откладывал в сторону свой скипетр главы литературной школы, свою романтическую личину и становился очень простым человеком, отцом семейства, парижским буржуа, давал волю своей чувствительной натуре. Каждый год для него было великой радостью видеть вместо городских бульваров с их запыленными, серыми вязами зеленую траву, лесистые склоны холмов. «Я отдал бы весь мир за ваш парк и всех людей за вашу семью», — писал он мадемуазель Луизе и добавлял: «Все ели Шварцвальда не стоят той акации, что растет у вас во дворе». В Роше маленькая Дезде бежала посмотреть на своих любимых коров, Тото и Шарль получали от отца игрушечные колясочки, которые он сам мастерил для них из картона, а степенная Дидина, по прозвищу Кукла, упрашивала мадемуазель Луизу поиграть ей на фортепьяно.

Виктор Гюго — Луизе Бертен, 14 мая 1840 года:

Если бы можно было вернуть пролетевшие годы, я хотел бы вновь пережить одно из тех лет, когда мы проводили такие чудные вечера около вашего фортепьяно, а дети играли вокруг нас, меж тем как ваш отец, добрейший человек, хлопотал о том, чтобы всем нам было тепло и светло...

По возвращении в Париж все дети писали мадемуазель Луизе или просили Виктора Гюго написать за них и бранили его, когда находили письмо неудавшимся. «Папа написал не так, как я ему сказала», — добавляла Дидина в приписке.

Летом 1831 года, такого бурного для Гюго, умиротворяющее влияние Бертенов произвело чудо. Поэт совершал прогулки при луне, под «сенью ив, поникших над рекой». Теперь он слышал только музыку и голоса де-

тей: растворяясь в природе, он забывал «роковой горд». Адель Гюго тоже как будто поддавалась очарованию этой жизни. Ходили слухи, что Сент-Бёв согласился занять предложенную ему бельгийцами кафедру профессора в Льеже. Итак, соперник удалится. Но, увы, в начале июля Гюго допустил неосторожность: написал ему, что все идет прекрасно и Адель вновь кажется очень счастливой. Тотчас же Сент-Бёв, задетый за живое, отказался от профессорской кафедры в Льеже. И тогда Гюго, отбросив всякую гордость и всякое благоразумие, не справившись со своим страданием, признался Сент-Бёву в своих страхах.

Виктор Гюго — Сент-Бёву, 6 июля 1831 года:

То, что я хочу сказать вам, дорогой друг, причиняет мне глубокое страдание, но сказать это необходимо. Ваш переезд в Льеж избавил бы меня от объяснений. Вы, несомненно, замечали иногда, как я хочу того, что во всякое другое время было бы для меня настоящим несчастьем, а именно — расстаться с вами. Но раз вы не уезжаете по каким-то, вероятно основательным, причинам, мне надо, друг мой, излить перед вами душу, хотя бы в последний раз! Я дольше не могу выносить то состояние, которому не будет конца, пока вы живете в Париже... Так перестанем на время встречаться, а когда-нибудь, как можно скорее, мы встретимся вновь и уж не расстанемся до конца жизни. Черкните мне несколько слов. Кончаю на этом письме. Сожгите его, чтобы никто, даже вы сами, не мог его впоследствии прочесть.

Прощайте. Ваш друг, ваш брат Виктор.

Я показал письмо только той особе, которой следовало прочесть его раньше вас.

Ответ Сент-Бёва полон коварной кротости. Роли переменились, он втайне торжествовал, но разыгрывал из себя простачка. Чем, собственно, Гюго оскорблен? Да и был ли он оскорблен на самом деле? Он, Сент-Бёв, замечал мрачный вид своего друга, но приписывал эту угрюмость влиянию возраста; его молчание объяснял тем, что они друг друга знали насквозь, обо всем переговорили и ничего нового не могли бы сказать. Что касается «той особы», он ведь никогда не бывал с нею наедине.

«Добавлю, что последнее ваше письмо очень меня опечалило, очень огорчило, но нисколько не вызвало во мне раздражения; горько сожалею, втайне скорблю, что для такой дружбы, как ваша, я стал камнем преткновения, внутренним нарывом, осколком ножа, сломавшегося в ране; но уж приходится возложить вину за это на судьбу, ибо я не виноват в том, что стал орудием пытки, терзающей ваше великое сердце. Берегитесь, мой друг,— говорю это вам без всякого схиства,— берегитесь, поэт, не верьте порождениям вашей фантазии, не допускайте, чтобы под ее солнцем расцветали подозрения, не прислушайтесь с волнением к тому, что бывает просто эхом вашего собственного голоса...»

И на это бедный Гюго отвечает:

«Вы во всем правы, ваше поведение было честным, безупречным, вы не оскорбили и не могли никого оскорбить... Все это я сам придумал, друг мой. Бедная моя, несчастная голова! Я люблю вас в эту минуту больше, чем прежде, а себя ненавижу, говорю без всякого преувеличения, ненавижу за то, что я такой сумасшедший, такой больной. Если когда-нибудь вам понадобится моя жизнь, я отдам ее для вас, и жертва тут будет с моей стороны небольшая. Дело в том, знаете ли, что я теперь несчастный человек,—говорю это только вам одному. Я убедился, что та, которой я отдал всю свою любовь, вполне могла разлюбить меня и что это едва не случилось, когда вы были возле нее. Сколько я ни твержу себе все то, что вы мне говорите, сколько ни убеждаю себя, что самая мысль об этом — безумие, достаточно одной капли этого яда, чтобы отравить мою жизнь. Да, пожалейте меня, я поистине несчастен. Я и сам уж не знаю, как мне быть с двумя существами, которых я люблю больше всего на свете.. Вы — одно из этих существ. Жалейте меня, любите меня, пишите мне...»

Читать это письмо было наслаждением для самолюбия Сент-Бёва.

Стало быть, божество, по собственному его признанию, пало в глазах своей служанки. С безмятежным спокойствием человека, выигравшего партию в игре, Сент-Бёв принялся давать советы.

Сент-Бёв — Виктору Гюго, 8 июля 1831 года:

Позвольте мне сказать еще кое-что. Есть ли у вас уверенность в том, что вы не вносите, под влиянием роковой силы воображения, чего-то чрезмерного в ваши отношения с существом, столь слабым и столь для вас дорогим, чего-то чрезмерного, пугающего, отчего она, вопреки вашей воле, замыкает свое сердце; и получается, что вы сами своими подозрениями приводите ее в такое моральное состояние, которое усиливает ваше подозрение и делает его еще более жгучим? Вы так сильны, друг мой, так своеобразны, так далеки от обычных наших мерок и едва уловимых оттенков, что порой, особенно в минуты страстных волнений, вы, должно быть, все окрашиваете и все видите по-своему, во всем ищете отражений ваших призраков. Постарайтесь же, друг мой, не мутить чистый ручей, что бежит у ваших ног, пусть он, как прежде, течет спокойно, и скоро вы увидите в его прозрачной воде свое отражение. Я не стану говорить вам: «Будьте милосердным и будьте добрым» — вы такой и есть, слава Богу! Но я скажу: «Будьте добрым попросту, снисходительным в мелочах». Я всегда думал, что женщина, супруга гениального человека, похожа на Семелу: милосердие божества состоит в том, чтобы не сверкать перед ней своими лучами, стараться приглушить свои громы и молнии; ведь когда Юпитер блещет, даже играя, он зачастую ранит и сжигает...

Экий проповедник! А ведь он в то же время переписывался с Аделью. Она получала его письма то на почте — «До востребования», под именем «госпожи Си-

мон», то через Мартину Гюго, бедную родственницу поэта, которую он приютил у себя, за что она отплатила ему предательством. Сент-Бёв писал для любимой узницы стихи, и принятое в поэзии обращение на «ты» еще усиливало их интимный характер; он считал эти любовные элегии лучшими своими творениями. Адель отвечала письмами (через ту же тетюшку Мартину), в которых называла Сент-Бёва: «Мой дорогой ангел... Дорогое сокровище...» Бедняжка Адель! Девушка Фуше, дочь чистенькой канцелярской мышки, не создана была ни для романтической драмы, ни для любовной комедии. Она была домоседка, образцовая мать семейства. Сердечная женщина. Чувства ее оставались совершенно спокойными. Ей хотелось сохранять и с мужем, и с другом целомудренные отношения. «Люби и его тоже», — соглашался друг и успокаивал ее: «У нас с вами на лице написана чистота...» Чистота, необременительная для мужчины, привыкшего отождествлять плотскую любовь с продажной, ибо расставшись с дамой сердца, он шел к какой-нибудь распутнице. Однако и Адель возбуждала у него вождение, и его торжество над Виктором Гюго могло быть полным только в тот день, когда Адель отдастся ему.

Глава шестая

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

Надо, чтобы люди знали, сколько
выстрадал человек.

Гете

Я не люблю, когда сурово осуждают
женщин, — им столько приходится
страдать.

Госпожа Фуше

Чтобы успокоить Виктора Гюго и отвлечь его внимание, Сент-Бёв старался, как и прежде, оказывать ему литературные услуги. Первого августа он опубликовал в журнале «Ревю де Дё Монд» весьма хвалебную биографию поэта. Гюго занят был тогда репетициями «Марион Делорм» в театре Порт-Сен-Мартен. Июльская монархия разрешила к постановке эту драму, запрещенную Карлом X. Мари Дорваль должна была играть роль Марион. Она была в восторге от своей роли, но просила, чтобы Дидье в конце пьесы простил возлюбленную.

Гюго был за неумолимого Дидье, но уступил настояниям. Кто-то доложил ему, что Сент-Бёв сказал: «Дидье — это второй Гюго, человек более страстный, чем чувствительный». Сент-Бёв отрекся от этого изречения и предложил свои услуги в отношении драмы. «Я бы очень хотел, друг мой, быть вам чем-нибудь полезным в этом деле...» Однако он продолжал писать для Адели элегии. В них он изображал ее узницей «угрюмого супруга», мечтающей о «робком победителе», который никогда не получит от нее «ничего, кроме сердца ее». Шарлю Маньену, своему собрату по «Глобусу», он на случай своей смерти торжественно доверил для хранения толстый запечатанный пакет, вероятно, содержащий его переписку с Аделью и его стихи к ней.

В сентябре он добился, чтобы она согласилась на свидание с ним — сначала в какой-нибудь удобной для этого церкви, где можно вполголоса вести беседу, сидя за колонной, а затем в его комнатке. Как он привел к такому неблагоприятному шагу эту добродетельную, богобоязненную и к тому же щепетильную женщину? Тем, что возбудил в ней ревность. Он притворился, а может быть, и в самом деле попытался найти успокоение с другой, и тогда Адель, боясь его потерять, вдруг пошла на уступки, подарив ему милости, небольшие, но, однако, достаточные для того, чтобы у него появилась уверенность, что он покорил, впервые в жизни, женщину, которую все считали недоступной, меж тем как она говорит ему, что любит его.

Сильней, чем первенца, чем мужа в блеске славы...

Припав к моей груди, ты говорила мне:
«Я испытала все, но ты всего превышел...»

Странное объяснение в любви, обращенное к человеку, столь непригодному для любви; ведь он сам провозгласил:

Стыдливой ты была и сдержанной всегда —
В минуты самого немыслимого счастья,
И наша светлая любовь была чужда
Тщеславия и сладострастья¹.

Казуистика, предназначенная для успокоения щепетильной подруги, — ведь грудь поэта, когда к ней прижимается чело возлюбленной, должна же была испыты-

¹ Сент-Бёв. Книга любви. — Перевод М. Донского.

вать некоторую долю страсти; что же касается тщеславия, оно было удовлетворено, потому что «весь Париж» сплетничал об этой победе. Своему приятелю Фонтане Сент-Бёв говорил, что Виктор Гюго жалкий человек — из ревности держит свою жену взаперти и довел ее до болезни. Ламенне, пригласившему его съездить с ним вместе в Рим, он ответил: «С превеликой радостью поехал бы, но непреодолимые и давно уже возникшие причины удерживают меня здесь». Аббату Барбу он сообщил: «Я испытал наконец страсть, которую смутно предвидел и желал изведать; она длится, она утвердилась прочно, и это породило в моей жизни много необходимых потребностей, горечь, перемешанную с чувством сладким, и обязанность приносить жертву, которая окажет благое действие, но дорого стоит нашей природе...»

А как же Виктор Гюго? Невозможно предположить, что до него не доходили слухи. Он говорил своим друзьям, что собирается совершить путешествие по Италии, Сицилии, Египту и Испании. Разве пришла бы ему мысль уехать из Франции одному, да еще на целый год, не будь он очень несчастным? А как он мог не чувствовать себя несчастным? Он любил. Он поставил всю свою жизнь на карту; три года он боролся, чтобы завоевать эту женщину; восемь лет он жил в иллюзии, что Адель полна благоговейного преклонения перед ним. Он воображал, что они составляют идеальную супружескую чету, связанную любовью романтической, чувственной и чистой. Поглощенный своим творчеством и битвами романтиков, он не догадывался, что рядом с ним — разочарованное сердце. Пробуждение было ужасным. «Горе тому, кто любит безответно! Ах, ужасное положение! Взгляните на эту женщину. Какое очаровательное создание! Кроткое, беленькое личико, наивный взгляд; она — радость и любовь дома твоего. Но она тебя не любит. У нее нет и ненависти к тебе. Она не любит, вот и все. Исследуй, если посмеешь, глубину такой безнадежности. Смотри на эту женщину — она не понимает тебя. Говори с ней — она тебя не слышит. Все твои мысли, полные любви, летят к ней, она ничего не замечает, предоставляет им улетать, — не отгоняет их, но и не удерживает. Скала среди океана не более бесстрашна, не более недвижна, чем бесчувственность, утвердившаяся в ее сердце. Ты любишь ее. Увы! Ты погиб. Я никогда не читал ничего более леденящего и более ужасного, чем

вот эти слова в Библии: «Тупая и бесчувственная, как голубка»... «С ума можно было сойти». Но поэт способен совершить таинственное превращение — обратить свою скорбь в песнопения. В ноябре 1831 года вышли из печати «Осенние листья».

Этот сборник бесконечно выше «Од и баллад» и «Восточных мотивов». Сент-Бёв, скверный гость, был хорошим учителем. Пройдя через тигель волшебника, интимная лирика Жозефа Делорма достигла совершенства формы, не утратив «чего-то жалостного». В предисловии к сборнику автор говорил: «Юноше эти стихи говорят о любви; отцу — о семье; старцу — о прошлом». Тем самым они бессмертны, ведь «всегда будут дети, матери, девушки, старики — словом, люди, которые будут любить, радоваться, страдать... Здесь нет поэзии бурной, шумной — эти стихи исполнены спокойствия, ясности, стихи, какие все пишут или хотят писать, стихи о семье, о домашнем очаге, о личной жизни; поэзия сокровенного мира души. Здесь автор бросает с тихой грустью взгляд на то, что есть, а главное, на то, что было...»¹.

Чувствовать как все и выражать эти чувства лучше всех — вот чего хотел теперь Гюго. И ему это удалось. В «Осенних листьях» читатели нашли чудесные стихи о детях, каких еще никто не писал, стихи о милосердии, о семье. Некоторые из них, например «Когда рождается ребенок...» или «Скорей давайте, богачи, ведь подаяние — сестра молитвы...», все знают наизусть. И это несколько притупляет силу впечатления, но, как те статуи святых, которые отполированы поцелуями верующих, они стерлись лишь потому, что были почитаемы. Тихая грусть, которая запечатлелась на всем этом сборнике, поразила и растрогала читателей 1831 года. Да, действительно, это осенние листья, увядшие листья, готовые упасть; верно названы эти стихи, полные разочарования, строфы, в которых поэт плачет над самим собою: «Один за другим улетают прекрасные годы. И уносят радость с собою, уносят с собой любовь...» «Да что ж это! — думали читатели. — Ему еще нет и тридцати, а какие мрачные у него мысли!»

Сегодняшний закат окутан облаками,
И завтра быть грозе. И снова вечер, ночь;
Потом опять заря с прозрачными парами,
И снова ночи, дни — уходит время прочь².

¹ Виктор Гюго. Предисловие к сборнику «Осенние листья».

² Виктор Гюго. Закаты («Осенние листья»). — Перевод В. Иванова.

Религиозные верования, которые несколько лет были для него поддержкой, теперь поколеблены зрелищем того, что происходит в мире. Поднявшись на гору, поэт предается размышлениям:

Я вопрошал себя о смысле бытия,
О цели и пути всего, что вижу я,
О будущем души, о благе жизни брэнной,
И я постичь хотел, зачем творец вселенной
Так нераздельно слил, отняв у нас покой,
Природы вечный гимн и вопль души людской¹.

Только детская вера его дочери Леопольдины еще связывает отца с его былыми настроениями, и для этой серьезной девочки с худеньким личиком он пишет стихотворение «Молитва обо всех»:

О нет, не мне, мой ангел милый,
Молиться за других людей,
За тех, чей дух ослаб унылый,
За тех, кто хладной взят могилой —
Опорой многих алтарей!

Не мне, в ком веры слишком мало,
О человечестве скорбя,
За всех молиться! Пусть сначала
Хотя бы рвения достало
Мне помолиться за себя².

Осенние листья, преждевременно осень пришла. Душа живущего меняется. «В путь двинувшись, блуждает человек, сомнения охватывают ум. И остаются на колючках вдоль дорог — от стада — клочья шерсти, а от человека — обрывки добродетели людской». Никто лучше Сент-Бёва не сказал о волнующей красоте и болезненном скептицизме этих стихов: «Смелая доверчивость юности, пламенная вера, девственная молитва стоической и христианской души, поклонение одному-единственному кумиру, таинственно сокрытому плотной завесой, легкие слезы, твердые речи, врезавшиеся в память, как четкий контур, как энергичный профиль отважного подростка, — все это сменилось горьким и правдивым признанием крушения своей жизни, невыразимой грустью прощания с быстролетной юностью, с ее волшебными дарами, которых уже ничто не возместит; вместо

¹ Виктор Гюго. Что слышится в горах («Осенние листья»). — Перевод В. Левика.

² Перевод М. Донского.

любви к женщине теперь любовь отца к своим детям; новые радости, которые дарят ему эти шумные создания, играющие, бегающие перед ним, но и омрачающие тенью заботы отцовское чело и унынием его душу; слезы... теперь уже почти невозможно молиться за себя, трудно на это осмелиться, да и веришь в Бога очень смутно; головокружительные мечты, но стоит предаться им, перед тобой разверзается пропасть; темнеет горизонт, пока ты поднимаешься в гору; сдают силы, и ты смиренно покаешь головой, словно признаешь, что судьба тебя победила; торопливо бегут слова, их много, много, как будто срываются они с уст сидящего у огня старца, рассказывающего о своей жизни, между тем в тональности стихов, в ритмах столько разнообразия, столько прелести, столько искусства, четкости и мужественной силы, и сквозь слова слышны быстрые аккорды, как будто пальцы по привычке пробегают по струнам, но звуки эти не искажают глубокого и строгого основного тона сетований».

Сент-Бёв знал тайную причину этих упорных, монотонных сетований и удивлялся, а быть может, завидовал, видя, что поэт приемлет и тоску и сомнения с мрачным и возвышенным философским спокойствием. «О какой странной душевной силе это свидетельствует!..— говорит он.— Нечто подобное можно найти в мудрости царя Иудейского». Он прав. В этом спокойствии, без надежды и без возмущения, есть некоторое сходство с величавой тоской Екклезиаста. Но у Гюго основой смирения был поэтический гений. Как небесные аккорды «Реквиема» поднимают человеческие души над скорбью, подчиняя погребальные вопли музыкальной гармонии и чистоте, так и Виктор Гюго, утратив великое счастье любви и великую радость дружбы, преодолел горечь, излив ее в стихах совершенной и вместе с тем простой формы. Не менее удивительно и то, что Сент-Бёв сумел преодолеть свою злобу и признал совершенство прекрасного произведения искусства. В этих печальных стихах грусть об умершей дружбе, о любви, тронутой тлением, и светлое сознание, что краски осени еще богаче, чем краски весны, и что искусство, подобно природе, обращает изменчивое в вечное.

На экземпляре «Осенних листьев», подаренном Сент-Бёву, Гюго написал: «Верному и доброму другу, несмотря на дни молчания, которые, подобно непреодолимым рекам, разделяют нас».

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ЛЮБОВЬ И ПЕЧАЛЬ ОЛИМПИО

Глава первая

I

КОРОЛЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Ненависть низвергается на меня потоком...

Виктор Гюго

В 1832 году Виктору Гюго было только тридцать лет, но постоянная борьба и горести уже сказались на нем. И стан и лицо его отяжелели. Куда девалась ангельская прелесть, которой он всех пленял в восемнадцать лет, и победоносный вид, отличавший его в первые дни брака! Облик стал скорее царственным, чем воинственным; взгляд зачастую был задумчивым, обращенным внутрь; но нередко к поэту возвращались веселость и очаровательное выражение жизнерадостности. Гюго однажды написал, что у него не одно, а целых четыре «я». *Олимпио* — лира; *Герман* — любовник; *Малья* — смех; *Гьерро* — битва. И конечно, он любил битвы, однако ему нужно было чувствовать поддержку. Но где найдешь верных друзей? Сент-Бёв наблюдал и подстерегал. Ламартин всегда держался несколько отчужденно, и к тому же с 1832 по 1834 год он путешествовал на Востоке. В кружке романтиков чувствовали, что Гюго превзошел их всех, и это вызвало там горечь. Сен-Вальри и Гаспар де Понс, так радушно принимавшие у себя Гюго в дни его юности и нищеты, жаловались, что он пожертвовал ими ради новых друзей. Альфред де Виньи, которого Сент-Бёв и Гюго иронически называли «джентльмен», плохо переносил успехи поэта, который прежде был для него «дорогим Виктором». Когда «Ревю де Дё Монд», говоря о Гюго, написал: «Драма, роман, поэзия — ныне все зависит от этого писателя», «дорогой Альфред» возмутился и потребовал, чтобы внесли поправку в это утверждение. Сент-Бёв поклялся тогда Гю-

го, что в своих статьях он больше ни разу не упомянет об Альфреде де Виньи,—обещание это он, конечно, не сдержал, да и не следовало ему давать такое обещание.

Итак, друзья отходят от Гюго, зато врагов у него хоть отбавляй. Гюстав Планш, когда-то настроенный дружески, теперь пишет о нем враждебно; ополчились против него и Низар, и Жанен. Можно этому удивляться, ведь Гюго всегда был добросовестным, честным писателем и услужливым собратом. Но за последние годы его успех перешел все границы, и самолюбие соперников не могло этого перенести. В ту пору, когда Байрона уже несколько лет не было в живых, когда Гете и Вальтер Скотт были на пороге смерти, а Шатобриан и Ламартин умолкли, Гюго с появлением его «Эрнани», «Собора Парижской Богоматери» и «Осенних листьев», бесспорно, был первым писателем мира; это не доставляло другим удовольствия. «Всякая поэзия,—писал Поль Бурже,—казалась тогда бесцветной по сравнению с его поэзией». И в прозе, и в стихах его фраза отличается «смелыми гранями», симметрией бриллианта. До него литературный язык был плоским, он сделал его рельефным, прибегая к выпуклым словам, к резким контрастам света и тени. Но он уж слишком хорошо это сознавал. Пышным цветом расцвела его гордость, уверенность в своих силах. У него появляется что-то вроде «сознания своей божественной миссии», он чтит в самом себе «живой храм».

В предисловии к «Марии Делорм» он посмеялся над теми, кто говорил, что времена гениев прошли: «Не слушай их, юноша! Если бы кто-нибудь сказал в конце XVIII века... что Карлы Великие еще возможны, то все скептики того времени... пожали бы плечами и рассмеялись. И что же! В начале XIX века были Империя и император. Почему же теперь не появится поэт, который по сравнению с Шекспиром был бы тем же, кем является Наполеон по сравнению с Карлом Великим...»¹. Легко угадать, о каком поэте он тут думал и имел право думать, но современники осуждали эту гордыню. Молодой почитатель Гюго, Антуан Фонтане, удивился, когда поэт сказал, что если бы он знал, что ему нечего и стремиться первенствовать, дабы подняться выше всех, то завтра же пошел бы в нотариусы. Мысль тут та же, что и в юношеской его записи: «Я хочу быть Шатобрианом

¹ Виктор Гюго. Марион Делорм (Предисловие).

или ничем», но в пятнадцать лет он это записал в по-тайной своей тетрадке, теперь же говорил это на площади, где такие фразы берут на заметку и разносят повсюду.

«Я этого завистника принимал за друга. А он питал ко мне ненависть, проистекавшую из прежней нашей близости, и, следовательно, был вооружен с головы до ног...» История с Сент-Бёвом весьма своеобразна. В плане литературных отношений он официально оставался союзником Гюго, хотя с некоторыми оговорками; в жизни он предал друга и в свое оправдание ссылался на страсть к его жене. Он больше не бывал в доме, только справлялся, как обстоят дела в «дорогом семействе», — так это было, например, весной 1832 года, когда маленький Шарль заболел холерой — как считали тогда. Но тайком он встречался с Аделью.

Сент-Бёв — госпоже Гюго:

Дорогая моя Адель, как вы были вчера добры и прекрасны! Полчаса, которые мы провели в уголке часовни, оставят во мне вечное и сладостное воспоминание. Друг мой, я не был в этой часовне четырнадцать лет, да, четырнадцать лет тому назад я туда вашел, полный глубокого и умиленного волнения: я был в ту пору очень верующим; как раз в тот год я приехал в Париж... Ах, друг мой, эти четырнадцать лет не пропали зря, — я вновь пришел туда, сидел чуть ли не на том же месте, чуть ли не у той же колонны, все еще сердце мое полно умиления и веры, и я так нежно теперь любим...

Ведь он продолжал в угоду чувствам Адели и по своей природной склонности украшать адюльтер туманным мистицизмом. Эта любовная интрига стала сюжетом его романа «Сладострастие», и, чтобы его написать, он читал нравоучительные произведения. Гюго строго следил за своей женой, но наступательная тактика всегда торжествует над обороной. И у Сент-Бёва в «Книге любви» мы читаем такие строки:

Пускай ревнивец бдит, как злобный и угрюмый,
Подстерегающий свою добычу тать;
Я терпеливее, и я дождусь победы,
Хоть месяцы, года мне доведется ждать,
Тебе же — с ним сносить и горести и беды¹.

Принимал ли Сент-Бёв уже в том году Адель у себя дома или только в следующем? Неизвестно. Хотя офи-

¹ Перевод И. Шафаренко.

циально числилось, что он проживает в квартире матери — сначала на улице Нотр-Дам-де-Шан, а потом на улице Монпарнас, — он, спасаясь от службы в Национальной гвардии и желая быть более свободным, жил в Коммерческом проезде, в жалкой гостинице, именованной «Руан», снимал там под чужим именем каморку за двадцать три франка в месяц.

Лето супруги Гюго, как и в прошлом году, провели в замке де Рош. Мадемуазель Луиза Бертен музицировала, пела романсы «*Никогда в сих прекрасных краях...*» или «*Феб, твой час настал*»; из «Собора Парижской Богоматери» она почерпнула сюжет для оперы «Эсмеральда», требовала от Гюго, чтобы он сочинил стишки для ее произведения. Дидина, кроткая, прилежная и веселая девочка, радовала родителей и очаровывала хозяев усадьбы. Кругом был светлый рай: «Не слышно шума городского, не слышно голосов людей...» Эта тишина была приятна поэту, — он тогда избегал людей «по склонности к одиночеству и по меланхолическому складу характера». А как же Адель? «Моя жена, — писал Гюго, — ходит пешком по два лье в день и заметно полнеет...» Женщина, которая ходит по восемь километров в день и чувствует себя прекрасно, конечно, совершает эти путешествия по каким-нибудь сентиментальным причинам. Возможно, что эти благодетельные прогулки приводили Адель в маленькую церковь деревни Бьевры, где она встречалась с Сент-Бёвом.

В статье «Интимный роман» Сент-Бёв писал: «Каждая женщина, созданная для любви, способна полюбить второй раз, если первая любовь пришла к ней очень рано. Первая любовь, любовь восемнадцатилетней девушки, если даже предположить, что чувство это было очень горячим и развивалось при самых благоприятных обстоятельствах, не длится дольше, чем до двадцати четырех лет, а затем наступает перерыв, сердце погружается в сон, в течение которого подготавливаются новые страсти...» Урок для Адели. Однако Сент-Бёв продолжал печатать лестные для Гюго статьи, переписывался с ним по поводу протеста против правительства, когда оно объявило военное положение, и в конце письма ставил: «Любящий вас». Гюго же подписывался: «Ваш брат Виктор». Оба хорошо знали истинную цену этой равной монеты дружбы.

В октябре 1832 года супруги опять сменили местожительство. В июле они сняли большую квартиру на тре-

тьем этаже дома № 6 на Королевской площади, в старинном особняке, построенном в 1604 году; окна выходили на площадь, одну из красивейших в Париже, вокруг площади зелень, дома из розового кирпича, с мансардами и высокими шиферными кровлями. Квартирная плата оказалась высокой — полторы тысячи франков, но комнаты были огромные, и, когда Гюго, всегда обожавший старинные вещи, обил стены красным штофом, поставил мебель готического стиля или эпохи Возрождения, украсил эти покои старинными потрескавшимися вазами и тарелками, венецианскими люстрами и картинами своих любимых художников, они и впрямь приняли королевский вид.

На следующий год, летом, супруги Гюго устроили прием, пригласив на него и друзей и недругов (зачастую сочетавшихся в одном и том же лице); ярко освещенные гостиные, где в амбразурах раскрытых окон смеялись красивые молодые дамы с обнаженными плечами, представляли восхитительное зрелище. Салон на Королевской площади затмил салон Арсенала. Адель Гюго, гордая и эффектная красавица, умела принять лучше, чем добродушная госпожа Нодье, и блеском своих очей возмещала скудость угощения. Гостям «полагалось жаждать духовных усад, позабыв о пище телесной». Что поделаешь? У Гюго было на иждивении девять человек, он тратил пятьсот франков в месяц только на стол для семьи; кроме того, стараясь облегчить судьбу Эжена, он платил за его содержание, а ведь только своим пером он мог добывать средства на жизнь. Что касается Сент-Бёва, то, при всей своей бедности, он, как только Гюго переселился на Королевскую площадь, снял неподалеку комнату в гостинице «Сен-Поль». Адель могла, не утомляясь, ходить туда пешком.

Хотя и площадь и апартаменты имели барский вид, они находились в центре простонародного района. «Мы бедные мастеровые из предместья Сент-Антуан», — любил говорить Гюго. Что это? Поза? Может быть, но также и сознательная позиция. Изведав бедность, он понимал и жалел тех, кто страдал из-за нее. Успех не заглушил в нем совести. В 1828 году он опубликовал «Последний день приговоренного к смерти», в 1832 году напечатан был рассказ «Клод Ге». Та же тема — несправедливая кара. Те же нападки на законы общества, где царят богатые и власть имущие. Воспоминания о преследуемых, встреченных им в детстве, не забывались; он

мечтал написать большой роман об «отщепенцах», особенно о каком-нибудь преступнике, гонимом служителями законов, которого, однако, по справедливости можно оправдать. Уже и тогда он обдумывал образ благородного епископа и делал заметки о монсеньоре Мьолисе, епископе Диньском, святом человеке. Ему хотелось поднимать социальные вопросы в своих произведениях, стать защитником бедняков. Странно, что вместе с тем он стремился составить себе состояние и крепко торговался с книгоиздателями при заключении договоров. Но так ли уж это странно? Ему нужны были деньги, чтобы обеспечить будущее четверых своих детей. Былая нищета научила его весьма тщательно вести свои счета. Впрочем, он все делал на редкость тщательно. Антуана Фонтане, присутствовавшего при том, как он совершает свой туалет, раздражала его манера бриться: «Посмотрели бы вы, с какой невероятной медлительностью он точит бритву, потом четверть часа держит ее под мышкой, чтобы она согрелась, потом приступает к омовению розовой водой и выливает себе на голову целый кувшин...»

Для литератора кратчайшим путем к богатству был, как тогда полагали, театр. Пьеса, выдержавшая пятьдесят представлений с кассовым сбором в две тысячи франков, «давала» сто тысяч франков, из коих автору — двенадцать тысяч, да еще пять тысяч он получал при ее напечатании (пятнадцать тысяч франков за три первых издания «Эрнани»). «Собор Парижской Богоматери» принес Гюго только четверть этой суммы. С другой стороны, Гюго знал, что театр может и должен оказывать моральное и политическое влияние: «Театр — это трибуна. Театр — это кафедра». Любимым сюжетом драмы была для Гюго защита от угнетателей какого-нибудь преследуемого, гонимого человека. Сказывались смутные воспоминания детства. А среди всех причин, ставивших человека вне общества, самой несправедливой Гюго считал ту, которая проистекает уже из самого факта его рождения (Дидье, герой пьесы «Марион Делорм», — незаконнорожденный) или из его физического уродства (таким он изобразил горбуна Трибуле в драме «Король забавляется»).

Замысел пьесы «Король забавляется» возник у Гюго в Блуа. Трибуле, шут короля Франциска I, родился в доме, находящемся недалеко от особняка генерала Гюго. О существовании этого шута Виктор Гюго узнал из «Истории Блуа», которую нашел в отцовском доме; он

не оставил ничего из подлинных его приключений, но, сделав Франциска I центром пьесы, создал мелодраму, в которой шут Трибуле, исполнявший обязанности сводника при распутном короле, оказался наказанным, ибо августейший повеса осквернил его отцовскую любовь. Интригу пьесы, сотканную из невероятных совпадений, скрашивали действительно драматические эффекты, патетические тирады и вкрапленные кое-где яркие комические черточки. Сент-Бёв, присутствовавший при читке пьесы в Комеди-Франсез, сделал кисло-сладкое замечание, что у него «есть свое особое мнение об этом виде драмы и степени ее жизненной правды, но пьеса, несомненно, произведет впечатление, ибо в ней проявлен огромный талант и она блещет прекрасными стихами...». А в своей тайной записной книжке он говорит: «Гюго некогда создал такую высокопарную фразеологию, что она подняла его ввысь, точно воздушный шар. Сперва он попал в плен к своей высокопарности, был жертвой своей риторики, а теперь она стала искренней».

Премьера драмы «Король забавляется» состоялась 22 ноября. Хотя вольнолюбцы и «Молодая Франция», все помощники Теофиля Готье, все помощники Девериа были на посту, публика довольно холодно принимала пьесу. Однако тирада Сен-Валье обеспечила успех первому акту, в амфитеатре уже топали ногами и пели: «Академия мертва — миронтон-тон-тон-миронтен...» Но конец второго акта, где шут помогает придворным похитить его дочь, полунаугую Бланш, позволил зрителям в ложах, возмущенным нападками на Коссе, на Монморанси и другие аристократические фамилии, завопить о безнравственности. «Иль мать вас не рожала? Иль с конюхом она в постели полежала? Ответьте, выродки!» — кричал им Трибуле. Это высшему свету не понравилось. Когда занавес опустился в последний раз, поднялась такая буря, что актеру Лижье с трудом удалось объявить с прощениума имя автора. На следующий день министр, граф д'Аргу, «учитывая, что во многих пассажах оскорбляется нравственность», запретил пьесу к дальнейшей постановке и к опубликованию. Истинной причиной запрещения было то, что королевский двор не пожелал допустить, чтобы монархию, хотя бы монархию времен Франциска I, бичевали на сцене.

Виктор Гюго подал жалобу в суд, его энергично поддерживал Эжен Рандюэль, заключивший с ним договор на издание пьесы.

Виктор Гюго — Эжену Рандюэлю:

«Я полагаю, дорогой мой издатель, что для вас, для меня, для откликов на книгу и на судебный процесс важно, чтобы накануне его обо всем этом деле было широко оповещено в газетах. По-сылаю вам семь маленьких заметок и очень прошу воспользоваться всем вашим влиянием для того, чтобы завтра они появились в семи различных газетах оппозиции...»

Среди прочих талантов у Гюго была способность обращать всякую немилость на пользу своей известности. В дневнике Антуана Фонтане записано: «Пьеса «Король забавляется» запрещена правительством. Вот-то оказали Виктору услугу! Иду сейчас к нему. Он хорошо играет свою роль: у него, мол, утащили из кармана двадцать тысяч франков...»

Коммерческий суд объявил себя неправомочным. Истец на заседании произнес страстную речь, обвиняя правительство Луи-Филиппа в том, что оно жульническим способом отнимает одно за другим те права, которые были дарованы после Июльской революции. Наполеон, говорят нам, тоже не чтит гражданских свобод. Конечно, но он делал это не по-воровски. «У льва,— заявил Гюго,— нет лисьих повадок. В те времена у нас отнимали свободу, это верно, но разворачивали перед нами великолепное зрелище... Тогда существовало управление цензуры, наши пьесы снимали с афиш, но на все наши жалобы нам могли ответить: „Маренго! Иена! Аустерлиц“...»¹ Надо вспомнить, что истец переписывался тогда с Жозефом Бонапартом и говорил ему в письмах, что, если бы герцог Рейхштадский гарантировал гражданские свободы, у него не было бы более верной поддержки, чем Виктор Гюго.

Глава вторая КНЯГИНЯ НЕГРОНИ

Гюго обладал своего рода евангельским милосердием, заставлявшим его умиляться над тем, что ему открывала Жюльетта из своего прошлого... Он был в этом смысле предшественником толстовских взглядов.

Пьер Льевр

Сын генерала Гюго никогда не боялся битв. Запрещение драмы «Король забавляется» не только не срази-

¹ Виктор Гюго. Заметки о «Мариион Делорм».

ло его, но вызвало у него желание немедленно взять верх. У него уже была готова трехактная пьеса в прозе «Ужин в Ферраре», сюжет которой был навеян чтением «Поэтической Галлии» Маршанжи. Там он почерпнул мысль изобразить веселое пиршество знатных сеньоров, которые ужинают у своего врага, решившего их умертвить, и нарисовать, как с последней переменной блюд входят монахи, чтобы принять предсмертную исповедь пирующих. Ужас, ворвавшийся в дверь пиршественного зала, мольбы умирающих, сменившие разгульные песни бражников, черное и белое — эти контрасты увлекали его. Не раз в своей жизни (полиция, арестовавшая Лагори за столом; буйное сумасшествие Эжена за свадебным обедом) он слышал «грозные шаги командора». Он переделал по-своему историю, рассказанную Маршанжи, и героиней ее стала у него Лукреция Борджа. Нарисовать эту женщину со всеми ее пороками, а затем простить за ее материнскую любовь, как он возвысил образ Трибуле отцовской любовью, — такая задача вполне могла его пленить, и драма была написана в течение двух недель. Откровенно говоря, в авторском замысле не было новизны. «Марион Делорм», «Король забавляется», «Лукреция Борджа» — это три урожая с одного посева, перепевы одного сюжета: всепоглощающее великое чувство спасает человека, погибшего, погрязшего в пороках. Драмы Гюго не стоят его лирической поэзии. Но у сцены своя, особая эстетика; в те годы мелодрама торжествовала над трагедией, и было естественно, что «Лукрецию Борджа» поставили в том самом театре, где создана была «Нельская башня» Дюма.

Это был театр Порт-Сен-Мартен; у директора театра Гареля состояла возлюбленной мадемуазель Жорж, знаменитая актриса, перебежчица, изменившая Комеди-Франсез, окруженная ореолом воспоминаний о наполеоновской Империи (она была любовницей Наполеона); она уже приближалась к пятидесяти годам, но жаждала ролей любовниц и была еще способна играть их как на сцене, так и в жизни. Виктор Гюго прочел свою пьесу сначала для мадемуазель Жорж у нее в доме, затем в фойе театра Порт-Сен-Мартен для Фредерика Леметра. На этой второй читке присутствовала молодая и красивая актриса Жюльетта Друэ, очень желавшая получить маленькую роль княгини Негрони. «В пьесах господина Виктора Гюго маленьких ролей не бывает», — писала она Гарелю. Гюго не был с ней знаком, только видел ее

мельком на балу в мае 1832 года — «белоснежную, черносую, молодую, высокую, пленительную», сверкающую драгоценностями, одну из самых блестящих красавиц Парижа. Он не осмелился тогда с ней заговорить:

Она, восторгов дань приема величаво,
Бросая в жар сердца, дурманя и пьяня,
Казалась птицею, возникшей из огня...

Ты подойти не смел — страшится искры пороха!
Но ты следил за ней, скрывая страсть во взорах¹.

Во время читки он несколько раз встречал ее взгляд, угадывал в нем симпатию и влечение, на сердце у него было тогда одиноко и грустно; сразу же они были очарованы друг другом. Он много говорил о ней, расспрашивал, и вот что ему сообщили. Мадемуазель Жюльетте двадцать шесть лет. Она родилась в 1806 году в Фужере, ее отец — Жюльен Говэн — был портным, в 1793 году он скрывался, ушел в банду шуанов. Жюльетта (настоящее ее имя — Жюльенна) осталась сиротой еще в младенчестве и была доверена заботам ее дяди, младшего лейтенанта Рене Друэ, канонира береговой артиллерии в Бретани. Этот славный человек не приневоливал ее учиться в школе, она росла дичком, разрывала свои платья в зарослях кустарника, но в десятилетнем возрасте он поместил ее в Париже в пансион при монастыре бенедиктинок общины Вечного поклонения, где у него были две родственницы. В пансионе Жюльетта была любимицей монахинь, ее очень баловали, но дали хорошее воспитание. По юношеской неосторожности она уже готова была произнести монашеский обет, если бы не вмешательство весьма мудрого архиепископа парижского монсеньора де Келана, который заметил однажды при посещении монастыря эту милостивую девицу, расспросил ее и, убедившись, что она не создана для монастырской жизни, освободил ее.

Поразительная красота — «роковой дар богов», поразительная стройность привели ее в 1825 году, в возрасте девятнадцати лет, путями, оставшимися неизвестными, в мастерскую скульптора Джеймса Прадье. Когда Жюльетта познакомилась с ним, ему было тридцать шесть лет. Он происходил из семьи женевских гугенотов, но по условиям своей профессии и по природным на-

¹ Виктор Гюго. К Ол... («Внутренние голоса»). — Перевод В. Левика.

клонностям стал романтическим повесой с пронзительным взглядом темных глаз, длинными волосами до плеч; одевался он крикливо: камзол, сапоги с кисточкой, облегающие панталоны, мушкетерский плащ. В его мастерской одни фехтовали, другие играли на фортепьяно. Он был человек не злой, но чувственный и ветреный. Жюльетта позировала ему для обнаженных статуй в более чем смелых позах, и между двумя сеансами он сделал ее матерью; родившуюся дочку Клер он не признал официально, но никогда и не отрекался от нее. В 1827 году он был принят в Академию, стал мечтать о выгодной женитьбе, а Жюльетту пристроил в театр, давал ей довольно умные советы в области артистического искусства и другие, житейские, весьма трезвые, по части искусства обольщать и удерживать при себе поклонников. «Мои советы никогда не будут продиктованы страстью, и потому можно считать их бескорыстными. Дружба, которую я подарил тебе, не угаснет в моем сердце, пока ты будешь ее достойна...»

Жюльетта играла в Брюсселе, а затем и в Париже маленькие роли и имела успех, которым обязана была больше своей красоте, чем сценическому таланту. У нее не было артистической подготовки, не было опыта, и, как она писала Прадье, она «получала не ангажементы, а только квитанции из ломбарда на заложенные вещи». Она много плакала и боялась, что не сделает карьеры. «Черт побери! — отвечал ей Прадье. — Перестань хныкать... Считай себя примадонной, и ты ею будешь... Старайся нравиться, особенно актрисам, ибо они отъявленные дьяволицы во всех странах... Разыгрывай комедию даже вне театра». Подписывался он так: «Твой преданный друг, любовник и отец».

Цинизм, царивший в мастерских художников, развратил Жюльетту, и она заводила себе любовников, которые, однако, не улучшили ее мнения о мужчинах; был среди них красивый итальянец пятидесяти трех лет Бартоломео Пинелли, был бедняк декоратор Шарль Сешан, был бессовестный журналист Альфонс Карр, который пообещал на ней жениться и занял у нее денег, и наконец, появился богатейший князь Анатолий Демидов, красивый, бешеный сумасброд, не расстававшийся с хлыстом; в 1833 году этот покровитель Жюльетты роскошно обставил для нее великолепные апартаменты на улице Эшикье. Словом, Жюльетта повела жизнь куртизанки, но все же она сохраняла свежесть чувств, бретонскую

склонность к мечтаниям, страстную любовь к дочери, фроткий взгляд бархатных глаз, «в котором минутами сквозила ее небесная душа», веселость и очаровательное остроумие.

Позднее Виктор Гюго начертил в записной книжке Жюльетты: «В тот день, когда твой взгляд впервые встретился с моим взглядом, солнечный луч протянулся из твоего сердца в мое, словно свет зари, упавший на руины». По правде сказать, каждый из них, сам того не ведая, увидел в другом существо, потерпевшее крушение. Потеряв Адель, Гюго испытывал потребность в новой любви, которая вернула бы ему веру в себя; Жюльетта извела только чувственность, а между тем она с шестнадцати лет мечтала стать «страстно любящей подругой честного человека». Когда Альфонс Карр, распутный любовник Жюльетты, вздумал таскать ее с собою в злачные места, она ответила ему: «Мне кажется, что мою душу обуревают желания не менее, а в тысячу раз более пылкие, чем желания плотские... Вы дарите мне утехи, за которыми следуют усталость и стыд. А я, наоборот, мечтаю о спокойном, ровном счастье. Послушайте, гордость не позволяет мне лгать: я вас оставляю, брошу вас, покину и землю и даже жизнь, если найду человека, чья душа будет ласкать мою душу — так же как вы любите и ласкаете мое тело...»

Во время репетиций «Лукреции Борджа» она грациозно заигрывала и кокетничала с Гюго. Он держался настороже. Всегда ли он хранил супружескую верность? Неизвестно; но занятая им позиция, его поэзия, воспевавшая радости брака и отцовства, требовали от него верности. Он терпеть не мог «закулисных дрязг», опасался актрис и держал себя с ними «почтительно и осторожно». Помня бурные стычки на спектакле «Король забавляется», он подготовил премьеру «Лукреции» с тщательностью искусного полководца. На читку пьесы были созваны «представители боевых защитников „Эрнани“». Премьера спектакля стала триумфом.

Успеху в значительной мере способствовали мадемуазель Жорж и Фредерик Леметр, но и Жюльетта Друэ, несмотря на ее мимолетное появление, очаровала публику. «Ей полагалось произнести лишь несколько слов,— говорит Теофиль Готье,— всего-навсего пройти по сцене. Но при этом кратком и немногословном выходе она сумела создать восхитительный образ, была настоящей итальянской княгиней с пленительной и смертоносной

улыбкой...» Что касается автора, он с удовольствием прислушивался к мнению публики, ибо он и сам его разделял: «Какая она хорошенькая, какая красивая, какая стройная, какие великолепные плечи, очаровательный профиль, что за прелестная актриса, сколько в ней достоинства! Какая живость чувств! В ее голосе и в манерах есть сходство с госпожой Дорваль, но гораздо больше естественности и души. Прибавить ей еще год опытности — и она достигнет совершенства, будет нашей лучшей жанровой актрисой. Какая мимика, сколько души...»

Гюго ошибался не в суждении о красоте актрисы — она и в самом деле была восхитительна, — но относительно ее таланта. Жюльетта Друэ была неумелая актриса, потому что «переигрывала». Но любовь — плохой судья, а Гюго был влюблен. Вечер за вечером он ходил в театр Порт-Сен-Мартен полюбоваться в короткой сцене прекрасными черными глазами, всегда устремленными в его глаза. Соблазн был велик. Уже давно Адель упорно отвергала его ласки. Под маской молодого победителя он таил тайную и жгучую боль.

Печаль сидит во мне. Она,
Как скверный гость, меня терзает.
Я башня, что на вид сверкает,
Внутри — угрюма и темна¹.

Каждый вечер он навещал Жюльетту в ее артистической уборной, давал ей советы, упивался красотой, тянувшейся к нему. Через четыре дня после премьеры, 6 февраля, он сказал ей: «Я люблю тебя!» Она так ждала, так хотела услышать это. В ночь с 16 на 17 февраля, в субботу, на масленицу (они всю жизнь думали, что это было во вторник, но ошибались либо в дате, либо в дне недели), автор и актриса должны были после «Луcreции Борджа» поехать в другой театр на бал. Но они решили провести эту ночь у Жюльетты, которая еще жила тогда на бульваре Сен-Дени, в ожидании того дня, когда будет готово ее «гнездышко» на улице Эшикье.

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго:

«Виктор, приезжай за мной нынче вечером к госпоже Крафт. Из любви к тебе наберусь терпения, буду ждать тебя. До свидания, до вечера. O-o! Сегодня вечером все свершится. Я отдамся тебе всецело...»

Восемь лет спустя он напомнил ей этот день:

¹ Виктор Гюго. Мадемуазель Жюльетте («Песни сумерек»). — Перевод Г. Кружкова.

Моя любимая, помнишь ты нашу первую ночь? То была карнавальная ночь — во вторник на масленице 1833 года. В ту ночь давали в каком-то театре какой-то бал, на который мы должны были ехать оба. (Прерываю свое послание, чтобы сорвать поцелуй с твоих прекрасных уст, и после этого продолжаю.) Ничто, даже смерть, я уверен, не изгладит во мне это воспоминание. Все часы той ночи проходят в моей памяти один за другим, словно звезды, пролетевшие перед глазами моей души. Да, ты должна была ехать на бал, но ты не поехала, и ты ждала меня. Бедный ангел, мой! Как ты хороша и сколько в тебе любви. В твоей комнате стояла чудесная тишина. А за окнами Париж смеялся и пел, по улице с громкими криками проходили маски. Мы отделились от всеобщего празднества и скрыли в темноте ночи собственный сладостный праздник. Париж упивался хмельной, поддельной радостью, а мы — настоящей. Никогда не забывай, мой ангел, тот таинственный час, который изменил твою жизнь. Ночь 17 февраля 1833 года была символом, образом великой и торжественной перемены, совершившейся в тебе. В эту ночь ты оставила где-то там, на улице, где-то далеко от себя сутолоку, шум, поддельное ликование, толпу, чтобы вступить в мир тайны, уединения и любви.

Виктор Гюго был опьянен. Адель, столь желанная когда-то, могла дать ему только боязливую покорность новобрачной; а тут вдруг у него появилась возлюбленная, прекрасная, как в сказке, «с глазами ясными и сверкающими, как алмазы, с чистым, светлым челом... ее шея, плечи и руки поражают чисто античным совершенством линий; она достойна вдохновлять ваятелей и быть допущенной на соревнование красавиц вместе с молодыми афинянками, когда они сбрасывали с себя покровы перед Праксителем, замыслившим изваять Венеру...». И эта женщина с «упругой бретонской грудью», красотой тела не уступавшая самым прекрасным античным статуям, была так податлива, так искусна в любовных утехах. В эту «священную ночь» она открыла тридцатилетнему поэту, что такое наслаждение, а ведь он был наделен чудесной способностью и вкушать и дарить его и, вступив в брак двадцатилетним юношей, знал только супружеские объятия. Любовные ласки — искусство, так же как поэзия. Жюльетта была тут виртуозом.

Разговаривать с Жюльеттой было вторым очарованием. Ей было что рассказать — Бретань, детство босоногой школьницы, монастырь, нищета; и столько ей хотелось услышать от него. Жизнь Жюльетты была трудной и бурной, писатель узнавал из ее рассказов много любопытного. «Я из простонародья», — гордо говорила она. Однако у «барона Гюго», несмотря на некоторое его тщеславие и наивные потуги на аристократизм, было горячее желание поближе узнать простой народ. А кроме

того, поэт всегда чувствует потребность быть понятым. Стоило ему написать стихи для Жюльетты, она приняла их с радостью, куда более горячо, чем Адель. Супругу, по-видимому, не интересовали ни рукописи, ни черновики произведений Гюго. Жюльетта, «прирожденный коллекционер», благоговейно сохраняла всё. Она придавала острый вкус славе, которая сама по себе довольно пресна. Этим она и заслужила прекрасные дарственные надписи: на экземпляре восьмого издания «Восточных мотивов» Гюго написал: «Тебе, моя красавица! Тебе, любовь моя!» На экземпляре «Гана Исландца», выпущенного четвертым изданием в мае 1833 года, стоят следующие стихотворные строки:

В своих мечтах пари, не слушай, не смотри,
Как за окном Париж бушует до зари;
Услышь мой вздох немой и мой напев услышь,
Пока ты мирно спишь, я здесь пою в тиши.
Все объяснит тебе легчайший вздох души,
А не горлающий Париж.

Для Гюго после года унижительных мук эта любовь была возрождением. Сначала ему было страшно завести себе любовницу, проводить у нее ночи, — ведь он был поэт домашнего очага и семьи. Потом он стал гордиться этой связью. Он говорил о своей победе всем и каждому, даже Сент-Бёву, и тот насмешничал: «Гюго выставляет себя передо мной человеком, у которого только один недостаток: слишком большое увлечение женщинами. Он заявляет, что нисколько не думает о славе. А ведь у нас, у каждого, всегда есть два недостатка: в одном мы признаемся, другой скрываем...» Разумеется, весь Париж толковал об этом приключении, и некоторые благочестивые друзья, например Виктор Пави, тревожились. Но Гюго хотелось верить, что такое большое счастье не может быть преступным.

Виктор Гюго — Виктору Пави:

«Я никогда не совершал столько грехов, как в этом году, и никогда не был лучше, чем сейчас. Право, я стал гораздо лучше, чем во времена моей непорочности, о которой вы сожалеете. Прежде я был непорочен, зато теперь снисходителен к людям. Это большой прогресс, ей-Богу. Рядом со мной — моя добрая, дорогая подруга, ангел, который это тоже знает, вы ее почитаете так же, как я, а она меня прощает и любит...»

Этим ангелом всепрощения оказалась Адель. По правде сказать, ангельское милосердие давалось ей лег-

ко. Как ей было не простить? Раз она не желала больше быть его женой, могла ли она требовать от мужа супружеской верности? К тому же семейная жизнь продолжалась. Дидина писала Луизе Бертен:

«Миленькая Луиза, как давно я тебя не видела!. Тетечка Жюли (Фуше) приехала из монастыря... Тото и Деде остригли... Жюли говорит, что она не любит узурпаторов; она ненавидит Луи-Филиппа». А грешник Гюго делает приписку: «Простите мне, мадемуазель Луиза, что я воспользовался пустым местечком, которое мне оставила Кукла... А в несчастном нашем Париже по-прежнему очень скучно. Право, пожалеть можно о том лете, когда были бунты, и о том лете, когда была холера... Я целые дни роюсь в своем старом хламе, разыскиваю, из чего можно составить два тома «Литературной смеси» (весьма смешанной)... По вечерам мы с женой ходим прогуляться по берегу реки в сторону Рапе...»

Идиллическая картина. Семейство в духе Грёза.

Когда Адель, как и каждое лето, уехала с детьми в усадьбу Рош, в долину Бьевры отправился и Сент-Бёв и бродил в окрестностях. «Раз благородный твой супруг похищен Фриной», — писал он в стихотворении, смело посвященном *Адели*,

Преображается и блещет все вокруг,
Красою новою сверкают лес и луг,
И разрослась для нас дубовая аллея,—
Для нас! Ведь стало вдруг в тюрьме твоей светлее,
Ведь он, ревнивец твой, обидчивый гордец,
Он сам в силки любви попался наконец!
Он, что ни день, готов лететь к предмету страсти,
А той порою мы, ловя секунды счастья,
В соседний лес летим с не меньшей быстротой...¹

Лишь только Гюго уезжал из Бьевры в Париж, Адель совершала пешие прогулки, встречалась на дороге с Сент-Бёвом, который нанял на лето экипаж, и они были счастливы, насколько могли. Но их любовь с самой ее зари была сумеречной. «Она сливается, — писал Сент-Бёв госпоже Гюго, — с тускнеющими, вечерними тонами света в тех церквах, куда мы с вами ходим... Любви этой привычна скорбь в самый разгар счастья. Я всегда был наделен малой способностью надеяться; я всегда чувствовал отсутствие чего-либо, чувствовал помехи во всем решительно; мне всегда немножко недоставало солнца даже в погожую пору...»

¹ Сент-Бёв. Книга любви.— Перевод М. Ваксмахера.

Тем временем Виктор Гюго в Париже привел Жюльетту в квартиру на Королевской площади, и на следующий день она написала ему:

Как было мило с вашей стороны, что вы открыли мне двери своего дома; право, это значит для меня гораздо больше, чем удовлетворенное любопытство, и я благодарю вас за то, что вы показали мне, где вы живете, где любите, где думаете. Но скажу вам откровенно, мой дорогой, мой обожаемый, что из этого посещения я вынесла чувство грусти и ужасной безнадежности. Теперь я гораздо больше, чем прежде, чувствую, как я разлучена с вами, до какой степени я для вас чужая. Вы в этом не виноваты, мой бедненький, любимый мой; и я тоже не виновата, но уж так получилось; было бы бессмысленно приписывать вам больше причастности к моим бедам, чем это есть на самом деле, но я могу и без этого сказать, дорогой мой, что считаю себя самой ничтожной женщиной. Если вам хоть немного жаль меня, помогите мне выйти из того унижительного положения, в котором я нахожусь. Помогите мне подняться, ведь поза коленопреклоненной рабыни мучительна и для души и для тела. Помогите мне выпрямиться, мой дорогой ангел, мне так хочется верить в вас и в будущее! Прошу вас, прошу вас.

Искреннее самоуничижение. На свою беду Жюльетта некогда стала куртизанской и, видя в мужчинах только цинизм и животное чувство, считала в простоте душевной вполне естественным требовать хотя бы роскоши от какого-нибудь князя Демидова и ему подобных. Но вот она полюбила требовательного повелителя, презиравшего всякую продажность, не допускавшего и мысли о дележе и так страдавшего из-за своей ревности, что он должен был искать уверенности. Он любил Жюльетту любовью «полной, глубокой, нежной, пламенной, неистощимой» и поэтому хотел, чтоб она была не только красива, но и чиста. А у нее было лишь одно средство существования — богатые покровители; в театре она зарабатывала очень мало, на иждивении у нее была дочь Клер. При всей своей любви она не могла решиться перевернуть свою жизнь. Она только что переехала в прекрасную квартиру на улице Эшикье; несомненно, она продолжала принимать у себя того, кто окружил ее роскошью, — дикаря Демидова и ему подобных. Но за это Виктор Гюго обращался с нею не лучше, чем Дидье с Марион Делорм, считал ее падшей женщиной. Бальзак посмеялся бы над ним. Но Гюго словно переживал в жизни одну из написанных им драм. Иногда, не стерпев «оскорбительных подозрений» (вполне законных), Жюльетта пыталась порвать с Гюго; она убегала, но

снова возвращалась к своему грозному судье и обожжаемому любовнику, умоляла его «возродить святой силой любви все хорошее и благородное, что было в ее душе».

Гюго готов был простить ее, если она порвет со своим прошлым. Она наконец покорилась и сразу стала очень бедной. В январе 1834 года она заложила в ломбард «четыре дюжины батистовых вышитых сорочек, три дюжины батистовых сорочек с кружевами, двадцать пять платьев, из которых два — декольтированных, тридцать нижних вышитых юбок, дюжину вышитых ночных кофт, двадцать три пеньюара, кашемировую накидку с оборками, шаль из индийского кашемира и так далее». Этот тщательно составленный жалкий перечень похож на опись имущества, оставшегося после смерти. Что ж, княгиня Негрони умерла, а Жюльетта Друэ боролась за то, чтобы выжить. Ее осаждали кредиторы, их визиты усиливали ревность Гюго. Жюльетте пришлось признаться ему в некоторой части своих бед, экономный буржуа возмутился; но романтический герой заявил, что возьмет ее долги на себя.

Виктор Гюго — Жюльетте Друэ:

Эти деньги — ваши. Я заработал их для вас. Я решил отдать вам часы бессонной ночи. Вещь, которую просили у меня, нужно было приготовить к нынешнему утру или отказаться. Двадцать раз перо падало у меня из рук, но ведь это нужно было для вас, и я работал. Я не таков, как другие; я помню о роковых обстоятельствах. Даже при вашем падении я смотрю на вас как на существо самое великодушное, самое достойное и благородное, ставшее жертвой судьбы. Уж я-то не присоединюсь к тем, кто оскорбляет несчастную, поверженную женщину. Никто не имеет права бросить в вас камень — кроме меня. Если кто-нибудь посмеет бросить, я заслоню вас...

Поскольку он разлучил ее со всеми, кого она раньше знала, а сам не мог жить возле нее, он дал ей работу. Для писателя естественно стремление сделать любимую женщину своим секретарем. Жюльетта писала Виктору Гюго:

«Почти уже шесть часов вечера; я только что кончила переписывать стихи, которые ты вчера мне дал...»

Она обязана была отдавать ему отчет во всех своих действиях:

«Вчера, когда вернулась домой, читала твои стихи; пообедала, потом записала расходы, потом легла в постель; читала твои газе-

ты; потом уснула, видела во сне тебя, нынче проснулась в восемь часов утра и почти сразу же встала; занялась хозяйственными делами, потом подправила вчерашний свой туалет... В половине третьего села за переписку, как только кончила, пишу тебе.

Вот, господин комендант, рапорт о положении в крепости. Довольны вы? Гвардии капрал вполне доволен. После обеда буду репетировать детей и сосчитаю количество строк в «Осенних листьях»...»

Но Жюльетта получала прекрасные награды. Гюго подарил ей записную книжку в черном роговом переплете с золотой инкрустацией: «Памятка для балов и вечеров», и каждый вечер, перед тем как расстаться с ней и вернуться на Королевскую площадь, он записывал в этой книжечке какую-нибудь банальную и нежную мысль:

«В первый день нового года напишу: «Люблю тебя» — а в последний — «обожаю»... Твои ласки заставляют меня любить землю, твои взоры позволяют мне постигнуть небо... Я определяю твою сущность, мой бедный друг, в двух словах: ангел в аду... Красота — есть у тебя; ум — есть у тебя; сердце — есть у тебя. Если б общество одарило тебя так, как природа, ты вознеслась бы высоко. Однако не огорчайся: общество могло бы сделать тебя только королевой, а природа создала тебя богиней...»

Но как ни любил Гюго свою Жюльетту, он оставался настоящим Дидье и по-прежнему смотрел на эту Марион Делорм как на падшего ангела. Она и сама презирала себя. Серьезность, торжественность чувств, свойственные Гюго, надоедавшие Адели, нравились Жюльетте, тем более что они чередовались с веселостью студента, которая очаровывала ее.

У нее оставалась только одна надежда — театральная карьера. После многих ссор Гюго обещал Феликсу Гарелю отдать театру Порт-Сен-Мартен свою новую драму — «Марию Тюдор». Он хотел, чтобы две женские роли, почти равноценные, были поручены: одна — мадемуазель Жорж, а другая — Жюльетте; первая должна была играть королеву Англии, вторая — Джен, грешную и трогательную невесту оружейника, который прощает ее. Репетиции проходили бурно. Царственная и царствующая в театре мадемуазель Жорж не терпела соперниц. Она, хоть и не была влюблена в Гюго, не могла допустить, чтобы какой-нибудь автор оказывал внимание третьестепенной актрисе. Высокомерная примадонна язвительно жаловалась на посредственную игру своей партнерши. Красавец Пьер Бокаж, которого она взвин-

тила, дерзко вел себя с Жюльеттой на репетициях и, наконец, отказался от роли Гильберта. Он был близким другом Александра Дюма и вовсе не желал успеха Виктору Гюго, — этих двух драматургов романтической школы публика, против их воли, считала соперниками. Стараниями Бокажа, Сент-Бёва и даже Гареля устные отзывы о пьесе перед премьерой были плохими. Говорили, что в ней полно всяких ужасов и преступлений, что на сцену в ней выведен палач, а главное, что Жюльетта Друэ играет отвратительно.

Накануне премьеры директор театра сказал автору: «Мадемуазель Жюльетта просто невозможна. Мадемуазель Ида, любовница Дюма, знает роль и готова сыграть ее». Гюго был слишком влюблен и слишком справедлив для того, чтобы уступить. Гарель, разозлившись, отказался в последнюю минуту выдать ему условленное количество билетов. Дюма рыцарски отдал «сопернику» часть своих мест. Спектакль начался в грозовой атмосфере. Два первых акта сошли благополучно, но в третьем публика освистала те сцены, в которых выступала Жюльетта. Враждебность сотоварищей и зрительного зала привели ее в такое смятение, что она оправдала все опасения и злостную критику. На следующий день Гюго под давлением Сент-Бёва, своей жены и бывших «боевых защитников „Эрнани“», не без грусти и гнева, должен был согласиться на то, чтобы бедняжка Жюльетта под предлогом нездоровья (она действительно заболела и слегла в постель) отказалась от роли.

Гюго — Жюльетте:

Вы ни на одно мгновение не сбились с тона, не утратили правдивых, страстных, патетических интонаций; кто заявляет, что вас не было слышно, просто не слушал; пусть себе говорят, что угодно. В финале вы были красивы и трогательны, а в начале красивы и очаровательны. Во всем, что вы говорили, вы ни на одно мгновение не теряли тонких оттенков, а это очень трудно при передаче страсти, вы с достоинством выдерживали борьбу с королевой в сцене развязки, а там очень важно было устоять, — ведь это не борьба двух женщин, это Джен — против Марии, это борьба газели против пантеры.

Будьте спокойны, когда-нибудь вам воздадут справедливость...

Жестокий прием, который публика оказала Жюльетте, доконал ее, бедняжку, лишил и тех крох дарования, какие у нее были. «Я больше не смею, — говорила она. — Эти люди отняли у меня веру в мои силы. Я больше не могу репетировать, я парализована». То было печальное и несправедливое дело.

Если двое любящих ссорятся, то потому, что им слишком уж хорошо было вместе.

Поль Валери

Заметка Сент-Бёва для самого себя:

«Как рушилось все то, что еще несколько лет тому назад было прекрасным, цветущим и разрасталось! Ламенне вынужден молчать, разорен и лишен учеников; Ламартин в своем «Пустынном Востоке» отгородился от живых смертью дочери; все наши поэты низвергнуты, наши ангелы пали! Гюго, автор «Ее имени» и «Тебе»,— у ног Жюльетты; «Элоа»¹ стал пленником и козлом отпущения госпожи Дорваль; Антони совсем с ума сошел, а Эмиль вновь сделался дамским угодником². О, только мы с тобой, моя Адель, в тесной близости следовали путем, назначенным нам судьбой. Прижмемся друг к другу крепче, дорогой ангел, и будем едины до самой смерти и после смерти! Я люблю тебя!»

Нарисованная Сент-Бёвом разочаровывающая картина была еще недостаточно полной, так как и сама любовь, воспетая здесь, оказалась вскоре непрочной. В 1834 году произошел полный разрыв отношений между Сент-Бёвом и супругами Гюго, этот год был также годом жестоких бурь для бедной Жюльетты.

Ссора бывших друзей произошла не по причинам сентиментальным, но из-за раздражения чисто литературного. В начале 1834 года Виктор Гюго опубликовал свой «Этюд о Мирабо». Почему о Мирабо? Потому что эта тема позволяла ему косвенным образом объяснить с современниками. Бальзак рисует его в эти мрачные годы человеком «несчастливым и преследуемым ненавистью». Это было верно. По всякому поводу на него обрушивались с несправедливой злобой. Сам Сент-Бёв вкрадчиво выражал удивление такой суровостью: «За последние месяцы его произведения и его особа вызывают у критиков почти единодушные и поистине непостижимые вопли ярости». В свое время и Мирабо страдал от аналогичной несправедливости. Ему противопоставляли Барнава, у которого были такие же политические взгляды, как у Мирабо, но не было такой даровитости; так в

¹ Альфред де Виньи, автор поэмы «Элоа».

² Антони и Эмиль Дешаны.

1798 году Моро предпочитали Бонапарту, и, подобно этому, в 1834 году некоторые восхваляли Дюма-отца в ущерб Виктору Гюго.

«Однако народ, который не знает зависти, потому что он велик,— писал Гюго,— народ стоял за Мирабо...» Гюго начинал надеяться, что когда-нибудь народ поможет ему одержать верх «над людьми благовоспитанными, то есть такими, какими людей воспитывать не надо». Точно так же как он писал когда-то: «Нам нужен собственный Шекспир», он говорил теперь: «После наших великих деятелей Революции нам нужен великий деятель прогресса... Французская революция развернула для всех социальных теорий огромную книгу, нечто вроде завещания. Мирабо начертал в ней свое слово, Робеспьер — свое. Людовик XVIII сделал там пометку. Карл X разорвал страницу, Палата, собравшаяся 7 августа, кое-как склеила ее, но вот и все. Книга лежит на своем месте, на своем месте лежит перо... Кто посмеет написать?...» И он тихонько отвечает себе: «Ты!» За литературной славой ему смутно видится политическое прише.

В том же году он издает у Рандюэля сборник под заглавием «Литературная и философская смесь», составленный из юношеских его произведений, которые он слегка подправил. Он выпустил этот сборник с целью сопоставить взгляды «юного якобита 1819 года» со взглядами «революционера 1830 года» и показать, что если его воззрения изменились, то это произошло с полной прямоотой и бескорыстием. Об этом сборнике статей говорили мало, Гюстав Планш поместил заметку в «Ревю де Дё Монд»: «Господину Гюго в интересах его славы не следовало бы извлекать эту книгу из праха забвения, в который она была погребена...» Сент-Бёв опубликовал по поводу «Этюда о Мирабо» статью — хвалебную в отношении Гюго-писателя, но (как тот справедливо заметил) враждебную в отношении его как человека. Виктор Гюго тотчас написал Сент-Бёву: «Я нашел в статье, мой бедный друг (на нас двоих она произвела такое впечатление), бесконечные похвалы, выраженные в великолепных фразах, но, по сути дела, — и это глубоко меня печалит — в ней нет благожелательности... Я предпочел бы поменьше похвал и больше симпатии... Виктор Гюго преисполнен восторга, но Виктор, ваш старый друг Виктор, удручен». Сент-Бёв протестовал, говорил о дружбе, «которая в конце концов была

моей первой заслугой в литературе, как была она первым большим чувством в моей жизни». Но он напрасно расточал свои вкрадчивые любезности. Враждебные слова, переданные другими разговоры бесповоротно испортили отношения бывших соратников. Разрыв произошел круто, 30 марта 1834 года Сент-Бёв пишет Гюго:

«Ну что ж, остановимся на этом, прошу вас. Достаточно уж толковать; я не скажу, как вы,— о недостойных людях, я скажу — о недостойном предмете. Пишите нам прекрасные стихи, а я постараюсь писать о них добросовестные статьи. Вернитесь к своему творчеству, как я вернусь к своему ремеслу. Мне не воздвигли храм, и я никого не презираю. У вас есть храм, избегайте устраивать там скандалы...»

Виктор Гюго — Сент-Бёву, 1 апреля 1834 года:

«Столько ненависти и столько подлых преследований направлено против меня, что разделять со мною это бремя нелегко; я прекрасно понимаю, что даже самой испытанной дружбе это не под силу, и узы ее распадаются. Итак, прощайте, мой друг. Похороним каждый в молчании то, что в вас уже умерло, а во мне умирает, убитое вашим письмом...»

После этого прощания они продолжали обмениваться рукопожатием, когда профессиональные обязанности сталкивали их друг с другом. Сент-Бёв каждый год посылал 1 января подарок своей крестнице. Но дружба кончилась.

Для Виктора Гюго и Жюльетты Друэ 1834 год был годом хаоса. Высокие вершины, мрачные бездны. Единственное, что оставалось прочным в их общей жизни, была взаимная страстная любовь. Жюльетта выражала ее очень трогательно:

«Если бы счастье покупалось ценою жизни, я бы уже давно всю ее истратила...»

Двадцать шестого февраля 1834 года:

Здравствуй, мой дорогой возлюбленный, здравствуй мой великий поэт; здравствуй, мой Бог! Какой нынче чудесный день, озаренный солнцем и любовью, вполне достойный чести напомнить людям о дне твоего рождения... Мой Тото, люблю тебя! Сколько счастья ты дал мне нынче ночью; я бы ни о чем не жалея, ничего бы на свете не хотела, если б оно длилось всю мою жизнь...» Завистницы говорили, что Жюльетта Друэ не умна. Какая несправедливость! Можно посмеяться над ее орфографией, иной раз просто фантастической, но не над ее стилем. Она с очаровательной ловкостью подражала в начале писем романтическим впискам «своего поэта» и проявляла поразительную изобретательность, чтобы в тысяче разнообразных выражений сказать: «Люблю тебя». «Пишу вам, как велит сердце, люблю вас, как оби-

тательница рая, а говорю об этом, как служанка со скотного двора... Сердце мое полно любви, умом же полна не моя, а ваша голова...» .

Она находила интонации, достойные португальской монахини. Гюго быстро распознал в ней этот лирический дар и бережно хранил ее письма.

Но ведь ни любовью, ни остроумием не проживешь, а Жюльетта была бедна, да еще погрязла в долгах — двенадцать тысяч франков ювелиру Жаниссе; две тысячи пятьсот франков госпоже Бебретон и госпоже Жерар, торговавшим кашемировыми шальями; тысячу франков — перчаточнику Пуавену; четыреста франков парфюмеру Вилену... Всего двадцать тысяч франков. Сначала она, страшась своего господина и повелителя, обуяемого подозрениями, пыталась договориться с кредиторами, закладывала в ломбард свое белье, пробовала занять денег через посредство некоего Жака-Фирмена Ланвена и его жены, всецело ей преданных друзей. Начались тайны, скрытничанье, подозрительные хлопоты, разгоралась ревность Гюго, принимавшего в таких случаях «вид Великого инквизитора». В течение этого года они не раз готовы были порвать. *В свою записную книжку Виктор Гюго внес 13 января 1834 года в половине двенадцатого вечера следующие слова: «Сегодня я еще любовник. А завтра?..»* Жюльетта, которая всем пожертвовала, чтобы сохранить этого любовника, которая добровольно обрекла себя на нищету, справедливо чувствовала себя оскорбленной его суровостью. «Ничто из всего этого не заслуживает в ваших глазах помилования. Я и сегодня для вас та же, кем была для всех год тому назад: женщина, которую нужда может бросить в объятия любого богача, желающего ее купить. Вот в чем причины, жестокие и неодолимые причины нашей разлуки. Вот чего я больше не могу переносить...»

У нее были и другие причины страданий — на Королевской площади Виктор Гюго вел блестящую жизнь, в которую Жюльетта не была допущена (иной раз случалось, что ночью, устав ждать любимого, она бродила под его окнами, как он в былое время бродил перед Тулузским подворьем, смотрела на горящие люстры, слушала веселый смех). Мучило ее и то, что он с легкостью принимал всякую клевету (или правду) о ее прошлом, что он слушал рассказы Иды Ферье или перзрелой мадемуазель Жорж, которые с лицемерной за-

ботливостью спрашивали Гюго, почему он из всех женщин выбрал эту «тщеславную, лживую кокетку и беспорядочную особу»; страдала она и оттого, что он очень мало интереса проявлял к ее артистической карьере. В 1834 году он добился, чтобы ее приняли в труппу Комеди-Франсез с годовым окладом в три тысячи франков; это позволило ей внести плату за квартиру, которую снял и обставил для нее князь Демидов в доме № 35 на улице Эшикье и которую он, разумеется, больше не желал оплачивать. Но в театре ей не давали никаких ролей, и она приходила к мысли, что ее возлюбленный судит о ней как об актрисе столь же несправедливо, как и публика на премьере «Марии Тюдор». Какое же будущее ее ждало? Жить нищей и одинокой, не пробить себе дорогу в театре, не создать семьи, быть просто любовницей ревнивого и презирающего ее человека? Когда кредиторы предъявили векселя и Жюльетта лишилась квартиры, а всю ее обстановку описали за долги, она не шутя стала думать о самоубийстве.

Виктор, нынче ночью вы, чтобы совсем уничтожить меня, воспользовались гнусной клеветой этой Жорж и несчастьями моей прошлой жизни. Вы посмеялись над тем, что я пятнадцать месяцев любила вас и страдала из-за вас... Очень прошу, не отвергайте правды, поверьте, что моя любовь к вам была горячей и чистой. Не уподобляйтесь детям, которые, увидев старика прохожего, не верят, что он был когда-то молодым и сильным. Ведь я любила вас всеми силами души своей. Вот здесь все ваши письма и тот носовой платок, который вы мне вернули,— это не мой, а чей-то чужой платок...

И она повторила то, что говорила когда-то по поводу роли Джен в драме «Мария Тюдор»: «Я больше не могу».

Только теперь уж не о роли речь, а о всей моей жизни. Теперь, когда клевета сокрушила меня во всех отношениях; теперь, когда осудили мою жизнь, не выслушав меня, как не стали слушать меня в твоей пьесе; теперь, когда мое здоровье и рассудок мой подорваны в бесцельной и бесславной борьбе; теперь, когда меня выставили перед общественным мнением женщиной без всякого будущего, я больше не смею и не хочу больше жить... Говорю чистую правду: я не смею больше жить. Этот страх и породил во мне желание, потребность покончить с собой...

Потом, поскольку сердце у Гюго было умнее его гордыни, он раскаивался и возвращался к Жюльетте. Любуясь на уснувшую возлюбленную, он однажды написал ей.

Ты найдешь у себя на одеяле эту записку, сложенную вчетверо, и улыбнешься мне, правда? Я хочу, чтобы в прекрасных твоих глазах, которые столько пролила слез, засияла улыбка. Спи, моя Жюльетта; пусть снится тебе, что я тебя люблю; пусть тебе снится, что я у твоих ног; пусть тебе снится, что ты моя всецело; пусть тебе снится, что я всецело твой; пусть тебе снится, что я не могу без тебя жить, что думаю о тебе, что я пишу тебе. А проснувшись, ты увидишь, что сон тебя не обманул. Целую твои маленькие ножки и твои большие глаза...

Он повез ее в окрестности Парижа и показал ей свою любимую долину Бьевры, полную ленивой неги и зелени. 3 июля 1834 года они провели ночь в гостинице «Шит Франции», в деревне Жуи-ан-Жоза. Незабываемую ночь.

Мой дорогой, мой любимый, я все еще взволнована после вчерашнего.. Вчера, 3 июля 1834 года, в половине одиннадцатого вечера, в гостинице «Шит Франции», я, Жюльетта, была самая счастливая и самая гордая женщина на свете; заявляю еще, что до сих пор я не чувствовала всей полноты счастья любить тебя и быть тобой любимой. Настоящее письмо, имеющее форму протокола, является документом, устанавливающим состояние моего сердца. Этот документ, составленный нынче, действителен до конца моей жизни на земле; в тот день, час и минуту, когда он мне будет предъявлен, обязуюсь вернуть вышеупомянутое сердце в том самом состоянии, в каком оно сегодня находится, то есть наполненным одной-единственной любовью — любовью к тебе, и одной-единственной мыслью — мыслью о тебе. Составлено в Париже, 4 июля 1834 года, в три часа дня. Жюльетта. Подписали в качестве свидетелей тысячи поцелуев, коими я покрыла сие письмо.

Уже подходило время выезда семейства Гюго на лето в замок Рош, и влюбленные стали вместе искать для Жюльетты комнату где-нибудь неподалеку от усадьбы Бертенов; они нашли ее на вершине высокого лесистого холма, в деревне Метс, в низком белом сельском домике с зелеными ставнями, обвитом одичавшей виноградной лозой, у супругов Лабюсьер, и те сдали им эту комнату за девяносто два франка в год, каковую сумму Гюго заплатил вперед. Потом они вернулись в Париж.

Виктор Гюго — Жюльетте Друз, 9 июля 1834 года:

«Любимая моя, ангел мой! Нет ничего более упоительного, чем песня, исходящая из твоих уст, кроме поцелуя, который срываешь с них. Никогда не забывай те строки, которые написаны в твоей постели, когда ты, нагая и прелестная, была в моих объятиях и пела мои песни голосом, хватающим за душу. Простенькие песенки, которые ты делала очаровательными. Я сложил стихи, а ты вложила в них поэзию...»

19 июля она рассталась с улицей Эшикье, унося с собою «вечное воспоминание о той комнате, где мы были так счастливы и так несчастны», и поселилась в крошечной квартирке в доме № 4 на улице Парадиз. «О, эта улица правильно названа, моя Жюльетта! Само небо будет за нас на этой улице, в этом доме, в этой спальне, в этой кровати...»

Однако в августе 1834 года сладостный рай стал адом. Свора кредиторов напала на след и принялась лаять так громко, что Жюльетте пришлось признаться любовнику, как велика сумма ее долгов. Двадцать тысяч франков? Сын генерала Гюго, получавший в отрочестве на свои расходы только два су в день, пришел в неопишемую ярость: он кричал, что постепенно все заплатит сам, хотя бы это стоило ему здоровья и даже жизни, но обещания перемежались жесточайшими упреками. Что же она натворила? Страстная сила ее угрызений совести наводит на мысль о каких-то серьезных провинностях. Она писала Гюго: «Ах, оставь, никогда ты не знал любви более чистой, чем моя любовь, более искренней, более прочной, и все же я презренная женщина. Чего ты потребуешь от меня? Чем я могу исправить, искупить преступление, в котором я не виновата, ибо оно произошло не знаю как и я не была в нем сообщницей ни душой, ни телом! Скажи, произнеси приговор. Я подчинюсь, претерплю любую кару, лишь бы не умерла наша любовь...»

И она бежала со своей маленькой дочкой в Бретань, где жила в Сен-Ренане ее сестра Рене (госпожа Кох). В разлуке оба любовника поняли всю меру своего безумия. Ну что такое деньги, что такое долги в сравнении с великой любовью? Гюго пустил в ход «и ноги, и руки, и когти», чтобы спасти Жюльетту от ближайшей опасности. Он дошел до того, что воззвал к Прадье (которого он называл «князем Фюрстенбергским» — по названию улицы, на которой жил скульптор) и потребовал, чтобы тот по крайней мере взял на себя расходы по содержанию своей дочери Клер, но Прадье от этого отказался. Он заявил, что может сделать это только в том случае, если Виктор Гюго выхлопочет для него заказ на скульптурную группу для Триумфальной арки. Циничный торг. А Жюльетта с дороги слала письмо за письмом:

«Виктор, я умираю без тебя... Неужели правда, что ты меня ненавидишь, что я тебе противна, что ты презираешь меня?..»

Я сделаю все, что ты потребуешь; я сделаю все, Боже мой! Только скажи, хочешь ли еще быть со мной?»

Он очень хотел быть с нею и делал все, чтобы ей помочь:

«Виделся сегодня с господином Прадье. Я затронул его за живое. Он вел себя так, как должно, и теперь решено, что отец твоего ребенка и я сделаем все, чтобы тебя спасти. Если понадобится, он возьмет на себя обязательства, так же как и я, но для этого надо, чтобы ты была в Париже. Прадье держится такого же мнения. Твое присутствие необходимо, ты должна всем руководить и все распутать. Я со своей стороны, только что выцарапал когтями тысячу франков. Видишь, что может совершить любовь. Сейчас побегу на почтовую станцию. Если захвачу место в дилижансе, выеду во вторник, и в пятницу ты меня увидишь... Больше суток не ел ничего, но это пустяки, я люблю тебя...»

Оставив Адель и детей в усадьбе Рош, Гюго помчался в Бретань. Он встретился с Жюльеттой в Бресте, под голубым небом, у голубого моря — после туманов и непогоды наступили прекрасные дни. Любовники поклялись больше не причинять друг другу страданий.

На пути к своей возлюбленной Гюго успокаивал жену:

Виктор Гюго — Адель Гюго, Ренн, 7 августа 1834 года:

«Прощай, дорогая Адель. Я люблю тебя. До скорого свидания. Пиши мне почаще, и, конечно, длинные письма. Ты радость и честь моей жизни. Целую твое прекрасное чело и твои прекрасные глаза...»

Для Адели, которая могла теперь совершенно свободно прогуливаться с Сент-Бёвом под густыми деревьями по берегу Бьевры, не составило большого труда и не было с ее стороны большой заслугой ответить любезным письмом на снисходительное смирение мужа.

«Я не хочу говорить ничего такого,— писала она,— что могло бы тебя опечалить, когда ты вдалеке, а я не могу быть возле тебя. Впрочем, я думаю, что и при всех этих обстоятельствах ты, в сущности,любишь меня, а раз не спешишь возвращаться, значит, тебе весело, и уверенность в том и в другом делает меня счастливой...»

Равнодушие порождает снисходительность.

Жюльетта и Гюго возвращались не спеша, короткими перегонами, она дремала в дилижансах, положив голову ему на плечо, он не упускал в пути ничего примечательного, видел каторжников в Бресте, менгиры в Карнаке, осматривал старинные церкви, в Туре ходил в театр на «Лукрецию Борджа». Потом, 2 сентября, Жюльетта вновь поселилась в своей комнатке в деревне Метс, а Гюго в усадьбе де Рош, и для них началась

простая, бесподобная жизнь, длившаяся полтора месяца. В доме тетушки Лабюсьер (куда Антуанетта Ланвен, подруга Жюльетты, служившая посредницей между ней и Прадье, часто привозила маленькую Клер) мадемуазель Друэ сама убирала и стряпала, ела в кухне; у нее было только два платья — одно шерстяное, другое линон-батистовое в розовую и белую полосочку; но сама эта бедность, жестяные ложки, грубые башмаки, отсутствие всяких развлечений свидетельствовали о ее покорности и любви. Поэтому Гюго, в котором этот аскетизм, соблюдавшийся Жюльеттой по его требованию, удовлетворял странное желание властвовать, преподнес ей экземпляр повести «Клод Ге», сделав на титульном листе такую надпись: «Моему ангелу, у которого отрастают крылья.— Метс, 2 сентября 1834 г.». Ежедневно Гюго приходил к ней пешком через лес. Адель была общицей, Луиза Бертен наперсницей. Старым девам, если они добры, нравится аромат любви. По большей части Жюльетта выходила навстречу возлюбленному и ждала его в лесной чаще под старым каштаном; «стройная, с высокой грудью, румяная, с прелестной лукавой улыбкой, приоткрывавшей губы, она казалась чудным цветком, поднявшимся из грубой чаши, которую образовало дуплистое дерево». Завидев любовника, она выпрыгивала на дорожку, обнимала его в прозрачной дымке лесных испарений и увлекала в густые заросли, где мох устилал землю мягким ковром.

Любовь и природа создают дивную гармонию. «Веселый щебет в гнездах, таящихся под сенью леса», сливался со вздохами любовников. Они были счастливы. Гюго, который любил объяснять и мир, и Бога, и все на свете, нашел в раскаявшейся прекрасной грешнице восхищенную и покорную ученицу. Однажды их застала в лесу гроза, они укрылись от нее в дупле старого каштана, и это происшествие стало для них дорогим воспоминанием. Жюльетта дрожала от холода, он пытался согреть ее; капли дождя падали с его волос на ее шею. Но он говорил ей: «Всю жизнь я буду помнить твои слова, полные нежной заботы и ума». Жюльетта Друэ была из тех женщин, которые благодарны мужчине, если он восхваляет не только их красоту, но и благородство души. Жюльетта, которую осуждали так строго и которая сама осуждала свое прошлое, жаждала услышать ласковые слова:

Когда поэзия моя, людьми гонима,
Так сладостно прильнув к тебе, вкусит покой,

Тобой душа моя печальная хранима,
Как огонек свечи заботливой рукой;

Когда сидим вдвоем среди цветов долины,
Когда душа твоя засветится в глазах,
И, как изгнанница, глядит она с чужбины
На подвиги земли, на звезды в небесах¹.

Она любила, когда он говорил, что надо надеяться
на Бога, любила, когда ее возлюбленный становился
проповедником.

Страданье, ангел мой, нам за грехи дано.
А ты молись, молись! И может быть, Творец,
Благословив святых — и грешных заодно,—
И нам с тобой грехи отпустит наконец!²

Как же она, наверно, была счастлива и горда, когда
26 октября он положил для нее в дупло каштана, слу-
жившее им почтовым ящиком, в который она приносила
иногда по пять записок в день, листок бумаги со стиха-
ми, посвященными ей: «Вам, кого я чту, тебе, кого люб-
лю. В.». Стихи эти носили заглавие: «В старой церк-
ви»; они были созданы поэтом однажды вечером, когда
он и Жюльетта после прогулки зашли в маленькую цер-
ковку деревни Бьевры и долго пробыли там:

Тяжелый, низкий свод, печаль камней...
И в церковь мы вошли.
А целых триста лет — кто плакал в ней,
Склоняясь до земли?..

Здесь тишина и грусть на склоне дня.
И в церковь мы вошли.
Пустой алтарь, как сердце без огня,
Пустой алтарь в пыли...³

Должно быть, она там молилась; там поведала она
богу, в которого верила всей душой, свое отчаяние, от-
чаяние одинокой женщины, у которой нет «ни веселого
домашнего очага, ни ласковой семьи», а между тем «она
в холодном и суровом мире никому не причинила зла»;
там милый друг, утешая и успокаивая ее, сказал, что
своей «задумчивостью строгой и кротостью души она
достойна быть в обители святой». Благодаря искренно-
сти чувства, простоте тона, плавному разворачиванию
строф, тесному, словно природой данному, слиянию
мысли и ритма эти стихи — одно из лучших творений

¹ Виктор Гюго. На берегу моря («Песни сумерек»).—
Перевод И. Грушецкой.

² Виктор Гюго. Надежда на Бога («Песни сумерек»).

³ Виктор Гюго. В старой церкви («Песни сумерек»).

Гюго. Но жалобы Жюльетты, которые она передала так гармонично, доказывали, что при всей их взаимной любви эта связь не дала ей счастья.

Глава четвертая

ОЛИМПИО

Ничто так не говорит в пользу Гюго, как нерушимая нежная любовь, которую дарила ему прелестная женщина — Жюльетта Друэ.

Поль Клодель

И вот началась удивительная жизнь, какую вряд ли согласилась бы вести женщина, отнюдь не связанная монашескими обетами. Виктор Гюго обещал простить и забыть прошлое, но поставил для этого определенные и весьма суровые условия. Жюльетта, вчера еще принадлежавшая к числу парижских холеных красавиц, вся в кружевах и драгоценностях, теперь должна была жить только для него, выходить из дому куда-нибудь только с ним, отказаться от всякого кокетства, от всякой роскоши — словом, наложить на себя епитимью. Она приняла условие и выполняла его с мистическим восторгом грешницы, жаждавшей «возрождения в любви». Ее повелитель и возлюбленный выдавал ей каждый месяц небольшими суммами около восьмисот франков, и она все благоговейно записывала:

Дата	Франки	Су
1-е Деньги, заработанные моим обожаемым	400	
4-е Деньги, заработанные моим Божеством	53	
6-е Деньги на питание моего Тото	50	
10-е Деньги, заработанные моим возлюбленным	100	
11-е Деньги на питание моего дорогого	55	
12-е Деньги, заработанные моим любимым	50	
14-е Деньги из кошелька моего обожаемого	6	4
24-е Деньги из кошелька моего миленького Тото	11	
30-е Деньги из кошелька моего миленького Тото	3	

Из этих денег она прежде всего обязана была погашать свои долги кредиторам, платить за квартиру и в пансион, где обучалась ее дочка. На жизнь ей оставалось мало. По большей части она не топила камин в своей комнате и, если там было очень холодно, оставалась в постели, мечтала или вела запись расходам, которую ее повелитель ежевечерне тщательно проверял. Жюльетта питалась молоком, сыром и яйцами. Каждый

вечер — яблоко. Ни одного нового платья, она переделывала старые. Гюго твердил ей, что «туалет ничего не прибавляет к природной прелести хорошенькой женщины». Он спрашивал у нее разъяснений, почему куплена коробка зубного порошка, откуда взялся новый передник (который она сделала из старой шали). Можно считать чудом, что она принимала жизнь затворницы и рабыни не только весело, но с благодарностью: «Не знаю, отчего я так любила делать долги! Боже мой! Ведь это и гадко и унижительно! Как ты великодушен и благороден, мой драгоценный, что любишь меня, несмотря на мое прошлое...»

В свободные часы она переписывала рукописи своего возлюбленного или чинила его одежду. Это тоже было ей приятно. Тягостная сторона жизни была в том, что, поскольку ей не дозволялось где-нибудь бывать одной, она иногда по нескольку дней ждала его, глядя, как птица в клетке, на голубое небо. Когда Гюго бывал свободен, он провожал ее в Сен-Манде, где Клер Прадье училась в пансионе, или в Дом Инвалидов, где доживал свой век дядя Жюльетты, или ходил с ней по лавкам старинных вещей. Он любил маленькую Клер и писал ей: «Раз ты немножко думаешь, бедняжка Клер, о своем старом друге Тото, я хочу с тобой поздороваться. Учись хорошенько, расти большая и умная, будь такой же благородной и хорошей, как твоя мама...» Если он долго не появлялся, для Жюльетты становилась пыткой эта жизнь в заточении, при которой она не имела права «даже воздухом подышать», то есть пройтись по бульвару, и она жаловалась: «Я по глупости своей позволила, чтобы со мной обращались, как с дворовым псом: похлебка, будка и цепь — вот моя участь! Но ведь есть собаки, которых хозяин водит с собой! На мою долю такого счастья не выпало! Цепь моя так крепко приклепана, что вам и не вздумается снять ее...»

Единственной надеждой на независимость, несмотря на все неудачи, для нее оставался театр. Виктор Гюго только что закончил новую пьесу в прозе — «Анджело, тиран Падуанский». В сущности, это была мелодрама в духе «Луcreции Борджа»: куртизанка, возрожденная высоким чувством любви (Тизбе), и кроткая женщина, спасенная ею от смерти (Катарина); полный набор эффектов — «узнавание», потайные ходы, склянки с ядом и «крест моей матушки», — но построена пьеса была хорошо, и в Комеди-Франсез ее с восторгом при-

няли к постановке. А Жюльетта состояла в труппе этого театра. Разве не могла она надеяться получить одну из двух ролей? Она догадывалась, что Гюго опасается доверить свою пьесу актрисе весьма спорного таланта, к тому же подстерегаемой закулисными кознями; и не осмеливается сказать ей это. Великодушная женщина стусевалась. «Отделим друг от друга наши судьбы в театре», — сказала она ему. Это значило, что она отказывается от своей надежды. Она вышла из труппы, так ни разу и не сыграв на сцене Комеди-Франсез; две главные роли достались известным актрисам: одна — мадемуазель Марс, другая — мадам Дорваль.

Это была высшая степень самоуничижения для актрисы и постоянная причина страхов для влюбленной женщины: волнуемое кокетство и роковое очарование мадам Дорваль были общеизвестны. Дорваль покорила «джентльмена» — Альфреда де Виньи и не была ему верна; Жюльетта нисколько не сомневалась, что кокетка поведет атаку на молодого и красивого поэта. Жюльетта писала Гюго: «Я ревную тебя к вполне реальной сопернице, — ведь это неслыханная распутница, а сейчас она бывает с тобой каждый день, смотрит на тебя, говорит с тобой, прикасается к тебе. Ах, как же мне не ревновать к ней! И как мне больно, как я страдаю!..» Премьера «Анджело» (рукоплескания, вызовы, восторг, бешеный успех, в значительной мере благодаря двум исполнительницам главных женских ролей — они обе были любимицами публики) оказалась для Жюльетты настоящей пыткой, но ее преданность возлюбленному взяла верх. «Если бы ты знал, как часто я аплодировала мадам Дорваль, тебе стыдно было бы чем-нибудь обидеть нынче вечером мое бедное сердце, и так уже немного уязвленное сознанием, что не я, а другая передает публике твои возвышенные мысли. Ну вот, поневоле загрустишь и будешь волноваться, когда знаешь, что эта женщина возле тебя...» В похвалах исполнительнице роли она угадывала «своего рода брачный союз двух душ — актрисы и автора», и ей было горько, что не она, Жюльетта, «передает публике его возвышенные мысли».

Она имела право на награду и получила ее, — сначала в виде прекрасных стихов:

О, если я к устам поднес твой полный кубок,
И побледневшим лбом приник к твоим рукам,
И часто из твоих полураскрытых губок
Твое дыханье пил, душистый фициам;

И было мне дано делить с тобою грезы,
 Все тайные мечты и помыслы делить,
 И твой услышать смех, твой увидеть слезы,
 Со взором взор сливать, уста с устами слить;
 И если надо мной звезда твоя сияла
 Так ласково и все ж — так грустно далека!
 И роза белая нечаянно упала
 На мой тернистый путь из твоего венка,—
 То я могу сказать: «О годы, мчитесь мимо!
 Ваш бег не страшен мне! Я не состарюсь, нет!
 Увянуть все цветы должны неотвратимо,
 Но в сердце у меня не вянет вешний цвет.
 Все так же он душист и свеж... Ни на мгновенье
 Не иссякает ключ, что жизнь ему дарит.
 Душа полна любви, не знающей забвенья,
 И вам не погасить огонь, что в ней горит»¹.

Второй наградой было путешествие, которое они совершили на следующее лето. Хотя жить на два дома было весьма обременительно, Гюго мог это себе позволить: «Анджело» играли шестьдесят два раза со средним кассовым сбором в две тысячи двести пятьдесят франков. Книгоиздатель Рандюэль купил рукопись. В 1835 году он заплатил девять тысяч франков за право переиздать в течение полутора лет «Оды и баллады», «Восточные мотивы» и «Осенние листья», затем еще одиннадцать тысяч франков за новое переиздание плюс к этому «Песни сумерек» и новый сборник — «Внутренние голоса». За три года (1835—1838) Рандюэль уплатил Виктору Гюго сорок три тысячи франков. От издателей и из театров деньги рекой текли на Королевскую площадь и ручейком на улицу Парадиз.

В конце июля Адель захотелось поехать в Анжу на свадьбу их друга Виктора Пави. Гюго был приглашен, но он знал, что на свадьбе будет и Сент-Бёв, с которым он не хотел встречаться. Чтобы совершить путешествие с Жюльеттой на полной свободе, он послал на свадьбу свою жену в сопровождении ее отца, Пьера Фуше. В разлуке муж и жена, связанные между собой больше братскими, чем супружескими узами, все время обменивались самыми ласковыми письмами.

Виктор Гюго — Адели, Монтеро, 26 июля 1835 года:

«Здравствуй, мой бедный ангел, здравствуй моя Адель. Как ты доехала?..»

Лафер, 1 августа:

«Надеюсь, ты хорошо повеселилась...»

¹ Виктор Гюго. О, если я к устам поднес твой полный кубок... («Песни сумерек»).— Перевод В. Дмитриева.

Амьен, 3 августа:

«А ты? Где ты? Что ты делаешь? Как ты поживаешь?..»

Ле-Трепор, 6 августа:

«Какая эта красота — море, дорогая моя Адель. Надо нам когда-нибудь вместе поглядеть на него...»

Монтивилье, 10 августа:

«Надеюсь, что твое маленькое путешествие пошло тебе на пользу, что ты по-прежнему будешь пухленькой и свежей...»

Адель — Виктору:

«Я много думала о тебе, мой добрый и милый Виктор, хотелось бы, чтобы ты был возле меня... Не могу и сказать тебе, сколько волнений я пережила, мой бедный друг. Надеюсь, ты их поймешь и разделишь со мной...»

19 августа:

«В общем, если тебе весело, то я за тобой не числю никакой вины. Да и было бы с моей стороны несправедливо жаловаться на тебя, раз ты пишешь мне такие хорошие, прелестные письма...»

Кроткий и простодушный Пьер Фуше, сопровождавший дочь, признавался, что его немного удивляет неожиданное для него согласие между супругами. «По нашем возвращении в Анжер, — пишет он, — Адель нашла несколько писем от мужа. Он путешествует в Бри и в Шампани... Он очень ласков с нашей Аделью, пишет, чтобы она развлекалась, чтобы она думала о нем, чтобы она любила его, и кончает письмо так: *«Желаю Пави такую жену, как ты, тогда пусть благодарит Бога...»* Свадьба в Анжу была «пантагрюэлевской». Четыре дня пировали под тентом и на пароходах. Адель, жена знаменитого писателя и очень красивая дама, «восхищала свадебных гостей». Сент-Бёв со слезами на глазах прочитал эпиталаму, слишком длинную, и ее слушали с вежливой скукой.

Адель — Виктору:

«Когда будешь в Париже, друг мой, напиши ему несколько строк в благодарность за его заботы.»

Солнце сияло, поля смотрели приветливо, берега Луары были веселые, но Адель оставалась грустной. Ухаживания ее друга с реденькими рыжими волосами больше не утешали ее в том, что около нее нет мужа.

Адель — Виктору:

«Глядя на Луару, я говорила себе, что десять лет тому назад я видела ее вместе с тобой. Когда же мы поедем куда-нибудь вдвоем?.. Я старею, мне все приелось, я грущу беспричинно...» Ей удаесли и Сент-Бёв, и жизнь, и все на свете. Ревность пробуждает некое подобие любви. Дидина (одиннадцатилетняя девочка) ла-

сково укоряла отца: «Мама иногда плачет, оттого что она не с тобою... Не забывай свою дочку, милый папочка, брось всякие тесные камни и приезжай к нам, мы тебя очень любим...»

А тем временем Виктор и Жюльетта полностью наслаждались поэзией своего путешествия.

Жюльетта — Виктору:

«Ты помнишь, как мы уезжали откуда-нибудь и как мы прижимались друг к другу под откидным верхом дилижанса? Рука в руке, душа с душой, мы забывали обо всем, кроме нашей любви. А когда добирались до места, осматривали соборы и музеи и восторгалась всякими чудесами, глядя на них сквозь призму чувств, волновавших наши сердца. Сколько шедевров тогда восхищали меня, потому что ты любил их и твои уста умели разъяснить мне тайну их прелести! Сколько ступеней я одолела, взбираясь на самый верх бесконечных башен, потому что ты поднимался впереди меня...»

Тут звучит чистейший язык страстной любви. Для Жюльетты эти путешествия создавали иллюзию брака. Для Гюго в них была фантазия, обновление, возврат к дикарской свободе детских лет. Он любил путешествовать без программы и без багажа, любил карабкаться на развалины, делать наброски, собирать цветы, впитывать образы. Жюльетта, умевшая ко всему приспособиться, была идеальной попутчицей для этих вылазок. Вдали от Парижа Виктор Гюго не разыгрывал никакой роли — не был ни пророком, ни инквизитором, был весел, как студент на каникулах. На стенах скверных харчевен он писал проклятия:

К чертям! Дурной приют, паршивый дом!
Здесь вонь, и чад, и рай клопам-обжорам,
Здесь ночью был ужаснейший содом
И коммивояжеры пели хором!

В 1835 году путешествие привело любовников в Паркардию и в Нормандию. *Куломье* — «неинтересная церковь». *Провен* — «четыре церкви», башня, город разбросан живописнейшим образом на двух холмах. В двух лье от *Суассона*, в долине, отошедшей далеко от всяких дорог, восхитительный маленький замок XV века — *Сетмон*. «Если бы когда-нибудь захотели продать его тысяч за десять франков, я бы тебе купил его, милая моя Адель...» *Сен-Кантен* — «красивый фасад из резного дерева, постройка 1598 года». «А теперь я в *Амьене*. Тут — собор, уж он-то займет у меня целый день. Просто какое-то чудо!..» *Ле-Трепор*: «Вчера я и порадовался и погрустил, дорогой друг; порадовался, потому что

получил от тебя письмо, погрузил, потому что оно было единственным. Почти сутки пробыл в *Абвиле*, надеюсь, что успеют прийти еще письма от тебя. Два раза ходил на почту — ничего!.. До скорого свидания, дорогая *Адель*. Как радостно будет поцеловать тебя...» Что ж, перед нами письма хорошего мужа. Но восторженные эпитеты исходили от человека, который видел все эти картины с другой, с любимой женщиной.

По возвращении *Гюго* жена его устроилась в замке *Рош*, а *Жюльетта* — в деревне *Метс*. Любовное приключение превращалось в традицию. В 1835 году, в сентябре и октябре, погода была дождливая и ветреная. *Жюльетта* часто оставалась одна в своей комнате у тетушки *Лабюсьер*, глядела в окно, как бушует буря, с тревогой думала о своей дочке, которую «мы уж слишком забываем», шила себе капот или перечитывала произведения «своего дорогого». В этом она была неутомима. «Я знаю все твои вещи наизусть. Но всякий раз, как я перечитываю их, мне они нравятся еще больше, чем в первый раз. Так же, как твое прекрасное лицо. Я ведь знаю в нем каждую черточку. Нет ни одной пряди в твоей шевелюре, ни одного волоска в бороде, которые не были бы мне знакомы. И все равно каждый раз меня поражает и приводит в восторг твоя красота...» Когда *Жюльетта*, несмотря на дождь, добиралась до большого каштана, зачастую ее ожидало разочарование — она не находила под ним возлюбленного, не находила в дупле письма: «Если только не разверзнутся все хляби небесные, я непременно пойду к нашему большому дереву, которое оказалось весьма бесплодным для меня в нынешнем году. Оно мне не принесло еще ни одного, хотя бы самого маленького письмеца; с его стороны это большая неблагодарность, — ведь я отдаю ему предпочтение перед другими деревьями красивее и моложе, чем оно. Но, как видно, неблагодарность — основное свойство и деревьев, и людей...» Однако время от времени она получала чудесную страницу, которая была для нее утешением и вознаграждала ее за все.

Виктор — Жюльетте:

Запомним на всю жизнь вчерашний день. Да разве можно забыть, какая ужасная гроза была 24 сентября 1835 года и сколько радости она нам принесла. Ливень низвергался потоками, листья на деревьях не спасали нас. С них вода, становившаяся еще холоднее, падала нам на головы, ты, почти нагая, была в моих объятиях, ты прятала свое прекрасное лицо в моих коленях и поднимала его лишь для того, чтобы мне улыбнуться, к твоим красивым плечам

прилипала намокшая от воды сорочка. Буря не стихала полтора часа, и за это время — ни одного слова, которое не было бы словом любви. Какая ты чудесная! Люблю тебя, моя Жюльетта, люблю так, что не могу и выразить это словами. Какой ужасный хаос вокруг нас и какая сладостная гармония в нас с тобой! Пусть же этот день будет драгоценным воспоминанием до конца наших дней!

Безумное восхищение Жюльетты, граничившее с благоговейным поклонением, было опасным: оно развивало склонность поэта к самообожествлению. В те годы романтики, желая бежать от горькой действительности, создавали своих двойников и переносили на них бремя своих мук и честолюбивые стремления. Байрон, создавший Чайльд Гарольда, первый подал тому пример; Виньи создал Стелло, Мюссе — Фортуню и Фантазио, у Жорж Санд была Лелия, у Сент-Бёва — Жозеф Делорм, у Шатобриана — Рене, у Стендаля — Жюльен Сорель, у Гёте — Вильгельм Майстер, у Бенжамена Констан — Адольф... Олицетворение Гюго был Олимпио, «походивший на него, как брат, полубог, рожденный вдали от людей, как единый сплав гордости, природы и любви...».

Выбор имени был гениальной выдумкой. Олимпиец, сраженный титан, который помнит, однако, о своем высоком происхождении, сверхчеловек, способный глубже, чем люди, погрузить свой взгляд в бездны; Божество и вместе с тем жертва богов — таким поклонение Жюльетты приучало Гюго видеть себя. Те годы были для него тяжелым периодом жизни, он знал, что его ненавидят, клеветают на него. «Почти все прежние друзья покинули его, — писал о нем Генрих Гейне, — и, по правде сказать, покинули по его вине: они были обижены его себялюбием». Отсюда и возникла у него потребность обратиться к своему двойнику с прекрасными словами утешения:

О юноша, давно ль талантами твоими
Был очарован свет,
Давно ли похвалой твое звучало имя,
Но постоянства нет —
И треплют честь твою, безумствуя и лая,
Враги, как сто собак,
И, алчностью горя, кругом толпится стая
Бессмысленных зевак!..¹

Страсть, в полном и трагическом смысле этого слова, — вот что завершило формирование поэта, и то, что

¹ Виктор Гюго. К Олимпио («Внутренние голоса»). — Перевод М. Ваксмахера.

он тогда создал, было бесконечно выше не только «Од и баллад», но и «Осенних листьев». Сборник «Песни сумерек», выпущенный Рандюэлем в конце октября, состоял из настоящих шедевров. Название его говорит о смягченном свете. И действительно, после фейерверка «Восточных мотивов» — перед нами поистине прекрасное сочетание простоты и тона, и чеканной формы. Самые обычные обороты подняты до уровня эпической поэзии. Как прекрасны стихи «Наполеон II» и полное почти сыновнего чувства, взволнованное обращение к тени Наполеона I:

Спи! Мы найдем тебя в твоём гнезде орлином!
 Ты стал нам Божеством, не ставши господином.
 О жребии твоём ещё в слезах наш круг.
 Твое трёхцветное для нас хоругвью стало.
 Веревка, что тебя срывала с пьедестала,
 Не замараёт наших рук!

О, справим по тебе мы неплохую тризну!
 А если предстоит сражаться за отчизну,
 У гроба твоего пройдем мы чередой!
 Европой, Индией, Египтом обладая,
 Мы повелим — пускай поэзия младая
 Спойт о вольности младой!¹

Стихотворение, посвященное Луи Б... (Буланже), «Колокол», должно было, по мнению автора, оправдать его политическую позицию. Виктор Гюго воспевал императора, после того как воспевал короля. Отчего бы и нет! Колокол на сторожевой башне — «эхэ небес на земле», на колокольной бронзе вырезаны гербы всех режимов. «Он в центре всего, как звучное эхо», он возвещает о горе и радостях всех людей. Так и поэт создает песни о всякой славе и всех скорбях своей отчизны. Прохожий властной рукою может заставить колокол звонить не только во славу Бога.

Виноват ли поэт, или колокол, в том,
 Что порой ураган в нетерпенье святом
 Налетит, подтолкнет и потребует: «Пой!»
 И тогда, нарушая, взрывая покой,
 Из бурлящей груди, как из царства теней,
 Сквозь пласты запыленных, обугленных дней,
 Сквозь обломки, и пепел, и горечь, и слизь
 Пробивается слово и тянется ввысь!..²

¹ Виктор Гюго. К Колонне («Песни сумерек»).— Перевод П. Антокольского.

² Виктор Гюго. Луи Б... («Песни сумерек»).

Но главным образом Гюго воспевал в «Песнях сумерек» свой духовный и плотский брак с Жюльеттой Друэ. Ей более или менее явно посвящено тринадцать стихотворений¹. Любители скандалов прочли этот сборник скорее как строгие судьи, а не как друзья и, к своему удивлению, обнаружили в нем также стихи, посвященные жене и детям. Стихотворение «Date Lilia» («Дайте лилий») воздавало хвалу добродетелям Адели Гюго,— то была попытка опровергнуть ходившие тогда слухи о разладе в семье поэта, признательность за прошлое и знак дружбы в настоящем:

Смотрите, женщина с детьми выходит в сад.
Высокий чистый лоб, глубокий теплый взгляд...
О, кто б вы ни были,— ее благословите!
Меня связуют с ней невидимые нити —
Пыл, честолюбие, надежды юных дней!
До гробовой доски я предан буду ей².

Это стихотворение, завершавшее книгу, как будто освящавшее ее, привело Сент-Бёва в раздражение, которого он не мог сдержать. Его статья о «Песнях сумерек», сплошь несправедливая, заканчивалась нападками на это домашнее стихотворение: «Можно подумать, что в заключение автор решил разбросать белые лилии перед нашими глазами. Сожалеем, что автор счел этот прием необходимым. Цельность книги от этого пострадала, ее название — «Песни сумерек» — не требовало двойственности. То же отсутствие литературного такта (среди такого блеска и силы)... внушило ему мысль ввести в композицию тома два дисгармонирующих цвета, воскурять в нем два фимиама, уничтожающие друг друга. Он не предвидел, какое впечатление это произведет, а ведь все полагают, что предмет уважения лучше всего было бы почтить и прославить полным умолчанием...»

Адель огорчили эти нескромные комментарии. Хоть ее и обижало, что Жюльетте посвящено столько гимнов, ее все же трогали стихи, относящиеся к жене:

Пускай Господь тебя хранит!
Ты — целомудрия оплот.
Не вырос тот запретный плод,
Который Еву соблазнит...¹

¹ См. «Песни сумерек» — стихотворения XIV, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI и XXXIII.— *Примеч. автора.*

² Виктор Гюго. *Date Lilia* («Песни сумерек»).— *Перевод М. Донского.*

«Не вырос тот запретный плод, который Еву соблазнит...» Муж отводил тут ей роль, которая не была ей неприятна. Новая любовь Виктора Гюго толкала законную жену на сближение с ним, но дружеское, а не чувственное. Она никогда не была пылкой возлюбленной и охотно соглашалась быть теперь только почетной подругой поэта.

Адель — Виктору Гюго:

Не лишай себя ничего. Что касается меня, то мне утехи не нужны, я хочу только спокойствия. Я чувствую себя старой... У меня лишь одно желание — чтобы те, кого я люблю, были счастливы; для меня счастье в моей собственной жизни уже прошло; я жду его в удовлетворенности других. Несмотря ни на что, в этом много приятного. И ты совершенно прав, когда говоришь, что у меня «снижодительная улыбка»... Бог мой! Да делай ты что хочешь, лишь бы тебе было хорошо, — тогда и мне будет хорошо. Не думай, что это равнодушие, — нет, это преданность тебе и отрешение от жизни... Я никогда не злоупотребляю правами на тебя, которые дает мне брак. Мне думается, что ты так же свободен, как холостой человек, ведь ты, бедный друг мой, женился в двадцать лет! Я не хочу, чтобы ты связал свою жизнь с такой ничтожной женщиной, как я. По крайней мере то, что ты даешь мне, будет дано тобою открыто и вполне свободно...

После выхода «Песен сумерек» она постепенно отстранила Сент-Бёва от своей жизни. Она ставила ему в вину не только неприличную статью, но и то, что он повсюду говорил о безнравственности «Песен сумерек». Гюго хотел было вызвать на дуэль своего прежнего друга. Но тут вмешался книгоиздатель Рандюэль. «Да разве возможна дуэль между вами, двумя поэтами?» — возмутился он. Сент-Бёв писал Виктору Пави: «Мы, к сожалению, поссорились — серьезно и уже надолго; по крайней мере я не вижу возможности примирения. Нас разделяют теперь статьи, — статьи, которые нельзя ни уничтожить, ни исправить...»

Поразительная вещь, Жюльетта, так великолепно прославленная поэтом, проявила больше ревности, чем Адель, видя, что критики приписывают последнему в сборнике стихотворению — «Date Lilia» — смысл «возвращения к семье».

Жюльетта — Виктору Гюго, 2 декабря 1835 года:

«Не одна я замечаю, что за последний год ты очень переменялся и в привычках и в чувствах. Вероятно, я единственная, для кого это — смертельное горе, но что за важность, раз тебе у домашнего очага весело, а семья твоя счастлива...»

¹ Виктор Гюго. XXXVI («Песни сумерек»).

Особенно же она сетовала на то, что стала менее желанна для него:

«Уверю вас, шутки в сторону, мой дорогой, мой миленький Тото, мы с вами ведем себя самым нелепым образом. Пора покончить скандальную историю, когда двое влюбленных живут в строжайшем целомудрии...»

Ей нужен был *Виктор любящий*, а не *Виктор преданный*.

«Никогда я не намеревалась жить с тобою иначе, чем *любимая тобою любовница*, и не хочу быть женщиной, зависящей от бывшей любви. Я не прошу и не хочу отставки с пенсией...»

Она угадывала с прозорливостью любящей женщины, что, достигнув высочайшего мастерства в искусстве, он уже мечтает о триумфах на другом поприще, хочет быть государственным деятелем, социальным реформатором, пророком. Когда она это говорила ему, он протестовал:

Друг! Когда твердят про славу,
Рассмеяться я готов:
Верят ей, но лжет лукаво
Обольстительницы зов!

Зависть факел свой багряный
Раздувает и чадит
В очи славе — истукану.
Что у входа в склеп сидит...

Пой, буди огонь томленья!
Смейся! Смех твой — тихий свет.
Что нам бури и волненья,
Света людских сует? ¹

Но она была права, думая, что ни толпа, ни гул ее для него не безразличны и что, познав полное счастье любви и славы, он на некоторое время пожертвует ими ради честолюбия.

¹ Виктор Гюго. Друг! Когда твердят про славу... («Лучи и Тени»). — Перевод Н. Вольпиной.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ

Глава первая

«ЛУЧИ И ТЕНИ»

Когда он, по прошествии некоторого времени, сделался франтом, она печально сказала ему однажды: «Бенжамен, вы заняты своим платьем, вы разлюбили меня».

Сент-Бёв, Госпожа де Шарьер

В юности сочиняют любовные стихи, но иные желания владеют поэтом, вступающим в пору зрелости. Между 1836 и 1840 годами Виктора Гюго тревожит мысль, что он не приобрел никакого значения на общественном поприще. Воспевать лесные кущи, солнце и Жюльетту — прекрасное занятие, но им не может удовольствоваться человек, стремящийся стать «вожаком душ».

Будь проклят тот, кто убегает,
Когда кричит, изнемогает
И бедствует народ!
Позор тебе, поэт беспечный,
Коль ты, мурлыча стих увечный,
Бежишь из городских ворот...¹

В стихотворных сборниках той поры — «Внутренние голоса» (1837), «Лучи и Тени» (1840) — поэт все чаще задумывается над сокровенной природой вещей. С горных вершин, со скал морских он вопрошает Бога:

Господь, да есть ли прок в творении твоём?
Зачем течет поток, зачем грохочет гром?
Зачем ты крутишь на оси наклонной
Сей жуткий шар с его травой зеленой,
С нагромождением гор, с просторами морей...
Зачем его крутить, скажи, Господь, скорей,
И погружать то в бездну ночи мрачной,
То в золотистый свет зари прозрачной?²

¹ Виктор Гюго. Призвание поэта («Лучи и Тени»).

² Виктор Гюго. Мир и век («Лучи и Тени»).

Но ответа нет. *Pensar, dudas* — мыслить — значит сомневаться. Сквозь величественные картины природы поэт прозревает Бога, принявшего облик вещественного мира, но сей незримый, безмолвный Бог никогда не является людям, и судьба, схвативши человека за ворот, грозно вопрошает его: «*Душа, во что ты веришь?*»

Вселенная, ты сфинкс; перед тобой
Теряется в догадках ум любой,
Страшась прозреть, страшась найти ответ,
Молчит, не говоря ни да, ни нет.

Давным-давно живем без веры мы —
Без факела среди кромешной тьмы,
Без слова утешенья на земле,
Без кормчего на нашем корабле!..¹

Но в делах земных не имеет значения, убежден ты или нет в существовании сверхъестественных сил. «Наш век велик и могуч, им правит благородный порыв». Гюго жаждет занять место среди тех людей, кто формирует сознание народов. Шатобриан, служивший Гюго образцом, был пером Франции, послом, министром иностранных дел. Вот путь великих мира сего, на который он намеревался ступить. Но во времена Луи-Филиппа среди писателей званием пера мог быть пожалован только член Французской Академии. Правда, в те годы, когда были созданы «Кромвель» и «Эрнани», Гюго и его друзья немало поиздевались над академической братией, но он слишком хорошо знал мир литераторов и был уверен, что члены Академии не станут попрекать талантливых писателей прежними обидами. Разве питали бы они к нему столь ярую ненависть, если б не любили его? Начиная с 1834 года Гюго наметил набережную Конти как первую ступень на пути осуществления своих честолюбивых стремлений и с присущим ему железным упорством приступает к осаде крепости. «Гюго возымел намерение попасть в Академию, — язвительно писал Сент-Бёв. — Лишь сей предмет его занимает, он с важностью часами толкует о нем. Прогуливаясь с вами от бульвара Сент-Антуан до площади Мадлен, он, по рассеянности, непрестанно говорит все о том же. Коль скоро единая мысль засядет в голове Гюго, все в нем приходит в движение и сосредоточивается на ней.

¹ Виктор Гюго. *Pensar, dudas* («Лучи и Тени»).

И вот уж близится тяжелая конница его остроумия, влекутся пушки, обозы и метафоры...»

Его любовница Жюльетта и дочь Дидина и слышать не хотели о зеленом мундире. В них воспитали отвращение к золотому шитью, и вкусы их отличались завидным постоянством. Жюльетта опасалась, что выдвижение кандидатуры Гюго в Академию и светские обязанности, которые это повлечет за собой, отнимут у нее возлюбленного. Однако, добившись позволения сопровождать великого поэта, когда он ездил наносить визиты, и терпеливо ждать его, съездившись в уголке кабриолета, пока он звонил у дверей, она решила, что ей представилась отличная возможность «воспользоваться хоть малыми крохами, оброненными им по пути». И она ревниво добавляет: «Таким образом я буду знать, сколько времени вы проводите в обществе жен и дочерей академиком». Затем она вошла во вкус: «Сегодня на редкость удачная погода для охоты на бессмертных, и было бы непростительно не воспользоваться этим».

Но после выборов, состоявшихся в феврале 1836 года (надо было найти замену умершему виконту Лэне), она с торжеством возвестила о провале кандидатуры Гюго: «Приблизительно через три часа вы перестанете быть академиком, мой милый Тото, с чем и можете себя поздравить. Я, которой ничуть не дороги политические преимущества, облеченные в академическое платье, молю Бога о том же, что и мадемуазель Дидина, и заранее ликую при мысли, что вы останетесь моим без всяких приправ...» Действительно, избрали Мерсье Дюпати, быстро забытого сочинителя легковесных комедий, что дало Гюго повод горько заметить: «Я полагал, что путь в Академию лежит через мост Искусств. Увы, я заблуждался, ибо попадают туда, как видно, через Новый мост». Между тем упомянутый Дюпати с истинно светской любезностью велел отнести в дом на Королевской площади свою визитную карточку со следующим четверостишием:

Взошел я на престол до вас —
Мой возраст мне открыл дорогу.
Бессмертны вы уже сейчас —
Так подождите же немного!

В ноябре 1836 года Гюго возобновляет посещения нужных людей. Но в своем письме к брату Теодору Виктор Пави выражает сомнение в возможности его успеха: «Ламартин ранен в колено и вряд ли вернется

к тому времени. Гизо, который выставляет кандидатуру Гюго против Минье, выдвинутого Тьером, еще не успеют принять, и он не получит права голосовать. Гиро сидит в Лиму и гонит белое вино. Определенно можно рассчитывать только на Шатобриана и Суме, ибо Нодье, дряхлый изменник, переметнулся в стан классицистов...» Действительно, Ламартин и Шатобриан, два добрых гения семьи, голосовали за Гюго, но победил Минье. «Если бы голоса взвешивали, Гюго был бы избран,— писала Дельфина Гэ.— К несчастью, их только считают». Подруга юности Гюго стала весьма влиятельной особой, так как вышла замуж за циничного и дерзкого Эмиля Жиардена. Отдав в свое время щедрую дань романтизму, она теперь круто повернула к антиромантизму, после Стелло — к Растиньяку; Дельфина восхищалась своим мужем, который незадолго до того основал газету «Ла Пресс», где она сама помещала блестящие статьи ва подписью «Виконт де Лонэ». По просьбе Жиардена Гюго написал для первого номера газеты программную статью, изложив в ней главнейшие положения политики консервативной и в то же время верной принципам 1789 года. Таким образом, он принадлежал к сотрудникам газеты, и его друг Дельфина Гэ разоблачила на страницах «Ла Пресс» «величайший скандал, разразившийся на этой неделе», строго отчитав членов Академии: «Господа, Франция требует от вас достойно почтить человека, перед которым она преклоняется, и увенчать лаврами ее даровитого сына, стяжавшего ей славу в чужих пределах...» Она была совершенно права, но почтенные собрания, подобно тяжеловесным животным, не отличаются поворотливостью.

Потерпевший поражение, но не смирившийся кандидат вернулся к будничным делам. Он все сильнее привязывался к детям. Прелестная Дидина, рассудительная, умная и сдержанная девочка, по-прежнему оставалась любимицей Гюго и становилась понемногу его наперсницей. Преждевременно повзрослевшая из-за разлада в семье, Леопольдина отличалась недетской серьезностью; мать рисовала очаровательные карандашные портреты дочери, обнаруживая в них истинный талант. Денежные дела четы Гюго шли как нельзя лучше благодаря переизданию книг поэта и возобновлению постановок его пьес. Ежегодно они вкладывали изрядную сумму денег в государственную ренту. И тем не менее Гюго требовал от своей жены строгого отчета во всех расхо-

дах. Он давал ей тетради, разграфленные с помощью линейки на столбцы, озаглавленные: «Стол», «Содержание» (Адель), «Содержание» (дети), «Воспитание», «Галантерея», «Разные расходы», «Жалованье прислуге», «Дорожные расходы», «Ссуды». В них должны были заноситься малейшие траты, даже такие, как 0 фр. 12 сант. на омнибус или 2 фр. на прическу у парикмахера Эмери, улица Сент-Антуан, 31. Заглянув в тетради, можно было узнать, например, что в 1839 году госпожа Гюго восемнадцать раз причесывалась у парикмахера. С возрастом Адель не стала более рачительной хозяйкой. Несмотря на внешнее великолепие, дом на Королевской площади содержался кое-как. Виктор Гюго работал «в каморке, где было холодно, как в леднике», его матрасы были набиты шляпками от гвоздей, к его белью не пришивали пуговиц, а платье его не штопалось. Таково, во всяком случае, заключение Жюльетты Друэ, свидетеля пристрастного.

Адель изредка еще писала Сент-Бёву, но, по его мнению, эта «любовь» стала для нее просто грезой о минувшем, и он не ошибался. «Она чувствовала, что стареет, здоровье ее внушало ей опасения, и как знать, не почла ли эта благочестивая женщина своим долгом порвать любовную связь, которую она уже не могла оправдывать непреодолимым влечением?» Раздосадованный неудачей, Сент-Бёв написал тогда в своих тетрадях немало жестоких слов о Викторе Гюго: «Гюго-драматург — это Калибан, возомнивший себя Шекспиром... Гюго упрекает меня в том, что я занимаюсь слишком незначительными сюжетами. Не хочет ли он дать понять, что я не занимаюсь более им самим?.. Гюго — софизм в пышном убранстве». Не пощадил он и Адель: «В ранней юности легко мирятся с отсутствием в женщине ума, когда есть красота, за которую ее любят, как и с отсутствием трезвого рассудка, когда есть талант, за который человека обожают (я подметил это в супругах Гюго, как в нем, так и в ней)...» Такая пронизательность, подобно острому клинку, ранит того, кто ее проявил, и Сент-Бёв страдал.

Все лето 1836 года, с мая по октябрь, госпожа Гюго провела с детьми уже не в Роше, а в Фурке (в лесу Марли), подле стареющего Фуше. В августе их навещал Фонтане, он с восторгом вспоминал проведенный там день: «Давно уж не было столь веселого обеда. Виктор без сюртука, сиречь в женином пеньюаре, был

неподражаем в своем радостном одушевлении... Груды жареного мяса. Визит священника. Господин Фуше и его война с гусеницами...» Приезд отца был для детей настоящим праздником. Когда он покидал их, отправляясь путешествовать с Жюльеттой, Дидина писала ему: «Мне жаль тебя, бедный папочка, как подумаю о том, сколько лье ты исхаживаешь пешком, а после таких утомительных походов тебе приходится довольствоваться скверным ужином. Впрочем, я не очень огорчаюсь, так как надеюсь, что из-за этого тебе захочется (1) поскорее возвратиться в наш милый Фурке. А мы тебя тут ждем и любим (1) всем сердцем...» Когда он возвращался в свой дом на Королевской площади, к нему приезжала жена, а дети оставались в Фурке. Леопольдина писала матери: «Мы встаем около восьми. Идем в церковь, завтракаем. Я разучиваю фортепианные пьесы, Деде играет... Ежедневно приходит кюре, спрашивает у меня урок по катехизису, ужинает у нас, проводит с нами вечер... Спроси у папочки, не купит ли он мне романс под названием «Монастырские прачки». Премилая *вешитца* (1). Ежели нет, купи сама. Так или иначе, а ему придется раскошелиться...»

Леопольдина готовилась к первому причастию под руководством аббата Русселя, приходского священника в Фурке, и своего деда, сочинявшего для нее духовные гимны. Мы располагаем «Тетрадью уединения» Дидины — девяносто две страницы «Разбора подготовительных наставлений к моему первому причастию».

На церемонии, которая состоялась 8 сентября, в воскресенье, в день Рождества Богородицы, в приходской церкви Фурке, присутствовали Виктор Гюго, Роблен и Теофиль Готье. Леопольдина, единственная, пришедшая к первому причастию, преподавала собравшимся урок истинной веры. Своим простодушием и невинной прелестью она тронула сердца даже закоренелых безбожников. Огюст де Шатийон запечатлел сцену на полотне. Еще 20 августа госпожа Гюго отослала священнику полное собрание сочинений своего мужа в двадцати томах с переплетом (цена 40 франков), попросив издателя Рандюэля «потихоньку» вычесть стоимость посылки из гонорара автора.

Жюльетта Друэ пожертвовала для белого платья конфирмантки — о, романтизм! — своим старым платьем из органди, облачком полупрозрачной ткани, напоминавшим о временах расточительной роскоши. После бо-

гослужения Гюго отправился в Париж, чем немало разочаровал гостей, собравшихся на званый обед, который давали Пьер Фуше с дочерью для всего окрестного духовенства. Адель Гюго — боязливый бухгалтер — писала мужу: «Расходы на первое причастие Дидины не превысили двухсот франков... Конечно, довольно дорого, но как только Шатийон закончит свою картину, он уедет, и я закрою двери дома для всех...» В Фурке царили строгие порядки.

Шестнадцатого апреля 1837 года Гюго и Сент-Бёв присутствовали на похоронах Габриеллы Дорваль, «совершенства красоты», умершей двадцати одного года от роду, любовницы Фонтане, старшей дочери Мари Дорваль. Неприятнейшая встреча!

Сент-Бёв — Ульрику Гуттенгеру, 28 апреля 1837 года:

«Нас было пятеро в фиакре, в том числе Гюго, Барбье, я, Боннер (из «Ревю де Дё Монд»). Недоставало только Виньи! Из этих пятерых трое — я и Гюго с одной стороны, Боннер и я — с другой — не разговаривали друг с другом, делали вид, будто мы незнакомы, а ведь все трое сидели в одном фиакре, нос к носу. Вот уж действительно похороны!» Дружеские чувства в их сердцах были более мертвы, чем юная покойница Габриелла. «Гюго, хладнокровный, бесстрастный, беседовал с несчастным Фонтане, — вспоминал Барбье. — Беспокойный, взвинченный Сент-Бёв не проронил ни слова и упорно глядел в окно фиакра. Если бы он мог сбежать, он, без сомнения, сделал бы это...»

В течение некоторого времени Сент-Бёв еще надеялся, что ему удастся вернуть Адель. 20 июня 1837 года он писал Гуттенгеру: «Она не выходит из своей комнаты, не переносит ни езды в экипаже, ни прогулок пешком. Мне лишь с великим трудом, после долгих перерывов удается получить весточку от нее. Увы! На днях я бродил вечерней порой в толпе ликующих людей, под этим волшебным прекрасным небом, стеная и плача, словно раненый олень...» Он сделал попытку вновь завоевать ее любовь, напечатав в «Ревю де Дё Монд» более чем прозрачную повесть «Госпожа де Понтиви». Там он описывал любовь несчастливой в браке женщины, разочарованной, одинокой и непонятой из-за своей пугливой застенчивости, к некоему Мюрсе, ее другу, которому автор «искренне сочувствует». Жизнь ее чем-то напоминала те глубокие и узкие ложины, куда солнце заглядывает не ранее одиннадцати часов, когда лучи его уже опаляют зноем...» Наконец госпожа де Понтиви воспылала

страстью и, несмотря на то что ее «чувствительность дремала», ни в чем не отказывала своему другу, однако не потому, что разделяла его любовные желания, а потому, что хотела дать ему полноту счастья. Но затем любовь ее словно бы угасает сама по себе. Мюрсе скитается в самых уединенных местах, непрестанно повторяя про себя: «*Все кончено! Оставь меня!*» Однако под занавес все улаживается благодаря настойчивости Мюрсе, и счастливые влюбленные соединяют руки уже на склоне лет.

Но жизнь не всегда складывается так, как хотелось бы писателю. Действительность же такова, что госпожу Гюго возмутило сочинение, явно предназначавшееся ей, тем более явно, что незадолго до того Сент-Бёв преподнес ей в дар книжку своих стихов, в которой содержались и стенания самого Мюрсе:

Все кончено! Оставь меня! Опять весна...
Я жажду летнего огня;
На нивах и в сердцах восходят семена.
Все кончено! Оставь меня!

Виктор Гюго также прочел повесть «Госпожа де Понтиви», напечатанную в журнале. Когда до него дошло, что Сент-Бёв твердит всем и каждому, что новелла написана с единственным намерением «успокоить дорогую ему особу», он пришел в ярость. По всей видимости, тогда же между супругами было решено пригласить болтливого сочинителя в дом на Королевской площади и недвусмысленно дать ему понять, чтобы он впредь забыл дорогу к ним. Жестокое объяснение произошло примерно в октябре 1837 года. Почти тотчас после него Сент-Бёв отправился в Швейцарию, в Лозанну, где ему предстояло читать курс лекций о Пор-Рояле. Отъезд на чужбину пришелся как нельзя более кстати. Сент-Бёв — Гуттенгеру: «Я знаю теперь, что моя личная жизнь не удалась. Мне осталось искать спасительного прибежища в литературе...» Позднее, 18 мая 1838 года, он писал: «Покидая Париж в октябре, я был мрачен, о, как мрачен! И у меня имелись для того все основания... На Королевской площади я испытал то, что мог бы в разговоре с вами выразить в двух словах: с одной стороны была предательская и неуклюже подстроенная ловушка, под стать нашему Циклопу; с другой — неслыханная и поистине глупейшая доверчивость, показавшая мне всю меру ума той особы, которую не

умудряет более любовь...» Терзаясь обидой, Сент-Бёв высказал о несчастной Адели поразительно жестокие и несправедливые суждения. Возвратившись в Париж, он записал следующее: «Вновь видел А. Неужели мне дано было убедиться в справедливости изречения Ларсшфуко: *«Прощают, когда любят?»* Впрочем, с любовью, кажется, все кончено, во всяком случае, с этой любовью». А три года спустя он написал в своем дневнике: *«Я ненавижу ее»*. Но Сент-Бёв всегда с гордостью вспоминал о единственной победе, лестной для его самолюбия, и с гневом — об оскорбительном разрыве. До конца своей жизни он продолжал, хоть и редко, видеться с Аделью и переписываться с нею. Вот что говорил он в письме к Жорж Санд уже в 1845 году: «Я по-прежнему безутешен оттого, что не люблю и не любим более; оттого, что упование на будущее более не поддерживает меня в моих повседневных горестях и в беспросветном моем отчаянии, как в доброе старое время, когда мы были столь несчастны...»

Что касается Виктора Гюго, разрыв повлек за собой необходимость по справедливости поделить себя между женой и возлюбленной. Жюльетта жила только своей любовью, омрачаемой, правда, нуждой и взрывами недовольства. Гюго поселил ее в доме № 14, в квартале Марэ, на улице Сент-Анастав, по соседству с Королевской площадью. Стены ее квартирки были все увешаны портретами и рисунками домашнего Божества. Всякий раз, как влюбленные наведывались в антикварные лавки, они приносили оттуда то готические статуэтки, то старинные ткани. В спальне, между ложем и камином, где «уютно потрескивали пылающие дрова», Жюльетта устроила уголок, где поэт мог работать, и там его ждали остро очиненные гусиные перья, всегда заправленная масляная лампа и стопка голубой бумаги. Лежа в постели, она безмолвно созерцала «милую голову», в которой рождались величественные строки: «Давеча я глядела на тебя и любовалась твоим благородным и прекрасным лицом, исполненным вдохновения...» Проведенные вместе часы сторицей вознаграждали ее за все унижения:

Она сказала: «Да, мне хорошо сейчас.
Я не права. Часы текут неторопливо,
И я, от глаз твоих не отрывая глаз,
В них вижу смутных дум приливы и отливы...»

У ног твоих сижу. Крогом покой и тишь.
Ты лев, я горлица. Задумчиво внимаю,
Как ты страницами неслышно шелестишь,
Упавшее перо бесшумно поднимаю...»¹

И надо сказать, такое обожание было приятно Гюго. Но слепым это поклонение назвать нельзя. У Жюльетты накопилось немало поводов для обид и ревности, ибо в доме на Королевской площади была потайная лестница, которая вела прямо в кабинет Гюго, и Жюльетта, время от времени сама ходившая по этой лестнице на свидание к своему «обожаемому», отлично знала, что и другие женщины уступали в этом кабинете неотразимым чарам его хозяина.

Жюльетта — Виктору Гюго:

«Вы красивы, слишком красивы, и я ревную вас, даже когда вы находитесь подле меня. О прочем судите сами... Мне хочется, чтобы я одна любила вас,— ведь я люблю вас так, что мое чувство может заставить вас забыть о любви всех других женщин...»

Без сомнения, причину целомудрия ее возлюбленного, на которое она не однажды сетовала, следовало искать в его тайных наслаждениях. Несколько раз она обличала его во лжи. Он говорил ей: «Мне надо съездить за город навестить семью», но потом она обнаруживала, что семья Гюго еще и не выезжала на дачу. Кто же были виновницы таинственных отлучек?

Сначала Жюльетта ревновала Гюго к мадемуазель Жорж и Мари Дорваль, а теперь страшилась соперничества своей шляпницы и танцовщицы из Оперы, мадемуазель Лизон. Искусительницы испытывали все средства обольщения на мужчине, который и не думал противиться соблазну. У потайной двери звонили актрисы, жаждущие ролей, юные и пылкие кокетки парижского света, начинающие писательницы. Гости и Гюго беседовали о поэзии, устроившись на диване. «Если бы я была королевой,— говорила Жюльетта,— я не выпускала бы вас иначе чем в железной маске, тайна которой была бы известна только мне». Но цепи носила она сама, и неверный возлюбленный, как и прежде, запрещал ей отлучаться из дому без него. «Зачем держать меня в заточении? — сетовала Жюльетта.— Я люблю вас, и любовь моя лучше самых крепких и надежных запоров...» Она не могла смириться с подобной тиранией: «Скоро минет четыре года с того дня, как ваша любовь лавиной обру-

¹ Виктор Гюго. Слова, сказанные в полумраке («Созерцания»).— Перевод Э. Линецкой.

шила на меня, и с тех пор я не вправе ни двинуться, ни свободно вздохнуть. Моей вере в вас грозит гибель под развалинами нашей связи...»

Вероятно, она не вынесла бы такой жизни, если бы не их путешествия, — каждое лето она получала желанную передышку. Семейство (то есть Адель с детьми) уезжало в Фурке или Булонь-сюр-Сен, жило там на лоне природы, и в течение полутора месяцев влюбленные, став на время супругами, отправлялись в Фужер, родной город Жюльенны Говэн, либо в Бельгию, пленявшую Гюго перезвоном колоколов, башнями и старинными домами.

Он ежедневно отправлял письма Адели.

17 августа 1837 года:

«Дорогая, Брюссель меня просто ослепил... Городская ратуша — поистине жемчужина зодчества и красотой своей может поспорить со шпилем Шартрского собора... Скажи Дидине и Деде, Шарло и Тото, чтоб они поцеловали друг друга от моего имени... В церкви я думаю о тебе и, выходя на улицу, чувствую, что еще сильнее люблю всех вас, если только это возможно...»

19 августа 1837 года: «Малинский собор весь одет настоящими кружевами из камня...»

Из Антверпена в Брюссель путешественники ехали по железной дороге:

«Скорость невообразимая; цветы, растущие у дороги, уже не цветы, а красные — белые ленты; отдельных образов нет, все сливается в полосы. Спелые хлеба похожи на бесконечные волны желтых волос, а заросли люцерны — на длинные зеленые пряди...»

Страницы дорожного альбома покрываются прекрасными зарисовками углем в духе Рембрандта.

С тех пор как оборвалась тонкая ниточка чувства, связывавшая Адель с Сент-Бёвом, она не могла с прежним великодушием мириться с отлучками мужа: «Ты не должен путешествовать без меня в будущем году. Так я решила. Полагаю, что имею на то право. Не подумай только, что я шучу. Если нам окажется невозможным путешествовать вместе, я сниму здесь дом, где мне будет приятнее проводить время в обществе отца и моей сестры Жюли, на которую я стану дурно влиять. Ты вполне можешь не ездить ежедневно в Париж и обосноваться в деревне: ведь сообщение с городом теперь очень простое. Сделай, как я говорю, и ты подаришь мне, друг мой, целый год счастья, стоит тебе захотеть. Нередко, когда ты говоришь мне, что это невозможно, я притворяюсь, будто верю тебе, чтобы не лишать тебя душевного спокойствия, но слова твои не убеждают меня...»

Виктор Гюго дал в письме весьма туманный ответ, но, казалось, готов был уступить.

Дьепп, 8 сентября 1837 года:

«Путешествие — это скоро рассеивающийся дурман, счастье обретается лишь под семейным кровом...»

Всякий легкомысленный, но не черствый человек нередко вынужден говорить то, чего не думает, и раздавать обещания, которые не может выполнить.

Другим источником утешения для Жюльетты была «Красная книга годовщин», которую она держала под подушкой и в которую ежегодно 17 февраля, 26 мая и в дни прочих торжеств, записывались сочиненные по этому случаю стихи. Она восторженно благодарила Гюго: «Я думаю, если Господь когда-либо явится мне, он предстанет в твоём облике, ибо ты моя вера, мой Бог и надежда моя. Тебя одного Бог создал по образу своему и подобию. Следовательно, в нём я люблю тебя, а в тебе поклоняюсь ему...» Такое обожествление пробудило в Гюго дух Олимпио. Ей страстно хотелось совершить с ним паломничество в Метс, где они были так счастливы. Он отправился туда в октябре 1837 года без нее, чтобы остаться там наедине с воспоминаниями. После подобных свиданий с прошлым из-под пера Ламартина и Мюссе вышли шедевры. Гюго жаждал померяться с ними:

Он жаждал вновь узреть: и пруд в заветном месте,
Лачугу бедняков, что посещали вместе,

И одряхлевший вяз,

То дерево — оно в глуши лесной укрыто.

Убежище любви, где души были слиты

И губы много раз.

Упорно он искал и дом уединенный,

Ограду и густой, таинственный, зеленый,

Знакомый сад за ней.

Печален он бродил, а перед ним в смятенье

Под каждым деревом, увы! вставали тени

Давно минувших дней¹.

Дни, проведенные в раздумье и в прогулках по тем местам, где он познал нежнейшую свою страсть, завершились созданием поэмы «Грусть Олимпио». Отчего же «грусть» после такого счастья? Оттого, что контраст между вечно прекрасной природой и быстротечными радостями человека болезненно ранил поэтов романтической школы:

¹ Виктор Гюго. Грусть Олимпио («Лучи и Тени»).— Перевод Н. Зиминой.

Как безвозвратно все уносится забвеньем,
Природы ясный лик изменчив без конца,
И как она легко своим прикосновеньем
Рвет узы тайные, связавшие сердца!..

Пройдут другие там, где мы бродили ране,
Настал других черед, а нам не суждено.
Наш вдохновенный сон, и мысли, и желанья
Дано продолжить им, но кончить не дано..

Ну что ж, забудьте нас, и дом, и сад, и поле,—
Пусть зарастет травой покинутый порог,
Журчите, родники, и, птицы, пойте вволю,—
Вы можете забыть, но я забыть не мог!

Вы образ прошлого, любви воспоминанья,
Оазис для того, кто шел издалека.
Здесь мы делили с ней и слезы и признанья,
И здесь в моей руке была ее рука...

Все страсти с возрастом уходят неизбежно,
Иная с маскою, а та сжимая нож —
Как пестрая толпа актеров безмятежно
Уходит с песнями, их больше не вернешь ¹.

В этих строках поэт бросает вызов времени. Желая сильнее поразить воображение читателей, Гюго воплотил свой замысел в самых бесхитростных картинах природы, в самых безыскусных воспоминаниях. «Озеро» — прекрасное стихотворение Ламартина, поэма Гюго имела не меньше достоинств. Жюльетта переписывала ее и в простоте душевной называла ее «стихами, где говорится о наших прежних прогулках», и, впервые за долгое время, не выразила должного восхищения этим великолепным подарком, который Гюго ей преподнес. Возможно, она не испытала особой радости, видя, что он называет минувшим то, что в ее глазах было вечностью. Жюльетта только просила его вернуться с ней в милую ее сердцу долину, так как была уверена, что ей легче, чем ему, удастся отыскать те уголки, где они были счастливы. О женщины, как любит точность ваш практический ум! Вы им толкуете о вечности, а они вам — о топографии.

Как и Жюльетта, критики не признавали тогда совершенства творения, брошенного им к ее ногам с царственной щедростью. В своей статье о «Внутренних голосах» Гюстав Планш утверждал, что лирическая поэзия Гюго является скорее игрою слов ради слов, чем художественным средством выражения мысли, что автору,

¹ Виктор Гюго. Грусть Олимпио («Лучи и Тени»).— Перевод Н. Зиминой.

хотя он «пользуется цезурой и рифмой с мастерством искусного тактика», не удается показать «живых людей рода человеческого». Планш признавал, что в «Осенних листьях» поэт на время отказался от виртуозности ради большей искренности в передаче чувств, но, как утверждал критик, Гюго затем вновь вернулся к праздному суесловию.

«Олимпио» вызвал раздражение у Планша: «Нам очень жаль, но самое имя Олимпио — совершеннейшая нелепость». Нетрудно, впрочем, догадаться, что побудило господина Гюго придумать сию несуразность. Очевидно, в его мыслях представление о собственной особе связано с образом Юпитера Олимпийского...: Понимая, что заявить: «Я самый выдающийся человек века» — было бы дурным тоном, господин Гюго взгромождается на трон и нарекает себя Олимпио...» И далее: «Господин Гюго утратил ясность ума, ибо обнаружил в себе и жреца и алтарь; он основал новую религию, которую я предлагаю назвать *самообожествлением*...» Короче говоря, критик ставил Гюго в вину то, что за пышностью образов он якобы прячет отсутствие мысли и, по непомерному тщеславию, замыкается в гордом одиночестве: «Если изучение книг и людей не поможет ему согреть свою поэзию тем человеческим теплом, которого ей недостает, он оставит по себе только славу человека, научившего своих современников обращению с инструментом, музыки для которого он не написал...» Поистине ненависть мешает видеть прекрасное.

Пятого марта 1837 года скончался несчастный Эжен Гюго. В начале душевной болезни разум его временами прояснялся. Фонтане случайно встретил его при посещении приюта для умалишенных в Сен-Морисе.

3 апреля 1832 года:

«Еду в Шарантон... Двор отделения буйнопомешанных... Брат Виктора. Он встает, вспоминает о поэзии, о премии, которой был удостоен в Тулузе...»

Затем бедняга окончательно лишился рассудка и памяти. Братья навещали его, но редко, потому что до Сен-Мориса (Шарантон) было недалеко, вырваться из Парижа было нелегко, а врачи не отличались словоохотливостью. Виктора никогда не оставляло чувство вины перед братом, заживо погребенным в каменном склепе. Чтобы умилостивить докучливую тень, он совершил своего рода жертвенное возлияние, сочинив стихотворение «Эжену, виконту Г...»:

Коль пожелал Господь обречь тебя страданию,
 Коль пожелал Господь божественную дланью
 Главу поэта сжать,
 И, обратив ее в святой сосуд экстаза,
 Влить пламень гения, и возложить на вазу
 Могильную печать...¹

Он вспомнил их детские игры: «...Ты, верно, помнишь нашу юность. Ты, верно, помнишь сад зеленый фельянтинок». Они были счастливы вместе, вместе открывали прекрасный мир, вместе делали первые шаги по цветущему лугу. Но безвозвратно ушли в прошлое чистые мечты отрочества — того, кто умер, и того, кто продолжает жить:

Тебе отныне спать на том холме зеленом,
 Что высится один под зимним небосклоном
 И всем ветрам открыт,
 Тебе отныне спать в сырой холодной глине,
 А мне остаться здесь, средь городской пустыни,
 Моя судьба велит.

А мне остаться здесь, дерзать, страдать, сражаться
 И шумной славою своею упиваться,
 Скрывая под полой,
 Как в Спарте некогда свирепого лисенка,
 Все муки зависти, и улыбаться тонко
 В когтях обиды злой².

Не правда ли, сетуя на жизнь, мы как бы стараемся утешить души усопших? «Не сожалей ни о чем. Ведь ты вкушаешь вечный покой», — говорит Живущий, и это дает ему право на забвение. Абель Гюго прислал счета:

Уплачено за экипаж и мелкие расходы на похоронах	17 фр. 60 сант.
Уплачено по счету за Эжена	165 фр.
	<hr/>
	Итого 182 фр. 60 сант.

Из коих половина на долю Виктора... 91 фр. 30 сант.

Мрачная арифметика, но братья Гюго прошли строгую житейскую школу, где их учили считать сантимы. В соответствии с обычаями испанского дворянства после смерти Эжена, который был старше, Виктор становился виконтом Гюго. То был первый шаг на пути к званию пэра. Отныне Адель подписывалась «виконтес-

¹ Перевод М. Ваксмахера.

² Виктор Гюго. Эжену, виконту Г... («Внутренние голоса»). — Перевод М. Ваксмахера.

са Гюго», даже если письмо предназначалось близкой подруге. События время от времени вознаграждали супругу Виктора Гюго за ее снисходительность.

Глава вторая

ЖЮЛЬЕТТА ПОД КУПОЛОМ АКАДЕМИИ

Большинство знаменитых людей живут в состоянии проституирования.

Сент-Бёв. Записные книжки

Слава — это род недуга, которым заболеваешь после того, как она тебе приснится.

Поль Валери

В 1837 году герцог Орлеанский женился на принцессе Елене Мекленбургской. У Виктора Гюго отношения с наследником престола были лучше, чем с Луи-Филиппом. Помимо личных обид (запрещение пьесы «Король забавляется»), он упрекал правительство Июльской монархии в том, что оно не отвечает своему происхождению. Будучи порождением революции, оно покровительствует реакции. Гюго все больше осознавал долг поэта перед униженными и оскорбленными. Уже в 1834 году в своем «Ответе на обвинительный акт», явившемся красноречивым манифестом в защиту языка романтиков¹, он объявил, что все слова свободны и равны, все одинаково важно, и разрушил «бастилию рифм». Однако «он понимал, что гневная рука, освобождающая слова, освобождает мысль».

Противники монархического строя — республиканцы, группировавшиеся вокруг газеты «Насьональ», — надеялись привлечь к себе Виктора Гюго, но он считал, что Франция еще не созрела для Республики. Его соблазнял некий социальный бонапартизм. Но где взять Бонапарта? Герцог Рейхштадский умер. Режим Июльской монархии, казалось, укреплялся. Газета Эмиля Жирардена, профессионального оппортуниста, состоявшего в числе приятелей Виктора Гюго, была сверхпреданной правительству и пыталась завербовать такого ценного новобранца, как Гюго. «Жирарден, — говорил Сент-Бёв, — старается, по-видимому, поймать крупного кита

¹ Опубликован был лишь позднее, в «Созерцаниях» (1843). — *Примеч. автора.*

и, думаю, поймает его». Вместо короля, которого Гюго считал слишком осторожным и к нему невнимательным, он сблизился с герцогом Орлеанским, надеждой всех сторонников либеральной политики. Поэт обратился к нему с ходатайством за старика профессора, сделав это с некоторым кокетством («Примете ли вы, ваше высочество, ходатайство неизвестного за неизвестного?»). Просьба тотчас была удовлетворена, затем Гюго написал благодарственное стихотворение, которое и привело к знакомству наследного принца с поэтом. Когда Луи-Филипп по случаю свадьбы наследника престола дал банкет в Зеркальной галерее Версальского дворца, Гюго был приглашен на него. Сначала он хотел отказаться. Присутствовать на банкете, устроенном для полутора тысяч человек, казалось ему скучной и незаметной честью. Кроме того, король, давно уже выказывавший холодность Александру Дюма, отказал романисту в приглашении. Гюго заявил, что без Дюма он не пойдет. В дело вмешался герцог Орлеанский, добился возвращения милости Дюма и настоял на его приглашении. Гюго и Дюма, оба в мундирах Национальной гвардии (за неимением придворного костюма), встретились в Версале с Бальзаком, в наряде маркиза.

Виктор Гюго не пожалел, что явился на банкет. Его посадили за стол герцога Омальского. Король был с ним весьма любезен. Жена наследника, герцогиня Орлеанская, отличавшаяся образованностью и благородством души, женщина с красивым открытым лицом, сказала ему, что она счастлива его видеть, что она часто говорила о нем с Гёте, что она знает его стихи наизусть и больше всего ей нравится стихотворение, которое начинается словами: «То было в бедной церкви с низким сводом...» Эта молодая немка говорила правду, она с шестнадцати лет увлекалась французской литературой. «Ее мечтой был Париж, а любимым поэтом — Виктор Гюго». Она еще сказала ему: «Я осматривала *ваш* Собор Парижской Богоматери». Августейшие хозяева явно желали понравиться знаменитому гостю и преуспели в этом. Через три недели после свадьбы наследника поэту дали орден офицера Почетного легиона. Дворцовые служители привезли на Королевскую площадь романтическую картину «Инесса де Кастро» с надписью на дощечке: «От герцога и герцогини Орлеанских господину Виктору Гюго, 27 июня 1837 г.». Он стал приносящим поэтом будущей королевы французов; без него

не обходился ни один прием в павильоне Марсан,— не только официальные приемы, бывшие по вторникам, но также интимные, которые назывались «У камина». Посвященные спрашивали друг друга: «Вы будете завтра „У камина“». И всегда они встречали там Виктора Гюго, излагавшего герцогу, «который был моложе его на восемь лет, ту мысль, что поэт — это толмач Господа Бога, приставленный к принцам».

Не испытывал ли он нежных чувств к будущей государыне? Сочетание мужского восхищения и рыцарской преданности молодой, красивой и романтической женщине, которая станет королевой, не чуждо сюжету «Рюи Блаза», где «червь земной влюблен в звезду». Но эти чувства оставались почтительными и тайными. Однако сохранился черновик любопытного письма поэта к герцогине. В январе 1838 года виконт и виконтесса Гюго принимали у себя, на Королевской площади, августейшую чету. Под управлением Луизы Бертен хор девочек спел отрывок из ее оперы «Эсмеральда». Празднество очень удалось и утвердило династические симпатии Гюго.

Герцог Орлеанский удивился, что Виктор Гюго ничего не ставит на сцене, и драматург ответил, что у него нет театра: «Комеди-Франсез предоставлена мертвым, а Порт-Сен-Мартен отдан глупцам». Принц заставил министра Гизо предложить автору редкую привилегию иметь свой театр. Им стал театр Ренессанс, управление которым Дюма и Гюго доверили директору газеты Антенору Жоли. К открытию театра Гюго должен был написать драму в стихах.

Где нашел он сюжет «Рюи Блаза»? Источников тут много: мелодрама Латуша («Королева Испании»), роман Леона де Вейи, где рассказывалось о том, как художник Рейноль, отвергнутый Анжеликой Кофман, заставил ее выйти замуж за лакея; обстановка была почерпнута из «Поездки к испанскому двору» госпожи д'Онуа. Но, в сущности, источники большого значения не имели; драма эта — сочетание поэзии, буффонады, фантазии и политики — была характерна для Гюго. Мечтатель Рюи Блаз вознесен к власти силой своего дарования и волей государыни. Осуществление мечты. «В драме две стороны: это и волшебная сказка, и манифест». Рюи Блаз — «это народ, у которого есть будущее и нет настоящего... — в нищете своей влюбленный в

единственный образ, исполненный для него божественного сияния», — в королеву.

Пьеса, написанная за один месяц, оказалась лучшим драматическим произведением Гюго. Самый стих, героический по тону, звучанием не уступал стиху классиков «великой эпохи», богатая и звучная рифма скандировала ораторские тирады, из которых одна по меньшей мере (монолог в третьем акте) представляла собою шедевр поэзии и исторической правды. Роль Рюи Блаза исполнял Фредерик Леметр. Гюго знал, как страдает Жюльетта из-за того, что оборвалась ее театральная карьера, и понимал, что в этом виноват он. Если бы любовь знаменитого поэта не бросала на нее слишком яркий свет, она бы, как и многие, многие другие, продолжала играть маленькие роли. Желая наконец вознаградить ее, Гюго предложил ей роль королевы Марии Нейбургской. По настоянию Дюма в театр Ренессанс пригласили его любовницу Иду Ферье (в 1840 г. она стала его женой); Гюго имел, конечно, право на такую же любезность в отношении Жюльетты. Она была в упоении: «С тех пор как ты поманил меня возможностью сыграть в твоей восхитительной пьесе, я живу как лунатик, меня как будто напоили шампанским...» Но это было бы слишком прекрасно. Она предчувствовала разочарование. «Я умру до своего дебюта в театре Ренессанс. Все эти люди облегчат мне путь к вечному упокоению». Но ведь Гюго еще предложил ей совместное недельное путешествие в Монмирэ, Реймс, Варенн, Вузье, и бедняжка Жюльетта сразу просияла от счастья: «Люблю тебя, мой Тото, обожаю тебя, мой дорогой. Ты мое солнце и жизнь моя...»

Солнце быстро затмилось. Адель Гюго воспользовалась отсутствием мужа и прибегла к мере весьма действенной, жестокой и достойной осуждения. Из Булони, где она находилась с детьми, она написала Антенору Жоли:

Вы, наверно, удивитесь, что я вмешиваюсь в дела, которые в конечном счете касаются только вас и моего мужа. Однако, сударь, я, думается мне, имею некоторое право поступать так, раз я вижу, что успех пьесы Виктора поставлен под угрозу, и притом добровольно. А ведь так оно и есть, по крайней мере я этого боюсь, поскольку роль королевы отдана особе, которая была одной из причин шумихи, поднявшейся вокруг «Марии Тюдор»... Общественное мнение, справедливо это или нет, настроено не в пользу таланта мадемуазель Жюльетты. Я питаю некоторую надежду, что вы найдете способ передать эту роль другой актрисе. Не-

чего и говорить, что я имею тут в виду только интересы дела, оттого и настаиваю на этом. Мой муж, интересуясь этой дамой, оказал ей поддержку, и она поступила к вам в театр. Прекрасно! Но я не могу допустить мысли, чтобы все это дошло до того, что будет поставлен под вопрос успех одной из прекраснейших пьес...

Адель приписывала свои тревоги заботам о художественном успехе драмы, а на самом деле в ней говорила ревность; она попросила Антенора Жоли держать ее вмешательство в строжайшей тайне, погрешив таким образом против честности в своих отношениях с мужем. Директор испугался и по возвращении Гюго сообщил ему, что роль королевы он отдал Атала Бошен, которая для этого достопамятного выступления приняла настоящую свою фамилию — Луиза Бодуан и которая имела бесспорные права на главную роль, так как была любовницей Фредерика Леметра.

Гюго ничего не знал о письме Адели и не стал протестовать, так как в глубине души разделял опасения, высказанные ему Антенором Жоли. Печальную для Жюльетты весть он сообщил ей очень осторожно, — говорил не о том, что у нее недостает таланта для этой роли, а во всем обвинял интриги и предрассудки. Удар был очень жесток. «Какой ты был добрый со мной, мой бедненький, любимый мой. Я всегда хорошо чувствую все твои старания скрыть нанесенное мне оскорбление или утаить свое горе. Очень ценю это, очень...» Постановка «Рюи Блаза» оказалась для Жюльетты долгим мучением: «Мне очень грустно, мой бедненький дружок, ношу в душе траур по чудесной, дивной роли, умершей для меня навсегда. Мария Нейбургская никогда не будет жить *через меня и для меня*. Ты и представить себе не можешь, как мне горько. Потеряна последняя надежда. Для меня это страшный удар». Потом эта преданная, самоотверженная женщина заказала себе для премьеры новое платье, а на спектакле аплодировала так усердно, что разорвала перчатки. Вместе с ролью в «Рюи Блазе» исчезла для нее последняя надежда вернуться в театр, зарабатывать на жизнь для себя и для маленькой Клер. Что будет с нею, если когда-нибудь Гюго ее бросит? Но даже если он останется ей верен, как будет страдать ее гордость! Всю жизнь тебе одно названье — содержанка!

В течение года в ней зрела мысль, что если она не в силах создать себе независимое положение и не может рассчитывать на законный брак, то для нее спасением

было бы «моральное освящение их любовного союза». Быть его женой по духу и сердцу — вот чего она хотела. На физическую верность этого фавна, окруженного целой сотней нимф, она совсем не рассчитывала. Кокетливость, продуманная прическа были тут явным признаком, так же как и слишком частое его отсутствие на ложе в квартире Жюльетты на улице Сент-Анастас: «Истинно, истинно говорю вам: всякий мужчина, не исполняющий обещания своего, прослышет дурным возлюбленным, а тот, кто вечером посмотрит, положен ли в ногах постели его ночной наряд, прекрасно, однако, зная, что вернется он лишь поздним утром, считаться должен дурнем. И сказала тогда Жужу своему Тото: «У вас нет здравого смысла: вы допускаете, чтобы падали на съедение червям прекрасные плоды души, вместо того чтобы срывать их с любовью и вкушать с наслаждением, как чудесные плоды из райского сада»...» Жюльетта по крайней мере хотела быть уверенной в прочности их связи, хотела следовать за возлюбленным повсюду и иметь неписаное право вставать между ним и другими женщинами.

На эти просьбы и сердечные излияния Гюго в 1839 году отвечал хмурым ворчанием. Он был всем недоволен, его преследовали неудачи. «Рюи Блаз» имел средний успех. Интерес к романтической драме падал. Строгий критик Гюстав Планш вынес «Рюи Блазу» суровый приговор: «Это вызов здравому смыслу и хорошему вкусу... Возмутительный цинизм... Ребяческое нагромождение невозможных сцен. Господин Гюго слишком рано познал славу... Он замкнулся в самообожании, как в крепости... От этой чрезмерной гордыни до безумия один шаг, и господин Гюго сделал его, написав драму «Рюи Блаз»...» Но если тут и было безумие, то уж больше со стороны критика, чем автора. Мелодраматический характер этой пьесы мог не понравиться, но как же отрицать ее красоты? Однако новое поколение ненавидело, как Сент-Бёв, «слова с заглавных красных букв, украшенных золотыми позументами, как придворные лакеи в его драме».

Но Гюго уже работал над новой драмой — «Близнецы» и говорил, что он совсем изнемог. Жюльетта с тревогой задавалась вопросом, только ли работа была причиной его усталости. «Здравствуй, бегемот, здравствуй, королевский тигр», — говорила она своему грозному любовнику. Когда она жаловалась, Гюго клялся, что он ни-

когда никого, кроме нее, не любил *по-настоящему*. Были ли это просто успокоительные слова, которые говорят мужчины? Она не хотела ему верить и требовала, чтобы исключительный характер их любви был подтвержден клятвой — не перед людьми, а перед Богом. В ночь с 17 на 18 ноября 1839 года он дал на это согласие. Он поклялся, что никогда не покинет ни Клер, ни Жюльетту. Она же обещала навсегда отказаться от театра. Это было не сделкой, но мистическим бракосочетанием, а для Клер Прадье — удочерением.

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 18 ноября 1839 года:

Чтобы все было как должно при нашем бракосочетании, я испытала такое же волнение, как и в первый день нашей близости. Несказанное счастье, небесное блаженство, бессонница, изумление... Все это было нынче ночью, едва ли я спала несколько часов, хотя встала очень поздно. Словом, мой бедный, обожаемый мой, почти что муж мой («почти» мало значит), сегодня утром, пробудившись и читая молитву, я чувствовала себя новобрачной. Да, да, я жена твоя, правда ведь, обожаемый мой? Ты можешь, не краснея, признать меня своей женой, и все же я прежде всего твоя любовница, это мое первое имя, имя, которое я ценю выше всего и хочу сохранить...

А Гюго? Каковы были его чувства? Он восхищался щедрой красотой этого благородного и великодушного создания, этой смиренной и страстной любовью. Он был благодарен Жюльетте за семь лет счастья, возвратившего ему веру в себя; он часто и серьезно обязывался быть отцом для маленькой Клер, несчастной из-за ее ложного положения; и тем не менее он по-прежнему заставлял «свою мистическую супругу» вести нелепую, затворническую жизнь, при которой она не могла ни подышать воздухом в саду, ни пройтись по бульвару. Деревом считай трубу своей печки, а солнцем — карселевскую масляную лампу, — такое существование было пыткой для бретонки, любившей простор полей. «Тото, Тото, вы не очень-то любезны со мной!» Действительно, не очень любезен, тем более что себе-то он позволял разные причуды и измены. Но правила созданы не для гениев. Его Hugo. Однако в 1840 году они два месяца путешествовали вдвоем по Бельгии, побывали в Кёльне и в Майнце. Тогда-то он и увидел Шварцвальд, Черный Лес, название которого в детстве вызывало в его воображении картину сумрачной и страшной лесной чащи. Они доехали до Рейна. Видели белесое небо сквозь пролеты черных стрельчатых арок, руины старых башен, поросшие кустарником. Во время путешествия он был,

как всегда, «очаровательно добрым и ласковым». Любовь их лучше всего расцвела в непревзойденной обстановке.

Радостью Жюльетты были также в 1839 году, а затем и в 1840 году визиты Виктора Гюго академиком — те крохи времени, которые он при этом дарил ей, украдкой прихватывая ее с собой в кабриолет. Гюго по-прежнему очень хотелось попасть во Французскую Академию, а он привык достигать желанной цели. В 1839 году со смертью Мишо, автора «Истории крестовых походов», освободилось кресло. Гюго слыл кандидатом, имевшим поддержку в королевском дворце, и, хотя он сам от этого отнекивался, это было так на самом деле. С Луи-Филиппом после банкета в Версале он заигрывал. Когда Арман Барбес был приговорен к смертной казни за вооруженное нападение на сторожевой пост в Консьержери и был убит в стычке комендант тюрьмы, Гюго принес в Тюильри следующее четверостишие:

Я знаю,— чужды вам и мстительность и злоба,
О милости прошу, властитель наш благой!
Во имя, государь, вам дорогого гроба
И колыбели дорогой!¹

Король ответил любезно и с уважением к конституции: «Моя мысль опередила вашу. В ту минуту, когда вы просите о помиловании, я уже оказал его в сердце своем. Мне остается только добиться его. Луи-Филипп...» Поэтому позднее поэт и написал об этом короле: «Луи-Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV... Один из лучших государей, когда-либо занимавших престол...»².

В Академии соперником Виктора Гюго был в этот раз Антуан Беррие. Правительственная цензура, прежде враждебная Гюго, теперь поддерживала его против оратора-легитимиста. Некая газета, благосклонная к Беррие, хотела напечатать карикатуру, на которой Академия, изображенная в виде благодушной старушки, отгоняет Виктора Гюго, Бальзака и Александра Дюма от дверей Дворца Мазарини. Подпись под рисунком гласила: «Вы ведь крупные и сильные, а проситесь в убежище инвалидов. Вы что же, хотите отнять хлеб у бедных старичков?.. Ступайте работать, лентяи!» Цензура не пропустила эту карикатуру. Выборы в Академию состоя-

¹ Перевод М. Донского.

² В и к т о р Г ю г о. Отверженные.

лись 19 декабря. В первом туре Берриэ получил десять голосов, Гюго — девять, Бонжур — девять, Вату — два, Ламенне — ни одного; пустых бюллетеней было подано три. После семи туров выборы были отсрочены на три месяца. Голоса, полученные Казимиром Бонжур, автором слащавых комедий, означали у одних — «только не Берриэ», а у других — «только не Гюго».

Тридцать первого декабря 1839 года вновь появилась вакансия ввиду смерти монсеньера Келана, парижского архиепископа, — того самого, который вернул Жюльенну Говен к мирской жизни. 20 февраля 1840 года были проведены двойные выборы: тридцатью голосами из тридцати одного был избран граф Моле на место Келана и Флуран на место Мишо. Гюго же был забаллотирован. Одним из самых ярых противников Гюго был Непомюсен Лемерсье. Дюма пригрозил ему: «Господин Лемерсье, вы отказались отдать свой голос Виктору Гюго, но уж свое место вам рано или поздно придется ему отдать».

Так оно и случилось. Лемерсье умер 7 июня 1840 года. Кузен сказал Сент-Бёву: «Пусть уж изберут Гюго в Академию, пора с этим кончать, это становится скучным». И вот 7 января 1841 года Гюго одержал верх над третьестепенным драматургом Анселю, получив семнадцать голосов против пятнадцати, отданных его сопернику. За Гюго голосовали: Шатобриан, Ламартин, Вильмен, Нодье, Кузен, Минье, а также политические деятели — Тьер, Моле, Сальванди, Руайе-Коллар, что было, думалось Гюго, указанием, может быть — приглашением. Гизо, который был за Гюго, опоздал и не мог голосовать. Сент-Бёв одобрил избрание в своей записной книжке: «Так, так! Это хорошо. Академию нужно время от времени насиловать...» Избрание Гюго произошло вскоре после того, как прах Наполеона I был перевезен с острова Святой Елены в Париж, и поэтому газета «Ла Пресс» напечатала следующее анонимное четверостишие:

Вы оба наконец достигли цели правой,
Достигли вопреки всем козням темных сил:
Наполеон в Париж вернулся вновь со славой,
И в Академию Виктор Гюго вступил¹.

Жюльетту очень огорчала пятая попытка Гюго выставить свою кандидатуру: «Ах, как бы я хотела, чтобы

¹ Перевод М. Донского.

не было ни Академии, ни театров, ни издательств, пусть бы на свете были только большие дороги, дилижансы, постоянные дворы и обожающие друг друга Жужу и Тото...» Но в вечер избрания она бросилась к нему в объятия: «Здравствуй, мой Тото! Здравствуй, мой академик, славой насыщенный, но еще не пресыщенный...»

Ко дню его приема в Академию она заказала себе красивое платье (сам новоизбранный возил ее к портнихе на примерки, так как Жюльетта не имела права бывать где-нибудь одна); она так боялась опоздать на заседание, что приехала на набережную Конти задолго до того, как туда явился наряд охранителей порядка. Суতোлка была невиданная. В публике называли госпожу Жиарден, госпожу Луизу Колле, госпожу Тьер, многих актрис; с особым интересом указывали на Адель и Жюльетту. Впервые за десять лет в Академию пожаловали принцы. Герцога и герцогиню Орлеанских (она была очень хороша в белой шляпке, отделанной бледными розами) встретил у дверей Дворца Мазарини постоянный секретарь Академии — Вильмен. «Мне кажется, — сказал он, — что вы, ваше высочество, и ваша супруга в первый раз посетили Академию?» Наследник престола ответил: «В первый, но, надеюсь, не в последний раз».

Появление Гюго было величественным. Темные, гладко причесанные волосы открывали его высокий пирамидальный лоб и спускались валиком на воротник с зеленым шитьем. Глубоко сидящие маленькие черные глаза блестели от сдержанной радости. Первая его улыбка была обращена к Жюльетте, та едва не лишилась чувств, увидев, как он входит, бледный и взволнованный: «Спасибо, мой обожаемый, спасибо за то, что ты подумал о бедной женщине, которая любит тебя, подумал о ней в такую важную, можно было бы сказать, решительную минуту; о если бы люди, собравшиеся там, не были в большинстве своем мерзкими кретинами и гнусными негодьями...» Затворница была счастлива видеть, что на скамьях сидят «все мои дорогие малютки: прелестная Дидина, очаровательный Шарль и мой милый маленький Тото, похожий на другого Тото, который был бледен и казался больным...»

Речь Гюго всех удивила. Минут двадцать он говорил о Наполеоне, воздал хвалу Конвенту, хвалу — монархии и младшей ветви династии Бурбонов, воздал хвалу Франции, которая «дает направление мыслям во всем

мире», восхвалял Академию: «Вы один из главных центров духовной власти», похвалил своего предшественника Лемерсье в нескольких общих фразах, а в заключение восславил Мальзерб, человека просвещенного, выдающегося министра, достойного гражданина. «Почему Мальзерб?» — спрашивала разочарованная публика. Посвященные давали такой же ответ, как Сент-Бёв: «Хитрость, шитая белыми нитками», или как Шарль Маньен: «Разгадка тут — звание пэра и пост министра». Сент-Бёв занес в свою записную книжку: «Гюго! Пришел на смену Лемерсье, а вид такой, будто наследует Наполеону». Исполняющий обязанности президента Нарсисс-Ашиль де Сальванди, историк и политический деятель, о котором Тьер говорил, что он «важничает и распускает хвост, как павлин», не поскупился на традиционные стрелы, которыми уязвляют нового академика. Жюльетта нашла, что Сальванди — «безобразный, красноречивый, спесивый, угрюмый грубиян». Начало его речи было ироническим:

Древние, для того чтобы восторжествовать, окружали себя изображениями своих предков. Наполеон, Сийес, Мальзерб не ваши предки, сударь. У вас другие предки, не менее знаменитые, — Жан-Батист Руссо, Клеман Маро, Пиндар и создатель псалмов царь Давид. Мы здесь не знаем более прекрасной родословной.

Гюго говорил, что Наполеон назначил бы Корнея министром, живи он в его время.

Нет, нет! — парировал Сальванди. — У нас было бы меньше бессмертных драм; а можно ли иметь уверенность, что у нас было бы одним великим министром больше? Мы вам очень благодарны, что вы мужественно защищали свое призвание поэта против всех соблазнов политического честолюбия...

Ехидные слова — поскольку всем было известно политическое честолюбие человека, к которому Сальванди их обращал. Преданная Жюльетта возмущалась «завистливой неуклюжестью» его ответной речи, но сохранила чудесное воспоминание о первых, волнующих минутах заседания: «С того мгновения, как ты вошел в зал Академии, на меня нахлынуло и не покидало меня чудесное, сладкое чувство, что-то среднее между опьянением и экстазом, словно мне было небесное видение и предо мною явился сам Бог во всем своем величии, во всей красоте своей, во всем великолепии и славе своей...» Но у публики, чуждой восторгам влюбленной женщины, господин Сальванди имел большой успех.

Сохранилось любопытное письмо Виктора Гюго к Сальванди. После заседания президент сказал новому академику, что король недоволен, зачем Гюго назвал его в своей речи «соратником Дюмурье» — ведь у Дюмурье дурная репутация. Гюго ответил: «Желание короля будет исполнено, дорогой коллега. Биографии категоричны в своих сведениях, но я предпочитаю верить королю, а не биографиям. Поэтому я поставлю «соратник Келлермана», имени Дюмурье больше не будет. Немедленно пошлю в типографию Дидо исправление. Я перечитал в «Деба» вашу речь и очень рад вам сказать, что если она кое в чем (может быть, я тут заблуждаюсь) немного задевает меня как человека, то как писатель я от нее в восторге». Это была гибкая и ловкая тактика. Но в напечатанном тексте речи стоит «соратник Келлермана и Дюмурье».

Руайе-Коллар, ворчливый доктринер, надменно и язвительно сказал Виктору Гюго: «Вы произнесли очень большую речь для такого маленького собрания». Но газета «Ла Пресс» нисколько не обманулась. Большая речь возвещала о больших намерениях. «Это первый шаг к парламентской трибуне, кандидатура в одну из двух наших палат, а может быть, в обе, и даже больше — программа министерства...» Юмористический журнал «Мода» в мнимой хроникерской заметке рассказал, как «принцесса Елена, видя, что приближается момент, когда на голову ее возложат корону Франции, заранее составила свой совет министров следующим образом:

«Военный министр, он же председатель Совета министров — Виктор Гюго.

Министр иностранных дел — Теофиль Готье.

Министр финансов — Альфред де Мюссе.

Министр морских дел — де Ламартин...»

Сент-Бёв говорил: «Видно, к чему он клонит». Да, это было видно, потому что он хотел быть на виду и не скрывал своих намерений. Быть Шатобрианом или ничем. От мечты Гюго переходит к действиям. Он открыто ставил вехи своего будущего пути. Возрастающая близость с наследником престола и его женой. Пост председателя Общества литераторов. Издание в виде брошюр всех стихов Гюго о Наполеоне — в качестве подготовки к перенесению праха императора. Многочисленные приемы на Королевской площади. Из молочной «Швейцария» госпоже Гюго доставляли для них мороженое в формочках по тридцать франков за сто порций,

бутерброды по двадцать франков за сотню, кофе-глясе по четыре франка за чашку и горячий пунш по три франка за чашку. Приведены были в порядок семейные финансовые дела. Гюго уступил на десять лет издателю Делуа за двести пятьдесят тысяч франков (из коих сто тысяч выплачивались сразу же наличными) право переиздания всех своих вышедших уже произведений. Таким образом, достигнут был большой достаток и приобретен имущественный ценз, необходимый для звания пэра. Однако Виктор Гюго продолжал проповедовать в обоих своих семействах режим экономии. Капитал трогать нельзя, надо жить на доходы. Но у него появилась дорогостоящая слабость — он стал щеголем. В те времена, когда Гюго покорила сердце Жюльетты, он одевался довольно небрежно, и мадемуазель Друэ, вкусы которой воспитывали князь Демидов и ему подобные, зачастую подтрунивала над отсутствием у Виктора франтовства. Теперь она сожалела об этом. «Натворила я себе беды, приучив вас к щегольству! Но ведь кто же мог подумать, что вам понравится подобное превосходство над другими, недостойное такого человека, как вы! Я в ярости, что так преуспела в своих наставлениях! О, если бы я могла вернуть ваши славные, нехоленые пальцы, ваши наивные подтяжки, вашу взлохмаченную шевелюру и крокодиловы зубы — я бы уж непременно это сделала!..»

А в другой раз она возмущалась: «Тото затягивается, как гризетка; Тото завивается, как подмастерье портного; Тото похож на образцовую куклу; Тото смешон; Тото — академик...» Он не обращал внимания на ее шпильки: будущий государственный деятель должен иметь внушительный вид. Госпожа Гюго, которую беспокоила прочность этой связи, попыталась пойти в наступление против Жюльетты — якобы в интересах честолюбия мужа.

Признаюсь, меня тревожит твое будущее — с материальной стороны. Ведь твой дом должен быть поставлен приличнее, чем теперь. Надо, чтобы ты имел возможность принимать у себя людей, так же как тебя принимают. Я знаю, что наш скромный образ жизни ничему не мешает, но будь уверен, что он окажется помехой на дальнейшем твоём пути, затормозит твоё продвижение к той цели, какую ты себе поставил... Боюсь, как бы обязательства, взятые тобою, когда-нибудь не заставили тебя забрать часть денег, которые ты поместил с таким трудом... Мне приходится сказать тебе об этом, так как я страшусь, что все твои усилия будут бесплодны и приведут к недостаточным результатам. Ни ты, ни твои близкие не должны перебиваться кое-как, — вы должны жить

прилично. Мне хочется напомнить тебе то, о чем я уже говорила: я мысленно отрекаюсь от всякого рода *прав* на богатство, какое ты можешь себе составить. Я смотрю на себя как на управительницу, обязанную вести твой дом и надзирать за тем, чтобы во всем было там как можно больше порядка, и я считаю себя воспитательницей наших детей. Тут уж я смело говорю *наших детей*, ибо не хочу отказываться от своих прав на них. Так вот, мой друг, лишь ради тебя самого, исключительно в собственных твоих интересах умоляю, поразмысли хорошенько! Говорю с тобой как сестра, как друг твой. Не знаю уж, что и сказать, чтобы ты поверил в полное мое бескорыстие. Подумай, подумай о своем будущем! Посмотри, каким способом ты сможешь уменьшить материальное свое время...

«Уменьшить время» — это значило порвать с Жюльеттой! Он об этом и думать не желал. Узы плоти стали менее прочны, чем в первые дни, но Жюльетта сохранила все те достоинства, каких Адель не имела и не желала иметь, — она была смелой путешественницей, трудолюбивой переписчицей, искренней почитательницей, воплощенной поэзией. Он все еще слагал благодарственные гимны в ее честь: «*Жюльетта*, это прелестное имя, запавшее мне в душу, расцветает в моих стихах; ты не только мое сердце, ты вся моя мысль... Если есть у меня некоторое дарование, это ты его породила во мне». А 1 января он написал:

Нас годы обокрасть пытаются напрасно:
Все так же нежен я, все так же ты прекрасна,
И сердце молодо, как десять лет назад.
Страшиться времени не стоит, дорогая!
Как годы ни летят, нас к небу приближая,—
Они нас от любви не отдалят!

Супруга же несла обязанности по внешним сношениям. С тех пор как Сент-Бёв перестал воспевать «королевского буйвола», она проявляла внимание к другому приятелю мужа, который появился в их доме во времена «Эрнани» и стал с тех пор влиятельным и разносторонним критиком, дававшим отзывы о драмах, о книгах, о живописи, — словом, она немного кокетничала с Теофилом Готье, прозванным «добрый Тео».

Адель Гюго — Теофилю Готье, 14 июля 1838 года:

Хотела бы я знать, почему вы не приходите к нам почаще, если уж не хотите бывать у нас постоянно. Из двух зол следует выбирать меньшее, и я предпочла бы видеть вас ежедневно, чем не видеть совсем! Скажу даже, что мне это было бы бесконечно приятнее, потому что для меня праздник, когда вы приходите, и, право, не знаю, почему вы не устраиваете его для меня как можно чаще. Если захочешь, всегда найдешь время написать фельетон. Уж я бы улучила часок, чтобы написать о вашем «Фортунио»,

который мне полюбился, как ваше второе «я», но нам не хватает вашего первого «я», которое нисколько его не хуже. Когда-нибудь вы нам его покажете, правда? Жду его, ведь я немножко сентиментальна и не могу от этого избавиться. Что поделаешь! Я в этом такая же, как белошвейки, как модистки, горничные, даже кухарки. Вы же обещали написать роман для «такого рода публики», а поскольку я принадлежу к ней по своему нравственному складу, то я и требую, чтобы вы этот роман написали...

Булонь, 1 сентября 1838 года:

Обидно, когда любишь своих друзей больше, чем они тебя любят. Говорю это с полным основанием и в отношении себя, и в отношении этих самых друзей; ведь бесконечное множество вещей занимает их больше «священного пламени дружбы», из сего и проистекает, что богиня дружбы (да богиня ли это?) имеет весьма второстепенное значение, особенно для вас. То, что я вам пишу, ничуть не изменит того, что есть,— ведь говори об одном и том же хоть сто лет и пиши сто лет, а от этого ничего не переменится, только надоешь людям! Я претендую лишь на то, чтобы вы, снисходя к моей просьбе, приехали ко мне в гости на несколько часов — приехали бы в полдень и остались бы до вечера... Приезжайте без всякого письма. Случай все устраивает лучше, чем люди предполагают. Вы совсем со мной не любезны. А я вас все-таки люблю от всего сердца, потому что у вас для этого есть все качества.

Преданная вам *Адель Гюго*

Двадцать шестого сентября 1838 года:

Итак, приходите за мной завтра, в четверг, в мастерскую нашего друга Буланже...¹ Приходите в пять часов, я вас повезу в Булонь, где вы, наверное, пообедаете с Великим человеком. Чего только не приходится изобретать, чтобы поболтать с вами минутку...

Без даты

Я ужасно боюсь, что вы придете завтра,— из-за этого и пишу вам. Я была бы в отчаянии, если бы вы не застали меня, поэтому тороплюсь написать вам, чтобы быть спокойной на этот счет. Может быть, таким способом я еще и напомню вам, что вы должны приехать в Булонь, чтобы провести несколько часов со мной. Как знать! Но как бы то ни было, завтра меня здесь не будет. Жду вас в среду... Что касается дальнейшего, то я притязаю на право собственности в отношении вас, и сама предоставила бы его вам в отношении себя, не будь я женщиной и к тому же преданным вашим другом.

Адель Гюго

Двадцать восьмого января 1839 года:

Приходите же, принесите нам вашу книгу! Ведь это нелепо, что все ее прочли раньше нас. Конечно! Вы больше не балуете меня! Что ж, я и в самом деле становлюсь страшной... Должна

¹ Художник Луи Буланже работал в сентябре 1838 г. над портретом Адели Гюго, который был выставлен в Салоне 1839 г. Селестен Нантейль сделал с него офорт. В наше время портрет выставлен в Доме Гюго на Вогезской площади.— *Примеч. автора.*

вам сказать, поскольку вы так хорошо умеете хранить тайны, что я открыла слабое место у *Великого* человека: он по-настоящему огорчен, что вы не пожелали что-нибудь сказать о дон Сезаре¹. Я открыла в нем человеческую черту: обидчивость в дружбе...

Я считаю вас более чувствительным, чем вы это признаете. Правда это или нет, но таким я вас восприняла в своем сердце и держу своего мнения. В мыслях я создала маленький роман, дополняющий для меня ваш образ, но на этом я и останавлиюсь. Женщинам приходится ограничиваться вымыслом, потому что они становятся такими глупыми и смешными, когда берутся за перо, пачкают себе пальцы чернилами... Будьте уверены, что, при всех разочарованиях, пережитых в жизни, я нисколько не сомневаюсь в дружбе, я водружаю ее на алтарь и чту как драгоценнейшее мое сокровище. До скорого свидания, Верно?

Адель

Без даты:

Усердно читаю, как вы того пожелали, ваши фельетоны. Сегодня заметила, что вы еще ничего не сказали о моем портрете...² Будьте так любезны, напишите, что он повешен слишком высоко,— может быть, его тогда перевесят пониже! Мне стыдно, что я вас занимаю заботами о моей особе,— ведь сама-то я обычно очень мало забочусь о ней; но ваше замечание поможет карьере молодого художника, который нуждается в небольшом успехе, чтобы пробиться.

Без даты:

Я ждала вчера вечером, что вы навестите меня... Совсем вы меня покинули,— это очень дурно с вашей стороны. Если хотите помириться со мной, приходите завтра, в понедельник, обедать к Роблену, в Сен-Жам³. Постарайтесь прийти пораньше, чтобы мы могли прогуляться в Булонском лесу. Будьте на этот раз точным.

Без даты:

Дорогой господин Готье, если вы желаете посетить в ближайшее воскресенье Лонгшанские купальни, они будут открыты для вашего сиятельства. Вы пообедаете с нами... Если бы вы могли сказать в вашем фельетоне несколько слов об этом уголке, вы этим обязали бы квартал Королевской площади, который был когда-то и вашим кварталом. Больше никогда не буду надоедать вам. Поступайте по своему усмотрению. Только любите меня, как вашего лучшего и самого давнего друга.

Виконтесса Гюго

¹ Вероятно, речь идет о «Рюи Блазе» — пьеса эта, поставленная 8 ноября в театре Ренессанс, вслед за тем была напечатана.— *Примеч. автора.*

² Портрет написан Эженом Пьо (1812—1890).— *Примеч. автора.*

³ Сен-Жам — квартал в Нейи. Готье уже занимал там особняк по улице Лонгшан, 32, где он и умер в 1872 г. Архитектор Шарль Роблен построил для себя на улице Сен-Жам, 4, особняк, в котором имелись «башенки с витражами, стрельчатые окна, декоративные украшения из фаянса и два мраморных медальона с изображениями Рафаэля и Микеланджело».— *Примеч. автора.*

Адель продолжала верить в возможность дружбы между мужчиной и женщиной; она ужасно боялась обжечься, но любила играть с огнем. Женщина, покинутая мужем, чувствует потребность приободриться.

С мая по октябрь 1840 года Адель Гюго жила вместе со своим отцом и двумя дочерьми в Сен-При, на опушке леса Монморанси, в большом доме, называвшемся «Терраса». Мальчики были помещены в пансион Жофре, находившийся на улице Кюльтюр-Сент-Катрин (ныне улица Севинье),— оттуда они ходили в «королевский коллеж Карла Великого». Живя в пансионе, они требовали то у матери, то у Дидины «четыре су, чтобы расплатиться с долгами (это очень срочно), и банку варенья...». «Мама, я тебя люблю,— писал Шарль,— я тебя обожаю, ты мой ангел, жизнь моя... Скажи Дидине, чтоб она послала мне завтра банку варенья для тех случаев, когда на полдник дают один сухой хлеб...» Он плакал, когда возвращался в пансион: «Я поминутно вспоминаю бабочек на занавесках в гостиной, картины, полог над кроватью, красный столик... Если я целый год не буду видеть тебя, то могу дойти до самоубийства...» Романтизм оказался наследственной чертой, и Шарль, который драматизировал свое положение в духе пьес Виктора Гюго, жаловался на то, что он «безвестный сын великого, счастливого отца». Гюго долгое время не уделял внимания сыновьям, но около 1840 года стал следить за их занятиями, в особенности за уроками латинского языка, которому придавал большое значение. Он был счастлив и горд, когда 31 июля 1840 года узнал, что его младший сын, Франсуа-Виктор, получил на общелицейском конкурсе премию за сочинение на латинском языке. Он поехал в Сен-При, чтобы отпраздновать с семьей это важное событие. Целый выводок детей, красивых и умных, превращал «Террасу», как некогда замок де Рош,— в радостный рай. Помогая сыновьям сосружать хижину из ветвей, а Деде разводить кур и кроликов, глядя с любовью на Леопольдину, Гюго с волнением вспоминал то счастливое время, когда он хотел быть «первым и в браке», и в отцовстве, и в поэзии. Но семейная его жизнь шла теперь со скрипом, на каждом шагу давали себя знать диссонансы, и это уже было непоправимо. «Наши судьбы и наши намерения почти всегда играют невольно».

Вы знаете мою страсть к длительным путешествиям с короткими переходами в обществе давних друзей детства — Вергилия и Тацита.

Виктор Гюго. Рейн

В трех путешествиях (1838, 1839 и 1840 годов), кроме Вергилия и Тацита, поэту сопутствовала Жюльетта Друэ; он совершал с ней длительные и фантастические прогулки почитателя старины и мечтателя. Но каждый вечер он посылал Адели письма в виде дневника с рисунками, поручая ей хранить эти послания как материал для будущего его произведения. Гюго «оставляет в Париже верного и дорогого друга, прикованного к столице постоянными заботами и делами, которые едва позволяют съездить на дачу, в четырех лье от заставы»¹. Этим другом была его жена (или реже, художник Луи Буланже.) Путешественник вел еще и другой дневник, более значительный, содержащий в себе политические и исторические рассуждения. В путешествии 1839 года, длившемся свыше двух месяцев, он днем совершал прогулки, а по ночам писал, в то время как Жюльетта смотрела на него, ожидая, когда придет ее час — час любви.

Станным, почти магическим очарованием привлекала Гюго великая река, овеянная легендами. В детстве на улице Фельянтинок он каждый вечер смотрел на картину, висевшую над его кроватью, и мрачная разрушенная башня, изображенная на этой картине, завладела его воображением, — она возникала в придумываемых мальчиком сказках и во множестве его рисунков. Гюго плохо знал немецкую литературу, но все же, как и его друзья — Нерваль и Готье, — читал чудесные сказки Гофмана. В предисловии к книге «Рейн» он даже признавался: «Германия (автор книги не скрывает этого) является одной из стран, которые он особенно любит, и одной из наций, которыми он восхищается. Он питает почти сыновние чувства к этой благородной и святой родине всех мыслителей. Если б он не был французом, то желал бы стать немцем».

¹ Виктор Гюго. Рейн, письма к другу.

Быть может, к его стремлению понять и выразить характер немецкой поэзии присоединилось и желание растрогать немецкую принцессу, герцогиню Орлеанскую. Но прежде всего он полагал, что, поднимая проблему франко-германских отношений, писатель может принести пользу своей стране и принять участие в общественных делах. Вот почему Гюго включил в 1841 году в книгу «Рейн», кроме легенд, живописных картин, размышлений о прошлом, еще и послесловие политического характера. В предшествующем году, казалось, назревал конфликт между Францией и Пруссией. Немецкий поэт Беккер написал стихотворение «Немецкий Рейн», на которое Мюссе ответил знаменитыми стихами: «Владели вашим Рейном мы и воду из него черпали...» В своем послесловии Гюго, приводя обстоятельные и серьезные доводы, торжественно предлагает разрешить споры мирным путем: пусть Пруссия возвратит Франции левый берег Рейна, «гораздо более французский, нежели это думают немцы». Вместо него Пруссия получит Ганновер, Гамбург, вольные города, выход к океану; выгода для нее будет состоять в том, что она получит свободные порты и единство территории. И тогда Франция и Германия, созданные для сотрудничества, объединятся с целью обеспечения мира на земле. «Рейн — река, которая должна их объединять, а ее превратили в реку, которая их разъединяет».

Этот пространный очерк широтой исторического кругозора, энергией стиля, смелостью поставленных проблем и предложенных решений производил солидное впечатление. Но виден ли тут был человек государственного ума? В этом можно усомниться. Истинный посредник не выступает столь категорично. Кроме того, у автора под пышным потоком антитез и поучений обнаружилось плохое знание людей. Кто во Франции желал, чтобы Пруссия была единой и имела выход к океану? Кювийе-Флери в «Журналь де Деба» яростно возражал: «Вы утверждаете, что Пруссия, какой она является согласно решениям Венского конгресса, плохо скроена. Ах, что за несчастье! И вы желаете возродить Пруссию в ущерб Франции, вы даете ей морские порты, присоединяете к ней Ганновер, расширяете ее границы, превозносите ее моральный престиж! И ради чего все это делается? Лишь для того, чтобы Франция владела департаментом Мон-Тоннер!»

Здесь человек здравого ума брал верх над гением.

Поэт под впечатлением увиденного пытался разрешить историческую проблему, «по простому очертанию старого Пфальцского княжества он стремился раскрыть тайну прошлого и постигнуть тайну будущего». Он увидел Рейн, но то был Рейн страшный, эпический, «эсхиловский». Великолепные наброски, которые он оттуда привез, поражали своим трагическим характером, сверхъестественной, фантастической силой, но передавали скорее темперамент самого Гюго, нежели пейзажи Рейна. По преимуществу он пользовался двумя стилистическими манерами, одна из которых, как говорил Сент-Бёв, отличалась свойственной Гюго «пышностью и помпезностью», тогда как другая (книга «Увиденное») представляет собою превосходный репортаж. Благодушный Виктор Пави писал Давиду д'Анже: «Поднимались ли вы по Рейну, на этот раз не в лодке, не в коляске, а при помощи книги Виктора Гюго? На каждом шагу — он, и только он, — поэт, отраженный в этой реке непрерывно наделяющий ее воды и берега то голосом, то сверканием искр. Его необычный деспотизм так странно воспринимает мир, что весь нарисованный пейзаж только о самом художнике и говорит. Рука, облаченная в железную перчатку, в конце концов тридавит вас. Человек после этого чтения чувствует себя разбитым, задохнувшимся, словно добыча орла, выпавшая из его когтей».

Бальзак, который никогда не был снисходителем к Гюго, признавал, однако, «Рейн» шедевром. Ему сообщили, что Виктор Гюго, как в свое время его брат Эжен Гюго, сошел с ума и что его должны поместить в больницу. Бальзак даже написал об этом Ганской. «Рейн» убедительно опровергал эту выдумку: французская проза со времен Шатобриана еще не создавала столь величавого и гармоничного творения. «Руины минувших веков, представшие перед моими глазами в такой час, при таком свете, возбуждали чувство тихой грусти и поражали своим величием. В едва различимом колебанье листьев на деревьях и кустарниках мне чудилась какая-то почтительная боязнь. Не слышно было ни человеческого голоса, ни звука шагов. Лучи и тени не проникали во двор замка — там царил таинственный полумрак, все скрывавший и все выделявший. Бледный лунный свет, пробиваясь сквозь бреши и трещины в стенах замка, доходил до самых темных его углов, а в мрачной его глубине, под высокими сводами и в не-

доступных проходах медленно колыхались какие-то белые призраки». Перед нами как будто отрывок из «Замогильных записок» Шатобриана в графическом переложении Виктора Гюго, озаренном тусклым светом луны.

«Словно добыча орла, выпавшая из его когтей»,— писал Пави, но и сам орел мог упасть с высоты. Торжествующий Гюго «парил под вечным сводом, вдруг вихрь налетел, сломал ему крыла». В том же 1842 году его друг и покровитель, наследник престола герцог Орлеанский, погиб из-за несчастного случая, когда ехал в экипаже по проспекту, называвшемуся в то время *Дорога восстания*; лошади внезапно понесли, герцог попытался выпрыгнуть из экипажа и разбил себе череп о мостовую. Катастрофа эта преисполнила Гюго искренней скорбью, и все же он захотел увидеть собственными глазами ее обстановку. Он исследовал место, где герцог выпрыгнул из экипажа,— оно оказалось на левой стороне дороги, между двадцать шестым и двадцать седьмым деревом, если вести счет от заставы Майю. Он отметил, что агония герцога прекратилась «на красном кирпичном полу», «в бакалейной лавочке, размалеванной зеленой краской». За головой умирающего находилась растрескавшаяся печь. На стенах висели грошовые лубочные картинки — «Агасфер», «Покушение Фиески», портреты Наполеона, Луи-Филиппа и герцога Орлеанского в мундире гусарского генерал-полковника. Друг скорбел о друге. Поэт, всюду искавший антитезы, размышлял о том, что герцог, молодой, беспечный, счастливый, проезжал мимо этой зеленой двери всякий раз, когда направлялся в замок Нейи. Если он порою и бросал беглый взгляд на эту бакалейную, то она, вероятно, казалась ему жалкой лавчонкой, убогой лачугой, может быть, каким-нибудь притоном. И именно она стала его смертным ложем. Возвращаясь с Жюльеттой в Париж, Гюго увидел расклеенные на стенах афиши, возвещавшие огромными буквами: ПРАЗДНЕСТВО В НЕЙИ. Сушая находка для любителя контрастов.

Герцог Орлеанский, человек благородного сердца, был надеждой либералов. Теперь им приходилось пересмотреть все свои проекты устройства будущего. Виктор Гюго, возглавлявшему в то время Французскую Академию, поручили выразить королю соболезнование от лица всех пяти Академий. Он восхвалял безвремен-

но погибшего герцога. «Государь, ваша кровь — это кровь страны. Ваша семья и Франция едины сердцем. То, что наносит удар одной, ранит другую. Ныне французский народ с бесконечной симпатией обращает свой взор к вашей семье, к вам, государь, надеясь, что вы будете жить долго, так как вы необходимы Богу и Франции; к королеве, августейшей матери, на долю которой выпало самое тяжелое испытание среди всех матерей, наконец, к принцессе, истой француженке по духу, избравшей для себя второй родиной нашу страну, которой она дала двух французов, династии — двух принцев, двойную надежду для будущего...»

Каким же предстанет это будущее? Кто знает? Вдруг установят регентство? Принцесса Елена фактически окажется королевой. Быть может, Виктор Гюго станет тогда премьер-министром? Но прежде всего нужно получить звание пэра, стать приближенным старого короля.

Через месяц после разразившейся драмы Гюго отправился с визитом к герцогине Орлеанской, пожелав, как это ни странно, взять с собой Жюльетту, — и та ждала его в кабриолете, пока он был во дворце.

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 20 августа 1842 года

По каждому поводу меня охватывает страх и, стало быть, отчаяние. Вот этот визит к герцогине Орлеанской, когда ты так мило возил меня с собой, — он стал для меня пыткой из-за времени и обстоятельств твоего визита: я в простом домашнем платье и эта женщина, красавица, которую постигло великое горе, что должно еще увеличивать для тебя ее очарование. Признаюсь, как ни мужественна моя любовь, как ни велико мое доверие к тебе, я не спокойна, раз мне приходится бороться, и бороться безоружной...

Опасения были напрасны. Августейшая вдова, облаченная в глубокий траур, думала лишь о своей утрате и о своих сыновьях. Но она продолжала принимать поэта и обсуждать с ним неясное будущее.

Глава четвертая

О ГЛАДИАТОРАХ В ЛИТЕРАТУРЕ

Гюго гениален; гений — это нечто великое, но не совершенное.

Жюль Ренар

Когда в 1840 году Гюго опубликовал «Лучи и Тени», сборник стихотворений в духе «Внутренних голосов», то первым побуждением Сент-Бёва было нанести

смертельный удар ненавистному противнику. Уже давно его приводило в ярость молодое поколение аллилуйщиков, фанатических поклонников Виктора Гюго; которые нападали на Бюлоза, на «Ревю де Дё Монд», даже на самого Сент-Бёва и на любого, кто не воскурял безудержно фимиам их вождю. Сам Гюго оставался в тени, его важный вид напоминал Сент-Бёву «римских патрициев смутных времен»... «содержавших в горах шайки разбойников, с которыми они якобы не знали и во главе которых их никогда никто не видел». Публично Виктор Гюго не поощрял своих литературных «гладиаторов», но, быть может, «оттачивал перо дерзких своих оруженосцев и был повинен в их злодеяниях в такой же степени, как некий английский король, обмолвившийся неосторожными словами, которые заставили четырех придворных головорезов броситься с кинжалами на Томаса Бекета».

По правде сказать, Сент-Бёв не мог простить своему другу ни его мощи, ни его торжествующего творческого размаха. Сент-Бёв знал, вернее, полагал, что он умнее Виктора Гюго; он обладал более тонким художественным вкусом, но ему не радостно было все понимать, обо всем судить и ни во что не верить: «Я слишком хорошо знаю, что лишен какого бы то ни было величия, что я не способен ни любить, ни верить. Только тем и утешаюсь, что быстро все понимаю». Его неотвязно преследовал ненавистный ему образ Гюго: «Это человек, у которого все искусственно, рассчитано, все обдуманно, вплоть до его «здравствуйте». И так он себя вел с пятнадцатилетнего возраста. Долгое время я в этом сомневался, но когда хорошенько узнал его, то убедился, что был прав. Его неуклюжие уловки мне все больше и больше бросаются в глаза». Или еще: «В своей жизни я часто сталкивался с грубостью и шарлатанством сильных, но неделикатных людей, подобных Гюго и другим калифам на час, вот почему я проникся отвращением к этим грубым натурам, напускающим на себя величественный вид...»

Наиболее тяжкая вина Адели Гюго состояла в том, что она подливала масла в огонь. «Гюго — это Циклоп, — говорил Сент-Бёв, — у него лишь один глаз». — «Верно, верно, — поддакивала Адель, — он видит лишь самого себя». — «Я часто утверждал и утверждаю, что он груб и наивен. Я повторяю это вслед за человеком, который знает его еще лучше, чем я». Этим человеком

была Адель; от увлечения ею Сент-Бёв, невзирая ни на что, не мог отделаться; он включил в сборник «Книга любви» стихотворения, посвященные ей, и опубликовал их анонимно. «В любви для меня самым большим и настоящим успехом была она — моя Адель. Я похож на тех генералов, которые всю жизнь живут одной выдающейся победой, хотя они обязаны ей в большей степени своей счастливой звезде, чем личным заслугам. С того времени я переношу удар за ударом, поражение за поражением. У меня нет сил участвовать в битвах, я больше не воюю и довольствуюсь тем, что скромно провожу маневры в своих краях... Впрочем, все идет хорошо, я вновь нашел мою Адель, ее сердце, и не желаю больше любить никого, кроме нее (декабрь 1840)...» И Сент-Бёв без конца рассуждает о ней. «Когда Гортензия (Аллар) прочла стихи — «Все кончено! Оставь меня!», она написала мне: «Подобные стихи и признания заставят любую женщину вернуться хоть с края света. Адель еще постучится к вам в дверь, вы вновь встретитесь с ней, и все будет хорошо; вы должны простить ее. Я постоянно думаю об этом и верю, что так оно и будет. Надо все прощать натурам, которым свойственны благородные порывы страсти, ибо они принимают лишь это, и, подходя к ним с этой стороны, можно владеть ими безраздельно. Остальное в счет не идет». Я ответил на это письмо: «То, что вы говорите, — верно. Вот почему я ей простил, но не больше. Поймите, что немного ума, немного тонкости, некоторая доля чувственности не вредят возвышенной и великой страсти. При редких встречах подобного рода свойства особенно уместны, а их-то и недоставало моей очаровательной и жестокой даме...»

Итак, он решил обрушиться на новый сборник Циклопа и в июне 1840 года написал яростную статью «О гладиаторах в литературе»:

Первые стихотворения господина Виктора Гюго отличались яркостью, нежностью и даже большим очарованием, чем стихи, написанные им позднее, где возникли странные, чужеродные интонации и вычурность. Я сошлюсь на стихотворение о «Юном гиганте», в котором как бы сосредоточились все странности, проявившиеся затем в еще более угрожающей и серьезной форме в романе «Ган Исландец». Вычурность, характерная для «Юного гиганта», искупалась оборвочительными красотами стиха, и часто случалось, что о ней не говорили или ее принимали как забаву, как затянувшуюся игру цветущего детства. К моменту появления «Восточных мотивов» Муза Виктора Гюго, даже если судить о ней с разных

точек зрения, могла представить нашему взору галерею образов, один ярче и изящнее другого. Были там стихи о первой любви, которые писались и раньше, была там и блистающая красотой Пери, которая с каждым днем все хорошела. Фантастическая мечта поэта породила тогда и образ *Зары-купальщицы*. Именно там (я не буду развивать эту тему) очень много прекрасных образов, характеризующих красочную, живую манеру поэта. Но в этом поэтическом царстве разрастались и черты, свойственные стихотворению «Юный гигант».

Жан-Поль в своем «Титане» утверждал: «В человеке живет грубый и слепой Циклоп, который во время душевных бурь возвышает голос и яростно стремится все уничтожить». Страшный и дикий дух злобно вопит в нас — противоборствует доброму гению, который говорит более спокойно и дает нам более разумные советы. В то время рядом с поэтической Музой в творениях Гюго обитал именно этот юный Циклоп. Но сначала в его пещере веял свежий ветер, по утрам вокруг нее резвились тысячи фей и нимф, журчали ручейки, шумели водопады, и даже когда из пещеры выходил пастух Полифем и взбирался на скалу, это был юный Полифем, влюбленный в Галатею, мелодично игравший на флейте и достойный того, чтобы какой-нибудь Феокрит собрал его песни. *Et erat tum dignus amari*¹.

Было время, когда цевница Полифема наигрывала нежные и пленительные мелодии; казалось, что во владениях обновленной и плодотворной музыки Циклоп погиб и возобладали добрые гении. Это была пора «Осенних листьев». Удивительная душевность, трогательные интонации убеждали нас в том, что из поэзии Гюго навсегда исчезли странные влечения и дикие чудовища. Обманчивая видимость! Великан Циклоп вовсе не погиб, он был лишь обьят сном. Конечно, Пери и блистающие феи продолжали свою жизнь. Но целая стая волшебных созданий и даже спутницы лирического шествия исчезли. А великан, стремившийся проникнуть в среду фантастических существ, добрался до них и все чаще прикасался к ним. Становясь более взрослым, Циклоп преследовал их с большей дерзостью, большей навязчивостью, вел себя более вызывающе. Он уже не был безумным юнцом: *flaventem primā lanugine malas*². Если он и не пожрал своих сестер, то порой обращался с ними грубо. «Песни сумерек», «Внутренние голоса» и даже последний сборник — «Лучи и Тени» — могут тут служить не очень приятными для поэта доказательствами.

...Пока поэт был молод, ошибки его вкуса, его грубости могли быть восприняты как оплошности юного таланта, несколько злоупотребляющего грубой силой и яркими тонами. Но теперь, когда талант этот сформировался, а человек стал взрослым, в его поэзии продолжают удерживаться и увеличиваться, все больше в нее внедряются причудливые образы. Прощай, благодатная пора созревания!

Каждому поэту свойственны недостатки. По мере поэтического развития эти недостатки даже возрастают. Ламартин без конца обращается к водопадам, и часто его лирическая поэзия теряется в сверкающей водяной пыли, словно в брызгах водопада Штаубах. В стихах господина Гюго постоянно слышны удары молота —

¹ И тогда был достоин любви (лат.).

² Его щеки оттенил первый пушок (лат.).

Вулкана или скандинавского кузнеца Веланда, и многие из его самых великолепных стихов кажутся только что снятыми с накопальной. Грохот усиливается, удары молота все слышнее и слышнее, даже под сенью цветущих рош.

Для того чтобы завершить характеристику господина Гюго теперь, когда мы читаем его новый сборник, скажу, что тут оказываешься в положении человека, совершающего прогулку по роскошному восточному саду, по которому его ведет светлый Гений. Но некий уродливый Карлик заставляет дорого платить за это удовольствие и на каждом шагу бьет его палкой по ногам. А Гений, при всем своем могуществе, как будто и не замечает, что вытворяет этот Карлик. Вы избиты и восхищены, Вы ослеплены и сломлены. Карлик, разумеется, — это все тот же Циклоп. О, если бы в один прекрасный день критика смогла вырвать у Циклопа, то есть у того же Карлика, единственный его глаз, которым он видит лишь самого себя; пусть он считает критику столь же коварной, как Одиссей, — она оказала бы великую услугу другим божествам, которыми изобилует поэзия господина Гюго, и, может быть, тогда они вновь широко расправили бы свои крылья!..

Статья эта не была опубликована, но Сент-Бёв намекал на нее несколько раз: «Я не подвергал анализу сборники его стихов, вышедшие после 1835 года, а если мне и приходилось набросать кое-что для себя, я эти заметки не печатал».

Быть может, тут сказалось влияние Адели: ведь если она не прочь была тайком покритиковать мужа, она не любила, чтобы кто-либо открыто нападал на него как на поэта, чья слава возвеличивала и ее. Авторская рукопись «Гладиаторы в литературе» хранится в Шантильи, среди мемуаров, оставшихся после смерти Сент-Бёва. В начале первой страницы можно прочесть (не смотря на то, что фраза зачеркнута): «Сжечь после моей смерти — я этого требую», и тут же внизу: «После моей смерти — напечатать. Сент-Бёв».

Глава пятая

В ВИЛЬКЪЕ

Тот, кто любил, постиг это чувство. Оно неведомо человеку, не испытавшему любви. Я сочувствую ему, но не понимаю его.

Лакордер

Январь 1843 года. Жюльетта беспокоилась, видя, что ее «дорогой дружок» очень мрачен. Его «милое лицо», казалось, «совсем потускнело». Скрывал ли он от нее какие-нибудь заботы или горе? Тем не менее на-

ступивший год всеяла добрые надежды. После пятилетнего перерыва Гюго готовился к постановке своей новой драмы — «Бургграфы». Дочь его Леопольдина была помолвлена с Шарлем Вакери, молодым человеком, которого в семье Гюго очень любили. Свадьба была назначена на февраль. В марте на сцене Комеди-Франсез должны были играть «Бургграфов». Летом Жюльетте и Виктору предстояло путешествие по Испании. Замечательные планы, не правда ли?

Однако «Виктор Гюго как будто не мог освободиться от наваждения призраков». Он любит братьев Вакери, ставших близкими ему, а они обожают Гюго. Шарль и Огюст Вакери родились один — в Нанте в 1816 году, другой — в Вилькье в 1819 году. То была старая семья лоцманов и рыбаков с Сены. Их отец — Шарль-Исидор Вакери, став судовладельцем в Гавре, нажил состояние и построил для своей семьи в Вилькье на берегу реки большой белый дом. Наследовать отцу должен был старший сын — Шарль; младший, Огюст, за время пребывания в Руанском коллеже жадно читал сочинения Эсхила, Шекспира, Гюго, а в школьных занятиях добился таких успехов, что был приглашен директором парижского лицея Карла Великого пройти там курс бесплатно, — ведь таким учеником можно было щегольнуть на любых экзаменах; лицеист Вакери, восторженный юноша, неистовый романтик, должен был со своими товарищами поставить в 1836 году спектакль в лицее. Они избрали для этого «Эрнани» и направились к автору испросить его разрешение. Гюго не только дал согласие, но и сам присутствовал на представлении.

Некоторое время спустя, когда происходил судебный процесс по поводу «Марион Делорм», Гюго увидел в зале суда молодого Вакери. «И торжествующий поэт заметил вдруг меня, и я руки его коснулся, как десницы короля...» Вслед за тем молодой нормандец и его друг Поль Мерис стали своими людьми в доме Гюго на Королевской площади. Им было поручено формировать батальоны для сражения за успех «Рюи Блаза». Когда молодой Огюст заболел, Адель Гюго ухаживала за ним, и юноша сохранил упоминание об очаровательной женщине, склонявшейся у его изголовья. В 1838 году, в то время как Виктор Гюго путешествовал по Рейну, Адель с детьми была приглашена в Гавр, к старшей сестре Огюста, супруге

Никола Лефевра, основателя Нуво-Гранвиль. Четыре отпрыска Гюго никогда не видели моря. Из Гавра вся семья направилась в Вилькье. Там они прожили до начала октября.

Огюст Вакери — госпоже Гюго, 9 октября 1838 года:

Дорогая госпожа Гюго, с тех пор как вы уехали, дом опустел и стал ужасно унылым. Мы скучаем без вас и без ваших милых детей. Теперь у нас тишина, такая печальная по сравнению с былым оживлением! Хочется поскорее написать вам. После вашего отъезда потянулись долгие и тоскливые дни. Ведь мой брат и в особенности я все время были с вами, и так приятно было жить в вашем обществе; мы без вас скучаем, и никто не сможет вас заменить.

Детям Гюго эти каникулы очень понравились. В следующем году они уговорили отца поехать в Гавр и Вилькье, откуда Олимпио направился в Страсбург, а его жена и дети остались у Вакери на все лето. Леопольдине исполнилось пятнадцать лет. Шарлю Вакери двадцать два. Он был убежден, что судьба готовит ему блестящую будущность. «Его отец нажил состояние на каботажном и дальнем плавании своих судов», но, несмотря на большой достаток, «семья вела скромный образ жизни, за что ее очень уважали». Шарль I Вакери, больной и уже пожилой человек, собирался уйти на покой; Шарлю II, который должен был стать его преемником, Леопольдина Гюго, простая, серьезная и умная девушка, казалась идеальной женой, и вот возникли планы соединить их узами брака,— намерение это госпожа Гюго одобрила.

Огюст Вакери — госпоже Гюго, четверг 17 октября 1839 года:

Наш дом опустел и оплакивает вас. Мы постоянно чувствуем, что в нем отсутствуют члены вашей семьи... Семье, с которой, по воле господней, нас связывают узы кровного родства, люди всегда предпочитают ту семью, которую они сами себе выбирают,— ту, которую избрало сердце. Вам уже давно известно, как я привязан к вам! Я только теперь понял, насколько ваша дружба мне необходима и насколько мне необходимо бывать в вашем доме. Несмотря на то, что нас разделяет расстояние в шестьдесят лье, я душою всегда с вами и постоянно думаю о вас.

Три смерти, последовавшие одна за другой, опечалили дружную семью Вакери. В 1839 и 1840 годах госпожа Лефевр-Вакери лишилась двух сыновей, Шарля и Поля, а два года спустя умер ее муж. Здоровье ее отца, Шарля Вакери, резко ухудшилось. В этой мрачной обстановке молодые жених и невеста не осмелива-

лись говорить о свадьбе. Тем не менее Виктор Гюго благословил их союз. «Поэты не могут давать своим дочерям богатое приданое, они должны одарить их более ценными сокровищами: тонкостью ума, добротой сердца и грациозностью». Наконец, 15 февраля 1843 года, в узком семейном кругу состоялось бракосочетание; о нем не известили даже друзей Гюго. Жюльетта из приличия не решилась присутствовать на церемонии, она не пошла и в церковь, но попросила Леопольдину оставить ей на память «какую-нибудь девичью безделушку, которая теперь не нужна невесте, раз она становится *замужней дамой*». Этот подарок она сочла бы символом того, что и впредь не порвется тесный союз двух существ, больше всех любивших Гюго, — его дочери и его возлюбленной. Отец передал дочери эту трогательную просьбу. Леопольдине уже давно была известна сложность отношений в их семье, и она исполнила просьбу Жюльетты, подарив ей не безделушку, а нечто лучшее — свой молитвенник. Виктор Гюго сочинил в самой церкви короткое стихотворение для юной невесты:

Кем так любима ты, люби того. Прости!
Как ты была для нас, будь для него отрадой!
Тебе одну семью сменить другою надо;
Оставив нам тоску, все счастье унести.

Удерживают здесь, там ждут тебя согласно.
Жена и дочь, свой долг двойной ты исполняй.
Нам — сожаление, надежду им подай.
Уйди, пролив слезу! Войди с улыбкой ясной!¹

Поэт грустил, расставаясь со своей старшей дочерью, своей любимицей, ставшей для него настоящим другом и столь разумной уже в молодые годы. «Не волнуйся за свою Дидину, — писала ему Жюльетта, — она будет счастливейшей из женщин». Так оно и должно было быть, но тем не менее Гюго страдал и чего-то боялся. Леопольдина должна была жить в Гавре, а в то время путешествие от Парижа до Гавра — в diligенсе или пароходе — занимало два дня.

Приходили письма, дышавшие счастьем.

Леопольдина Вакери — госпоже Гюго:

«Вот уже месяц, как я живу здесь, и мне так хорошо; вокруг меня — милые, ласковые люди, у меня есть все, что дает счастье,

¹ Виктор Гюго. 15 февраля 1843 года («Созерцание»). — Перевод А. Куршовой.

но иногда само это счастье внушает мне страх. Мне представляется, что такое блаженство не может длиться долго, затем, поразмыслив, я начинаю понимать, что мне чего-то недостает: нет возле меня моей дорогой мамы...»

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго:

«Надеюсь, мой ангел, что теперь ты успокоился и счастье обожаемой дочери отныне уже не будет вызывать у тебя волнений и слез».

Репетиции драмы «Бургграфы» отвлекли Гюго от странных предчувствий. Он возлагал большие надежды на эту пьесу и стремился придать ей эпическое величие. Во время путешествия по Рейну, когда он бродил дни и ночи, осматривая развалины древних замков, поросшие терновником и деревьями, его воображению представлялись картины титанической борьбы бургграфов против императора, «этих грозных рейнских баронов, гнездившихся в своих замках, властителей, которым служили на коленях их подданные... хищников с повадками орла и совы»; на основе этих мотивов он и хотел написать драму. Впоследствии к сюжету бургграфов присоединился другой, непрерывно занимавший мысли Гюго, а именно — вражда братьев. Известно, что он начал писать драму в стихах «Близнецы», героя которой держат в заключении под именем Железной Маски, — он принесен в жертву ради того, чтобы его брат Людовик XIV безраздельно царствовал на троне. Гюго оставил этот замысел незавершенным, но все же в «Бургграфах» Фоско (бургграф Иов) избавляется от своего брата Донато (будущего императора Фридриха Барбароссы), потому что они любят одну и ту же девушку — Джиневру. Бургграф Иова гложут угрызения совести, потому что он когда-то швырнул в заброшенный склеп тело смертельно раненного Донато, и он ходит туда каждую ночь. Так Гюго от драмы к драме возвращается к своей неотступной мысли о живо погребенном брате.

Когда произведение искусства выстрадано автором, это почти всегда придает ему красоту. «Бургграфы» — творение «чудовищное, предваряющее Вагнера», говорит Барер, тут и надменный замок, и четыре поколения рыцарей-разбойников, и борьба Провидения против Рока, — причем драма не лишена эпического величия. Театр Комеди-Франсез принял ее с восторгом. Но обстановка складывалась неблагоприятно. За несколько

театральных сезонов молодая талантливая актриса Рашель возродила моду на классическую трагедию. Публике приелось то, «что в обществе устареваает быстрее всего,— новизна».

Виктор Гюго, надеявшийся, что в театре произойдет такое же сражение, как некогда на премьере «Эрнани», отправил своих новых организаторов победы — Вакери и Мериса — к художнику Селестену Нантейлю просить у него триста молодых людей, «триста спартанцев, решившихся победить или умереть». Встрякнув своими длинными волосами, Нантейль ответил: «Господа, скажите вашему учителю, что молодежи теперь уже не существует». Точнее, тогда уже не было романтической молодежи.

Премьера прошла спокойно, зал был полон друзей. Несмотря на то что пьеса была написана превосходными стихами, ее нашли высокопарной и скучной. Реплика глубокого старика Иова, обращенная к шестидесятилетнему Магнусу: «*Молчите, юноша!*», вызвала в зале громкий смех. На втором представлении раздались свистки. Пятый и дальнейшие спектакли породили в зрительном зале целую бурю. Жюльетта обвиняла насмешников в заговоре и признавалась, что готова «обрушить на них свое негодование целым градом увесистых тумачков и пинков». Бюлоз, являвшийся в то время директором Комеди-Франсез, рассказывает, как однажды в два часа ночи Гюго, проходя с ним мимо Тюильри, воскликнул: «Если бы Наполеон находился еще там, «Бургграфы» считались бы во Франции великим произведением и император приходил бы к нам на репетиции». Но Наполеона I уже не было, а людям, подобным бальзаковским Бирото и Камюзю, составлявшим публику во времена Луи-Филиппа, наскучили высокие чувства и красноречие. Весьма довольный, Сент-Бёв писал: «Пьесу освистали, но Гюго, не желая примириться с этим словом, говорил актерам, что «публика помешала его пьесе»; с тех пор злые языки среди актеров говорили «помешать» вместо «освистать». На десятом представлении сбор упал до тысячи шестисот шестидесяти шести франков, тогда как Рашель, игравшая в трагедиях Расина, каждый вечер делала сбор в пять тысяч пятьсот франков. Семнадцатого марта над Парижем пролетела комета, и в «Шаривари» появилось следующее четверостишие:

Взглянув на небеса в лорнет,
Сказал Гюго, святая простота:
«О Господи! Есть хвост у всех комет,
А на «Бургграфов» нет хвоста...»

Провал пьесы, хотя и не заслуженный, становился все более очевидным. «Какова трилогия «Бургграфы»? Тройная скука,— писал Генрих Гейне,— деревянные фигуры... Унылая кукольная комедия... Холодная страсть...» В апреле Париж устроил овацию на представлении «Лукреции» Понсара, потому что этот провинциальный неоклассик выступил как антипод Гюго. Бальзак негодовал: «Я смотрел «Лукрецию»! Какая мистификация преподнесена парижанам... Нет ничего более ребяческого, более ничтожного, это самая примитивная, школьная трагедия. Через пять лет все забудут Понсара. Поистине, Бог сурово покарал Гюго за его глупые выходки, послав ему в соперники Понсара...» Внешне Гюго казался спокойным, но такая ненависть, расплата за прежние успехи, потрясла его. После тридцать третьего представления «Бургграфы» были сняты с репертуара, и Гюго прекратил писать для сцены. День 7 марта 1843 года стал «Ватерлоо романтической драмы».

Несмотря на возражения госпожи Гюго, Жюльетта Друэ следующим летом воспользовалась «своим ежегодным жалким, маленьким счастьем». В этом году они с Гюго предприняли путешествие по юго-западу Франции и по Испании, которое должно было возродить в памяти поэта детские годы и отвлечь его от той глубокой печали, в которую он был погружен в Париже с февраля месяца. Леопольдина, находившаяся на третьем месяце беременности, все время беспричинно волновалась и настаивала на том, чтобы ее отец никуда не уезжал. Во вторник 9 июля он приехал в Нормандию, чтобы попрощаться с дочерью, а потом написал ей:

«Если бы ты знала, дорогая моя, каким ребенком я становлюсь, когда думаю о тебе. На глазах у меня слезы, мне хочется всегда быть с тобой... День, проведенный в Гавре, был для меня светлым лучом, я никогда его не забуду...»

Тем не менее путешествие увлекло его воображение. Байонна оставалась в его памяти необычайно привлекательным уголком земли. И там жила та, что «оставила в его сердце наиболее ранний след». Но он не мог узнать дома, где когда-то сквозь кружевную косынку он созер-

цал сверкающую белизной грудь. Что случилось с юной Пепитой? Вышла ли она замуж, вдова ли она, быть может, умерла? Быть может, он встретит ее, но не узнает. Дымка в небе безбрежном. Однако первая же телега, которую тянули испанские быки, и отчаянный визг ее колес внезапно вызвали в нем острое ощущение счастья. Вдруг возродились дорогие воспоминания детства. «Мне показалось, что между прошлым и настоящим не было никакого промежутка. Это было вчера. О, счастливые время! Сладостные и лучезарные годы, когда я был ребенком, когда не отягощала меня жизненный опыт, когда возле меня была любимая мать. Испугавшись скрипа огромных колес, путешественники, окружавшие меня, затыкали себе уши, я же был преисполнен восторга...»

Ирун разочаровал его, теперь город походил на Батиньоль. «Где же прошлое? Куда исчез дух поэзии?» Фонтарабия оставила в нем светлое воспоминание. На фоне голубого залива когда-то предстало перед его глазами селение с золотыми крышами и остроконечной колокольней. Теперь же на плато он обнаружил просто-напросто хорошенький, маленький городок. Ландшафты, как и он сам, несколько потускнели. Но, как и в былые годы, Испания поразила его воображение своей дикой природой, гибкими и стройными женщинами, яркостью речи. «Это страна поэтов и контрабандистов». В Пасакесе, селении, расположенном близ Сан-Себастьяна в провинции Гипускоа, он обнаружил замечательный, чарующий уголок: высокие дома, окрашенные в белый и ярко-желтый цвет, на балконах развевающиеся яркие полотнища красной, желтой, голубой материи, на берегу залива — черноокие красавицы лодочницы с великолепными волосами.

Он доехал до Памплоны, затем возвратился через Пиренеи по маршруту Ош, Ажен, Перигё, Ангулем. На острове Олерон, 8 сентября, Жюльетта была поражена скорбным видом Виктора Гюго. Остров являл собою печальное зрелище. «Ни одного паруса. Ни одной птицы. На горизонте появилась огромная круглая луна, которая сквозь густой туман казалась красноватым, лишенным позолоты отблеском луны. Тоска леденила мне душу. В тот вечер все было каким-то мрачным, зловещим. Сам остров казался мне огромным гробом, лежавшим на море, а эта луна — светильником, озарявшим его».

На следующий день, покинув остров, они отправились в Рошфор. Гюго хотел заехать в Гавр, повидать мо-

лодых Вакери. Адель и трое ее детей находились по соседству — в Гранвиле, она жила там на даче, которую снял для нее зять. Вскоре в Гранвиле должна была собраться вся семья; при одной этой мысли Гюго обрел бодрость духа. В деревне Субиз Жюльетта предложила зайти в кафе, выпить бутылку пива и просмотреть газеты, которые они не читали уже несколько дней.

Дневник Жюльетты Друэ, 9 сентября 1843 года:

На площади мы увидели вывеску, на которой большими буквами было начертано: КАФЕ ЕВРОПА. Мы вошли туда. В этот час дня никого не было. Лишь один молодой человек за первым столиком по правой стороне сидел напротив кассирши, читал газету и курил. Мы устроились в глубине зала, у винтовой лестницы, перила которой были обтянуты красным коленкором. Официант принес бутылку пива и удалился. На соседнем столе лежало несколько газет. Тото наугад взял одну из них, а я взяла «Шаривари». Не успела я прочитав заголовки, как мой бедный друг внезапно склонился ко мне и сдавленным голосом простонал, показывая мне газету: «Какой ужас!» Я взглянула на него: до конца дней моих мне не забыть несказанного отчаяния, которое отразилось на его благородном лице. Только что я видела его веселым и счастливым, и в одно мгновение он преобразился, сраженный несчастьем. Губы у него побелели, красивые глаза не видели ничего, лицо и волосы стали влажными от слез. Он схватился рукой за сердце, словно боясь, что оно выпрыгнет из груди. Я взяла эту страшную газету и прочла...

В газете «Сьекль» сообщалось об ужасном происшествии, случившемся в Вилькье в понедельник 4 сентября. Накануне Леопольдина и ее муж приехали из Гавра в Вилькье, чтобы провести там воскресный день. В Вилькье они встретили своего дядю — Пьера Вакери, бывшего капитана судна, и его сына Артюса, мальчика одиннадцати лет. «В воскресенье днем к набережной причалила яхта, которую Шарль велел пригнать из Гавра. Такая фантазия пришла его дяде. Яхта была построена на морской верфи по его собственному проекту. Шарль участвовал на этой яхте в регате, происходившей в Онфлере, и взял первый приз. Яхта была оснащена двумя большими парусами и благодаря им развивала под ветром большую скорость, но корпус у нее был слишком легкий для обычного плавания в устье Сены. Пьер Вакери решил испытать это суденышко на другой день утром, совершив на нем прогулку до Кодбека к своему нотариусу, мэтру Базиру, который ждал его...»

На другой день утром погода была прекрасная. Ни малейшего ветерка, вода как зеркало, легкая утренняя

дымка. Накануне условились, что Леопольдина поедет вместе с мужем, дядей и двоюродным братом. Но ее свекровь тревожилась, что яхта очень уж легкая, и отговорила сноху от прогулки. Оба мужчины и мальчик отправились без нее, но тотчас же возвратились: яхта плясала на воде, и они для балласта положили в нее два больших плоских камня. На этот раз Леопольдина соблазнилась, попросила подождать ее и, быстро переодевшись в платье из красного клетчатого муслина, села в яхту. До Кодбека доплыли очень быстро, без всяких злоключений.

Нотариуса Базира надо было привезти в Вилькье к завтраку. Он предложил ехать в его экипаже: прогулка на неустойчивой яхте ему совсем не улыбалась. Для его успокоения Шарль и Пьер увеличили балласт глыбами песчаника, сложенными на набережной Кодбека. Нотариус скрепя сердце сел в яхту, но, так как она плясала все сильнее, попросил, чтобы его высадили на берег у часовни Бар-и-Ва, заявив, что дойдет пешком. «Поплыли дальше. Ветер надувал паруса. Спустя несколько минут внезапно налетевший шквал опрокинул яхту набок. Камни, положенные для того, чтобы придать ей устойчивость, покатались, усилив ее крен. И вещи, и разбушевавшаяся стихия коварно обрушились на людей. Счастливо начавшаяся прогулка завершилась трагически. Из пассажиров лишь Шарль Вакери, превосходный пловец, еще бился в волнах вокруг перевернувшейся яхты, пытаясь спасти свою жену. Она цеплялась за борт судна. Он напрасно тратил свои силы. Поняв тщетность своих попыток, он, ни на одно мгновение не оставлявший ее, решил утонуть вместе с ней...» Огюст Вакери поздно ночью сообщил о катастрофе госпоже Гюго. Он заставил ее уехать в Париж во вторник «с тремя оставшимися детьми, чтобы они не находились в Вилькье на ужасном обряде похорон».

Романтической гибели молодых супругов соответствовал и романтический обряд погребения: их положили в один гроб. Из белого дома их вынесли на плечах провожавших и похоронили на маленьком кладбище подле часовни.

Виктор Гюго — Луизе Бертен, Самюр, 10 сентября 1843 года:

«Мне трудно передать, как я любил мою бедную девочку. Вы помните, какая она была очаровательная. Это была самая милая, самая прелестная женщина. Всемогущий Боже! Чем я перед тобой провинился?»

Так как Гюго привык всегда подводить итоги, «шла ли речь о тайнах Вселенной или о мелких расходах», он задавал себе вопрос: «Не мстит ли всевышний любовнику, который отошел от своей семьи?» Вот почему он некоторое время с отвращением относился к Жюльетте Друэ и «льнул к своей жене». Из рокового кафе «Европа» в Субизе он писал ей:

«Не плачь, несчастная женщина. Смиримся с судьбой. То был ангел. Вручим ее Богу. Увы! Она была слишком счастлива. О! Как я страдаю! Вместе с тобой и с нашими горячо любимыми бедными детьми я плачу горькими слезами. Дорогая Деде, будь мужественной, крепитесь все вы. Я скоро приеду. Мы будем горевать вместе, любимые мои. До свидания. До скорой встречи, моя дорогая Адель. Пусть этот страшный удар по крайней мере сблизит наши любящие сердца».

По пути в Париж, в дилижансе, он набросал в своем блокноте несколько отрывочных строк:

...Мне казалось — я гордый мыслитель, поэт...
Но в несчастье — увы! — я простой человек!..
...Любовалась ты Сеной, прекрасной и тихой рекой,
И никто не сказал: «Здесь найдешь ты навеки покой...»

Тем временем Адель Гюго, желая сохранить в памяти обстановку «готического дома» на улице Шоссе в Гавре, в котором Дидина и Шарль прожили семь месяцев, отправила туда своего друга, художника Луи Буланже.

Огюст Вакери — госпоже Гюго, 19 октября 1843 года:

Чтобы вы не тревожились, отвечаю вам сразу же. Буланже сделал зарисовку их спальни. Удивительное сходство, теперь те, кто в ней не был, узнают ее. Итак, это сделано. Я привезу вам картину, когда поеду в Париж... Встречусь с вами в воскресенье. Эту неделю буду занят окончательным подсчетом ваших расходов. Все очень просто... Что касается садовника, который возвратился и требует 104 франка неизвестно за что, то я его выгнал... Мне хотелось бы узнать, не захватили ли вы вместе с чемоданами черный сундук, который вам одолжила моя сестра, — кажется, это единственная вещь, которую она требует...

Адель была мужественной и верующей женщиной. «Моя душа, — писала она 4 ноября 1843 года Виктору Пави, — улетела, если можно так сказать, покинула меня, чтобы соединиться с ее душой». Дом на Королевской площади долгое время был погружен в траур. Целыми днями мать держала в своих руках косу утонувшей дочери: Гюго сидел молча, на коленях у него

была маленькая Деде. Старик Фуше сразу постарел лет на двадцать. На стенах и на столах можно было увидеть портреты погибшей четы, на сумке была вышита надпись: «Платье, в котором погибла моя дочь. Священная реликвия». Виктор Пави советовал Сент-Бёву помириться с семейством Гюго и стать их близким другом, «памятуя об этой страшной драме». Но тот отказался. После фатального 1837 года ему уже трижды делали такого рода предложения, трижды он мирился, а за примирением, говорил он, следовали новые оскорбления и разрыв. «Даже после этого ужасного несчастья я смог бы вернуться только в том случае, если бы она сама ясно сказала, что хочет этого: ее слова явились бы для меня повелением. Она этого не сделала. Теперь уж все кончено, и навсегда. Страшно подумать, по это так...» Зато Альфред де Виньи писал: «Перед таким несчастьем любые слова кажутся ничтожными или жестокими».

Смерть дочери нанесла страшный удар Виктору Гюго, он не мог прийти в себя. В декабре Бальзак, всецело занятый выставлением своей кандидатуры в члены Академии, посетил Гюго и, возвратившись домой, написал госпоже Ганской:

«Ах, мой дорогой друг, Виктор Гюго постарел на целых десять лет! Говорят, он воспринял смерть своей дочери как наказание за то, что прижил с Жюльеттой четверых детей. Кстати сказать, он всецело поддерживает меня и обещал отдать свой голос за мое избрание. Он ненавидит Сент-Бёва и Виньи. Вот, дорогая моя, поучительный урок для нас, эти браки по любви в восемнадцать лет. Тут Виктор Гюго и его жена — наглядный пример...»

Как видно, пересуды не щадят даже тяжкую людскую скорбь.

Жюльетта умоляла Гюго хоть немного рассеяться, отвлечься от своего горя. Он еще неспособен был работать и попросил ее привести в порядок его записки о последних днях путешествия в Пиренеях, для того чтобы завершить работу над книгой, которая была начата со светлых воспоминаний и закончена в час неожиданного несчастья. Часто он ездил в Вилькье на могилу дочери, где были посажены кусты роз, бродил по берегу, искал «страшное место», весь во власти мучительного отчаянья... «Воспоминания! Ужасен вид холмов!» В течение ряда лет он писал в день 4 сентября изумительные в своей трагической простоте стихи.

1844:

Ей десять минуло, мне — тридцать;
Я заменял ей мир в те дни.
Как свежий запах трав струится,
Там, под деревьями в тени!..

О ангел мой чистосердечный!
Ты весела была в тот день...
И это все прошло навечно.
Как ветер, как ночная тень! ¹

1846:

Весна! Заря! О, память, в тонком
Луче печали и тепла!
— Когда она была ребенком,
Сестричка ж крошкой была...—

На том холме, что с Монлиньоном
Соединил Сен-Лё собой,
Террасу знаете ль с наклоном
Меж стен — небесной и лесной?

Мы жили там.— Побудь с мечтами,
О сердце, в милом нам былом! —
Я слышал, как она утрами
Играла тихо под окном ².

1847:

Едва займется день, я с утренней зарею
К тебе направляю путь. Ты, знаю, ждешь меня...
Пойду через холмы, пойду лесной тропею,
В разлуке горестной мне не прожить и дня...

Ни разу не взгляну на запад золотистый,
На паруса вдали, на пенистый прибой...
И, наконец, дойду. И ветви остролиста,
И вереск положу на холм могильный твой ³.

К его глубокой скорби постоянно примешивались угрызения совести из-за того, что в трагический момент он находился вдалеке от своей семьи, путешествуя с любовницей. Фавн осуждал себя — у него была беспокойная душа.

¹ Виктор Гюго. Когда еще мы обитали... («Созерцания»).— Перевод Е. Полонской.

² Виктор Гюго. Заря!.. («Созерцания»).— Перевод А. Курошевой.

³ Виктор Гюго. Едва займется день... («Созерцания»).— Перевод А. Корсуна.

Глава шестая
ФРИВОЛЬНОСТИ И ФРЕСКИ

Сегодня в сумерки проведите меня
в парк Королевы.

Виктор Гюго. Вся лира. VI

Чувственность — это состояние неистовости. Естественно, что человек в крайнем смятении души ищет забвения в сильных и разнообразных ощущениях. Виктор Гюго в 1843 году, погруженный в глубокую печаль, должен был дать волю своим страстям. Жюльетта? Нет, Жюльетта его уже больше не удовлетворяла. В течение десяти лет, которые бедняжка провела в затворничестве, красота ее поблекла. После тридцати лет ее волосы поседели, она лишь сохранила чудные глаза, облик тонкий и благородный, но уже не являлась «воплощением неописуемой прелести», уже не была той блистательной красавицей в кружевах и бриллиантах, какой он знал Жюльетту в те времена, когда она играла принцессу Негрони. Порою ему было скучно с ней. Она была умна, очень остроумна, и все же ему не о чем было с ней говорить. Она ни с кем не встречалась, ничего не видела, лишь один месяц в году, во время их совместного путешествия, этот образ жизни нарушался. Ее бесчисленные письма представляли собою длинные причитания, смесь восхвалений и жалоб. «Словно некий отшельник, взобравшись на каменный столп и обратив взор к небу, без конца бормотал один и тот же псалом,— говорит Луи Гембо.— Люди восторгались тем, что он безостановочно выражает свое обожание, однако он казался им несколько ограниченным существом, и им было непонятно, как это Богу не наскутит такое монотонное молитвословие...» Да и читал ли теперь Гюго ее письма? Иногда Жюльетта сомневалась в этом:

Я ни к чему не пригодна, и где уж мне сделать тебя счастливым! Вот уже два с половиной года ты как будто и не замечаешь, что я живу на свете лишь для того, чтобы любить тебя и быть тобой любимой. Ты сделал для меня все, что может сделать самая благородная и великодушная преданность. Но это еще не значит любить. Это означает быть верным и хорошим другом, не подчеркивая своего благородства. Я не строю себе никаких иллюзий. И к тому же я люблю тебя так сильно, что стала проницательной. Я хорошо вижу, что уже более двух лет ты перестал меня любить, хотя разговариваешь и обращаешься со мной так, словно

твоя любовь еще не угасла. Но это лишь доказывает, что ты хорошо воспитанный человек, вот и все. Для любящего сердца бурные сцены более красноречивы и убедительны, нежели сдержанная галантность речи. Звонкая пощечина иногда больше говорит о страсти и нежности, чем равнодушный поцелуй в уста или в лоб. За последние два года я убедилась в этом на своем горьком опыте.

Увы, она была права. Виктор Гюго ценил ее безграничную жертвенность и превосходно понимал, чем он обязан ей за это служение, но влечение исчезло, он оставался холоден к ней. Он пользовался всяким поводом, чтобы не нарушать ее целомудрия, к чему она совсем не стремилась. Она имела право проводить с ним лишь три больших праздника — 1 января, 17 февраля (воспоминание об их первой ночи), 19 мая — день святой Юлии. Уже в 1844 году он забыл навестить ее 19 мая. Когда скромный, семенивший мелкими шажками господин Фуше заболел, Виктор ответил на жалобы покинутой Жюльетты, что он ухаживал за своим тестем, ибо он «всем обязан этому замечательному старику». Истина же заключалась в том, что, как это хорошо понимала Жюльетта, другие женщины привлекали теперь ее любовника. Было много актрис или просто молодых обожательниц, которые поднимались по тайной лестнице дома на Королевской площади.

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 17 января 1843 года:

«Я уверена, что тебе любопытно и приятно поближе познакомиться с женщинами, которые увлечены тобой и потворствуют твоему тщеславию мужчины и поэта. Я не хочу тебе в этом мешать. Но я знаю, что при первой же твоей измене я умру, вот и все, что я хотела тебе сказать...»

В начале 1843 года его дамой сердца стала молодая блондинка с томным взглядом, она часто опускала глаза свои долу с видом «пугливой голубки», но мелькавшая на ее лице лукавая улыбка разрушала это впечатление. Она именовалась Леони д'Она, происходила из небогатой, но старинной дворянской семьи, получила воспитание, подобающее светской барышне, а в семнадцатилетнем возрасте убежала из дому и стала жить с художником Франсуа-Огюстом Биаром в его мастерской на Вандомской площади.

Биар был посредственным, довольно примитивным художником, достигшим успеха лишь потому, что король Луи-Филипп желал приобрести для галереи Версальского дворца помпезные «машины» — исторические

картины огромных размеров. Как раз такие произведения Огюст Биар мог малевать целыми сериями. Он побывал в Норвегии, в Лапландии, это создало ему романтический ореол, быть может, и соблазнивший Леони д'Онэ. В 1839 году она совершила с ним путешествие на Шпицберген, проявив тогда и мужество и находчивость; на обратном пути они остановились в замке Мункхольм, для того чтобы в соответствующей обстановке перечитать «Гана Исландца» Виктора Гюго.

В 1840 году художник женился на своей подруге, так как она была уже беременной на шестом месяце. Они купили на берегу Сены, возле Самуа, «дом, сад, парк, пруд, лодку» и стали с 1842 года принимать у себя художников. После возвращения с Дальнего Севера госпожа Биар вошла в моду, как «первая француженка, побывавшая на Шпицбергене», и ее альбом был заполнен стихами, подписанными тогдашними знаменитостями. Поэтов в ее дом приводила госпожа Фортюне Гамлен, старая дама шестидесяти семи лет, одна из знаменитых «щеголих» времен Директории. Она была креолкой, как и Жозефина Богарнэ, отличалась остроумием и утонченностью, дружила с Шатобрианом и Виктором Гюго. Как мадемуазель Жорж и многие другие, она была кратковременной фавориткой Наполеона, и он оставался ее «божеством». Гюго, так хорошо отзывавшийся о Наполеоне, пленил этим нераскаявшуюся бонапартистку, а кроме того, он любил слушать ее воспоминания о пяти исчезнувших режимах: Монархии, Директории, Консульстве, Империи, Реставрации.

Госпожа Гамлен снимала каждое лето охотничий домик (Эрмитаж-де-ла-Мадлен) близ Платрери, поместья Биаров. Молодая женщина и старуха подружились. Многие престарелые вдовы, в прошлом когда-то красивые и легкомысленные, грешат в старости сводничеством. Фортюне Гамлен представила поэта супруге художника. Они понравились друг другу, стали встречаться. Но в 1843 году постановка «Бургграфов», путешествие по Пиренеям и затем смерть Леопольдины спасли Жюльетту от измены возлюбленного. В 1844 году Гюго, охваченный скорбью, прилагал все усилия, чтобы избавиться от мучительной тоски. Он хотел забыть в работе, усердно трудился в комиссиях Академии, бывал во дворце и, конечно, предавался новым увлечениям. Госпожа Биар была несчастна в своей семейной жизни, художник дурно обращался с ней. Жа-

лость к женщине обостряла у Гюго влечение к ней. Два отчаявшихся существа нашли друг друга, теперь у Гюго появилась новая спутница для ночных прогулок. Гюго показывал ей «свой Париж» — от Собора Парижской Богоматери до улицы Гренель,— писал стихи, воспевая в них уже не Жюльетту, а нового ангела.

Тот вечер первых дней апреля
И ты и я
В своих сердцах запечатали,
Любовь моя!

Мы шли с тобою по столице
Порою той,
Когда на город ночь ложится,
А с ней покой...

В старинном и глухом квартале
Навстречу нам
Две призрачные башни встали
Над Нотр-Дам.

Хотя над Сеной облаками
Клубилась мгла,
Сверкали волны над мостами,
Как зеркала...

Сказала ты: «Люблю и страстью
Своей горда!»
И ярко озарило счастье
Меня тогда.

Часы блаженные летели...
Любовь моя,
Ты помнишь эту ночь в апреле,
Как помню я? ¹

Двадцать пятого июня 1844 года:

Ты помнишь ли тот день, счастливый день воскресный?
Июнь, девятое... В окне узор чудесный
По белой кисее струился, словно дым.
Тебя он называл сокровищем своим,
Он обнимал тебя... О миг блаженства, где ты?
Стучали в лад сердца, единством дум согреты,
И лучезарный день смеялся в лад сердцам.
И даже небеса завидовали вам!
Друг друга вы без слов душою понимали,
Порой твои глаза таинственно сверкали,
Стыдливость и любовь читал он в них тогда —
Так тучи и лазурь плывут в очах пруда.
То вся пылала ты, то сразу вдруг бледнела

¹ Виктор Гюго. Апрельский вечер («Последний сноп»).—
Перевод Ю. Корнеева.

И в томном забытьи, легонько то и дело —
О, счастье милое, о, сладость мечты! —
Босою ножкою его касалась ты¹.

А 30 сентября 1844 года был написан знаменитый мадригал:

Сударыня, вы грация сама,
В вас все пленительно — игривость взора,
Покрой чепца, и прелесть разговора,
И стана гибкость, и игра ума.

Под статью Цирцеи и под статью Армиде
Власть дивная волшебных ваших чар
В грудь робкому волеет отваги жар,
А дерзкого в смешном представит виде.

Когда на небесах в полночный час
Я вижу звезды, сердце грезит вами.
Средь бела дня мне в душу льется пламя
Далеких звезд, когда я вижу вас².

Право, как-то тяжело читать о тех же чувствах, выраженных поэтом теми же словами, но уже посвященными другой женщине. Опять леса и гнезда являются сообщниками свиданий, а босая очаровательная ножка служит объектом любовных излияний, снова женщина предстает в образе ангела. Леони получала письма, проникнутые любовной страстью:

Ты ангел, и я целую твои ножки, целую твои слезы. Получил твое восхитительное письмо. Едва выбрал время написать тебе несколько строк. Работаю день и ночь, словно каторжник, но моя душа полна тобой, я тебя обожаю, ты свет моих очей, ты жизнь моего сердца. Я люблю тебя, ты же видишь... ни словами, ни взглядами, ни поцелуями не выразить мою безмерную любовь. Самая страстная и нежная ласка не идет ни в какое сравнение с любовью к тебе, которой полно мое сердце...

Среда, 3 часа утра:

Твой поцелуй через вуаль, который ты мне подарила на прошанье, подобен любви на расстоянии... Я полон нежных, печальных и все же упительных воспоминаний. Меж нами препятствия, но ведь мы чувствуем друг друга, соприкасаемся друг с другом... Ты теперь не со мной, но все-таки я обладаю тобой, я вижу тебя. Ты устремляешь свой пленительный взгляд в мои глаза. Я разговариваю с тобой, я спрашиваю: «Ты любишь меня?» — и слышу, как ты отвечаешь мне взволнованно и тихо: «Да». Это одновременно иллюзия и реальность. Ты на самом деле здесь, мое сердце повелело тебе здесь присутствовать. Моя любовь заставила бродить вокруг меня твой нежный и очаровательный призрачок...

¹ Виктор Гюго. XLVIII («Все струны лиры»).— Перевод М. Ваксмахера.

² Виктор Гюго. LXXII («Последний сноп»).— Перевод М. Ваксмахера.

И все же тебя недостает здесь. Я не могу подолгу обманывать себя... Только успеваю загореться желанием поцеловать тебя, как милый призрак исчезает. Лишь во сне он приближается ко мне... Ну вот видишь, как приятно думать о тебе, но я предпочел бы чувствовать тебя, говорить с тобой, держать тебя на коленях, обнимать тебя, сжигать тебя своими ласками, чувствовать твоё волнение, видеть тебя раскрасневшейся, а затем бледной, когда я тебя целую, ощущать, как ты трепещешь в моих объятиях... Это и есть жизнь; жизнь полная, цельная, истинная. Это луч солнца, это луч рая...

Увы, подобного же рода письма он посылал и Жюльетте. Ведь мужчина никогда полностью не меняется, роль возлюбленной всегда одна и та же, и он ограничивается тем, что отдает ее более молодой комедиантке, более подходящей на это амплуа. Лишь талант актрисы и ее характер определяют различную манеру исполнения этой роли. Леони Биар не походила на пылкую и неистовую Жюльетту Друэ. Хотя она также представлялась несчастной, уязвленной душой (этим она и обворожила рыцарскую чувствительность Гюго), ее гримаски и улыбки напоминали скорее Ватто, нежели Делакрыу. А литературная мода способствовала ее успеху. Это было время, когда Готье, Мюссе, Нерваль, пресытившись средневековьем, возродили поклонение изяществу XVIII века. Уже в течение нескольких лет Гюго преподносил Жюльетте игривые песни, романсы, признания. Для кого была написана восхитительная поэма «Праздник у Терезы» — для Жюльетты или для Леони? Об этом можно спорить бесконечно, но важно другое, важно мастерство, проявленное Гюго при воплощении темы «Галантных празднеств». Не напоминала ли его поэма карнавал либо костюмированный бал в парке Самуа? Скорее всего она напоминала полотно Ланкре.

В 1845 году противникам Гюго казалось, что он бросил писать. Но в этом они, несомненно, ошибались. Он создавал великолепные стихи, посвященные покойной дочери, и мадригалы для Леони. Он работал над романом «Нищета». Но кажущаяся фривольность его жизни внушала им недобрые надежды. Три дома тяжелым бременем ложились на его плечи, и три женщины жаловались на него. Жюльетте, которая взывала к его клятвам, он ответил: «Ну что я могу тебе сказать?.. Долгие годы ты была моей радостью, теперь ты для меня утешение... Будь столь же счастлива, сколь благословенна. Отгони от своего прекрасного чела и своего

большого сердца мелкие горести. Ты заслужила свет неба...» Но она хотела изведать немного больше райского блаженства на земле. Он чаще всего бывал не у Жюльетты Друэ, а у госпожи Жирарден или у госпожи Гамлен, где встречал госпожу Биар. Об этой последней, к счастью, Жюльетта, которая вела уединенный образ жизни, ничего не знала. Она гневалась на Фортюне Гамлен. 4 декабря 1844 года она ему писала:

«Я полагаю, что правку корректуры и корреспонденцию вы поручите только мне... Зато другие наслаждаются вашим обществом. Недаром мне сегодня ночью приснилось, что я задала хорошую трепку вашей креолке¹. Твердо надеюсь, что я когда-нибудь и днем продолжу эту экзекуцию!..»

В Академии он хранил серьезный, важный вид, смотрел суровым взглядом, торжественно выставлял крутой подбородок; иногда он спорил и возмущался, но всегда соблюдая достоинство. На самом же деле он со скрытым юмором делал тайком иронические записи разговоров своих коллег, которые подспудно вошли в его произведения. О новых избранниках, пришедших в дом на набережной Конти, Гюго говорил так: «Старые академики теснятся вокруг вновь избранных и полных творческих сил, как тени чистилища вокруг Энея и живого Данте, испуганные и пораженные видом настоящих людей». Что касается его самого, то он горячо желал, чтоб в Академию были избраны Бальзак, Дюма, Виньи, и это говорит о его здравом смысле и великодушии, так как каждый из них был грешен перед ним.

Он проявил еще больше великодушия, когда выставил свою кандидатуру Сент-Бёв. Последний утверждал, что он сознательно заставил себя сделать это, нарочито прививая себе честолюбие. «Я сделал себе прививку,— говорил он.— Я сделал это не в стадии заболевания оспой, а в момент, когда хотят предупредить болезнь». Как бы то ни было, он пожелал стать академиком, а благодаря избранию Гюго французским романтикам был обеспечен доступ в Академию. Сент-Бёва, конечно, не избрали бы, если бы одновременно с ним выставил свою кандидатуру и Альфред де Виньи, а последнее зависело от Гюго. Он же проявил поразительное благородство в отношении обоих писателей, на

¹ Фортюне Лормье-Лаграв, по мужу госпожа Гамлен (1776—1851), родилась в Сан-Доминго.— *Примеч. автора.*

которых имел право обижаться. Он им давал советы, он принял Сент-Бёва в своем доме на Королевской площади, «как монарх, забывший прошлые обиды», он внушал Виньи терпение. В то время он не знал о существовании «Книги любви». Наконец 14 марта 1844 года Сент-Бёв был избран. В тот же вечер его мать отправилась в церковь и принесла деве Марии цветы. Когда умер Казимир Делавинь, предшественник Сент-Бёва, Гюго исполнял обязанности президента Академии, и ему полагалось возглавить церемонию приема. Он не уклонился от этой обязанности, он рад был подавить врага своим благородством. В зал нахлынула парижская публика, ожидавшая весьма любопытного заседания, но, вместо того чтобы смеяться, она вынуждена была аплодировать. Виктор Гюго восхвалял заслуги избранника:

Будучи поэтом, вы сумели проложить в сумраке тропинку, которая принадлежит только вам... Ваш стих, почти всегда скорбный, часто глубокий, находит путь ко всем, кто страдает... Чтобы достигнуть их, ваша мысль накидывает на себя покрывало, ибо вы не хотите слиться с тенью, где они таятся... Отсюда рождается поэзия, проникновенная и робкая, осторожно касающаяся тайных струн сердца... Благодаря сочетанию учености и воображения поэт в вашем лице никогда целиком не подавляется критиком, а критик никогда целиком не перестает быть поэтом,— всеми этими чертами вы напоминаете Академии одного из самых дорогих и оплакиваемых ею сочленов, доброго и обаятельного Нодье, который был таким крупным писателем и таким кротким человеком...¹

О романе «Сладострастие» и о новелле «Госпожа де Понтиви» он не без лукавства сказал, что Сент-Бёв как романист «исследовал неизвестные стороны возможной жизни». Словом «возможной» он тонко отметил, что жизнь эта не превратилась в реальность. Касаясь сочинения «Пор-Рояль», Гюго произнес красноречивый панегирик янсенизму и вере. Короче говоря, публике поневоле пришлось восхищаться. Сент-Бёв поблагодарил его.

Гюго — Сент-Бёву:

«Ваше письмо меня растрогало и взволновало. Глубоко признателен за вашу благодарность...»

Гюго попросил переплести обе речи в одну тетрадь, которую и преподнес Адели со следующим посвящением: «Моей жене в знак двойного почитания —

¹ Речь, произнесенная Виктором Гюго на заседании Французской Академии 27 февраля 1845 г.

с нежностью, потому что она очаровательна, и с уважением за ее доброту». К первой странице он прикрепил письмо Сент-Бёва. Такие чудеса творились во Французской Академии.

Честолюбцы — несчастные люди: они ненасытны. С того момента, как Виктор Гюго надел зеленый сюртук академика, он только и думал о раззолоченном мундире пэра Французского королевства. Жюльетта не желала, чтоб он избрал политическую карьеру. «Стать академиком, пэром Франции, министром? Да что все это для Тото, ставшего по милости Божьей великим поэтом?..» А госпожа Биар, напротив, одобряла и поощряла это стремление. Гюго теперь ухаживал за королем, и Луи-Филипп говорил с ним доверительно, относился к нему дружески. Поэт начертил его портрет, и запечатленные им реплики короля достойны Ретца или Сент-Симона. Король предстает здесь человеком, находчивым, разумным и часто исполненным горечи: «Господин Гюго, обо мне плохо судят... Говорят, что я хитер. Говорят, что я пронырлив. Это означает, что я предатель. Это меня огорчает. Я порядочный человек. У меня добрые намерения. Я не люблю кривых путей. Все те, с кем я близко соприкасался, знают, что я человек прямодушный». И Виктор Гюго, с которым король здоровался запросто, порою готов был поверить этим словам.

Однако он действовал искусно. Герцогиня Орлеанская хлопотала за него перед своим августейшим свекром. А поэт произносил великолепные речи во Французской Академии. Как говорил Сент-Бёв, «была пущена в ход вся артиллерия». Эта тактика привела к победе. Королевским ордонансом от 13 апреля 1845 года *виконт Гюго (Виктор-Мари)* был возведен в пэры. Республиканские газеты отозвались об этом саркастически. Арман Марра в газете «Насьональ» описал обстановку приема поэта в Люксембургском дворце: «Проникавший сквозь витражи яркий свет, похожий на иллюминацию, придавал палевым стенам зала красный отблеск. Господин Паскье в квадратной бархатной шапочке прочитал ордонанс, который возводил в звание пэра Франции *господина виконта Виктора Гюго*... Грудь нашу распирало от гордости. Мы-то этого не знали! Он, оказывается, был виконтом! Поэтический восторг охватил нас; мы были восхищены этим титулом... Виктор Гюго умер, приветствуйте виконта Гюго, лири-

ческого пэра Франции! Демократия, которую он оскорбил, отныне может над ним потешаться: он заслужил эту месть». А вот что писал Шарль Морис в «Театральном курьере»: «Господин Виктор Гюго возведен в пэры Франции. Король забавляется...» В Париже поговаривали, что Гюго хочет быть послом в Испании. «Истина же состояла в том, что он твердо надеялся стать когда-нибудь министром»,— утверждал Теодор Пави. Что касается Жюльетты, то во втором письме, написанном в течение одного и того же дня, она обращалась к Гюго с вопросом: «Почему всемогущий Бог только и думал о том, чтобы вы стали академиком и пэром Франции, а я—вашей любовницей, почему он столь щедро одарил вас роскошными темными волосами и молодостью, совершенно ненужными для стародавних званий, тогда как у меня вся голова седая?»

Пьер Фуше был еще жив, когда его дочь стала супругой пэра. Этот скромный старик умер в мае 1845 года. Смерть пощадила его—и он не дожид до разразившегося скандала, который, несомненно, был бы жестоким потрясением для этого примерного отца семейства и религиозного человека. Утром 5 июля, по прошению Огюста Биара, полицейский комиссар Вандомского квартала именем закона приказал открыть ему дверь в укомной квартирке в пассаже Сен-Рок и застал там «во время преступного разговора» Виктора Гюго и его любовницу. В то время адюльтер сурово карался; муж был неумолим. Леони д'Онэ, «по мужу госпожа Биар», была арестована и посажена в тюрьму Сен-Лазар. Виктор Гюго сослался на закон о неприкосновенности пэра, и комиссар после некоторого колебания отпустил его. Тогда Биар подал жалобу канцлеру Паскье. На следующий день газеты «Патри», «Насьональ», «Котидьен» эзоповским языком сообщали о плачевном скандальном происшествии и о той неприятной миссии, которую должна выполнить палата пэров,—судить за адюльтер одного из своих членов. Дело дошло до того, что в этот скандал вмешался сам король, заставив художника Биара явиться в Сен-Клу и взять обратно свою жалобу. В ту пору поговаривали, что фрески, заказанные художнику для Версальского дворца, заставили его забыть о похождениях своей супруги.

Друзья и недруги долго издевались над этим скандалом, одни тайно, другие открыто. Ламартин отозвался на это событие трогательно и жестоко. Он написал гра-

фу Сиркуру: «Меня это очень рассердило, но подобные происшествия скоро забываются. Франция — страна гибкая. В ней быстро поднимаются даже с дивана». А в письме к Дарго он писал: «Любовное приключение моего бедного друга Гюго огорчает меня... Самым горестным для него должно быть то обстоятельство, что эта женщина оказалась в тюрьме, а он — на свободе». Король посоветовал Гюго на некоторое время уехать из Парижа, но он предпочел укрыться у Жюльетты, чтобы создать, как выразился Сент-Бёв, «такое произведение, которое перечеркнуло бы приключение в пассаже Сен-Рок». Жюльетта ничего не знала об этом скандале. Встревоженная письмом сестры, госпожи Луизы Кох, жившей в Бретани, в котором та вопрошала: «Что означают статьи и заметки в «Насьональ» и «Патри»?», она искренне все опровергала. Что же касается госпожи Гюго, то она на утро после разоблаченного свидания выслушала признания виновника, отнеслась к ним весьма снисходительно и даже отправилась в тюрьму, чтобы навестить там плачущую госпожу Биар.

Глава седьмая ВЕЛИЧИЕ И ГОРЕСТИ

Слава может сразить с чудовищной силой.

Виктор Гюго

Происшествие в пассаже Сен-Рок не оказало существенного влияния на карьеру Виктора Гюго. Единственной жертвой стала Леони Биар, оказавшаяся в тюрьме Сен-Лазар среди проституток и женщин, совершивших прелюбодеяние. Тем временем госпожа Гамлен стала уговаривать ее мужа, соседа по имению в Самуа, чтобы он согласился освободить жену или перевести ее в монастырь Сакре-Кёр, на что он имел полное право. «Дорогой соседка, — шуточно сказала она ему, — лишь короли и рогоносцы обладают правом помиловать преступника. Воспользуйтесь редким случаем». Биар расхохотался и приостановил действия властей. Вслед за тем очаровательную Леони водворили на несколько месяцев в монастырь августинок на улице Невде-Берри. Расставшись со своим поэтом, который непрерывно посылал ей изумительные стихи, она тосковала в заточении и совратила монахинь — заста-

вила их читать стихи Виктора Гюго. 14 августа 1845 года супругов развели.

Выйдя из монастыря, красавица, не очень раскаявшись, поселилась у своей бабушки. Вначале светское общество ее не признавало, но ей помогло заступничество госпожи Гамлен, да и сама госпожа Гюго согласилась быть покровительницей Леони д'Онэ, которая стала постоянным украшением салона на Королевской площади. Стремилась ли Адель тем самым показать величие своей души, или она хотела угодить мужу, являвшемуся теперь лишь ее другом, продиктована ли была эта тактика желанием провинившейся жены загладить свой проступок, сказался ли тут ее здравый смысл либо жажда отомстить Жюльетте Друэ? Как бы то ни было, она встречала Леони д'Онэ по-дружески, а та поучала Адель, став ее советчицей по части туалетов и убранства комнат. Ламартин был прав: во Франции быстро приходят в себя. Надо было, однако, заняться устройством жизни разведенной женщины. Она немного писала, опубликовала несколько статей, затем ряд книг; Гюго проявлял в отношении к ней щедрость, хотя, быть может, не такую, как ей хотелось, но больше он сделать не мог: «Я готов ради вас вытянуть из себя все жилы, но ведь жилы — не деньги».

Следует признать, что в то время его доходы не были значительными, так как он ничего не печатал. После разразившегося скандала он стремился не привлекать к себе внимания. Нельзя сказать, что Гюго не работал. Он обратился к прежнему замыслу — роману «Нищета», договор на который подписал когда-то с Рандюэлем и Госленом. То был социальный роман, подобный романам Эжена Сю, состоявший из четырех частей: истории святого, истории каторжника, истории женщины, истории куклы.

У Огюста Вакери, читавшего «начальные главы этой эпопеи, горло перехватывало от восторга». Его легко можно понять. Виктор Гюго выразил в этой книге свою глубокую жалость к отверженным и свое возмущение общественным строем, с которым он, казалось бы, примирился, но против которого восставал всем своим сердцем. Жюльетта, переписывая «Жана Трежана» (первое название романа), была им потрясена.

23 декабря 1845 года:

«Дай мне главы для переписки. Мне хочется поскорее узнать о судьбе великодушного епископа Д...»

3 февраля 1848 года:

«Они предстают передо мною, как будто бы я была среди них. Я ощущаю жестокие страдания бедного Жана Трежана и не могу сдержать слез, представляя себе судьбу этого несчастного мученика; я не знаю ничего более душераздирающего, чем жизнь несчастной Фантины, ничего более горестного, чем судьба Шанматье. Я переживаю судьбу всех этих персонажей, разделяю их несчастья, как если бы они были живыми людьми,— так правдиво ты их описал. Не знаю, как тебе объяснить, но книга потрясла и мое воображение, и ум, и сердце. Ты очень верно назвал ее — «Нищета...»

Жюльетта наслаждалась, как никогда, присутствием своего любовника и господина; ей пошло на пользу то обстоятельство (неведомое для нее), что Леони Биар находилась в тюрьме, а затем жила уединенно. В 1846 году Жюльетту особенно сблизило с Гюго глубокое горе, столь же страшное, как трагедия в Вилькье. Ее дочь Клер Прадье (отец запретил ей носить эту фамилию, ибо он имел теперь «законных» детей) была фактически удочерена Гюго, который выплачивал ей пенсию, давал ей уроки, осыпал ее подарками, был к ней искренне привязан. Она стала трогательной и грустной молодой девушкой, так как сознавала свою незаслуженно горькую участь, и, дойдя до отчаяния, призывала смерть.

Клер — Виктору Гюго:

«Прощайте, господин Тото, берегите мою дорогую маму, мою добрую, мою прелестную мамочку. Знайте, что ваша Клер всегда будет вам за это благодарна».

И вот эта юная девушка, быть может после попытки покончить с собой, серьезно заболела. Прадье заставил отвезти ее в Отей, «в ужасную маленькую конуру лавочника». Виктор Гюго не раз бросал работу и отправлялся к ней в омнибусе. Хотя подобная преданность была естественной, Жюльетта воспринимала его посещения с беспредельной благодарностью, словно некое Божество снисходило до простых смертных. Она обожала свою дочь и, однако, даже в дни ее предсмертных мук продолжала ежедневно посылать Гюго свои «каракульки»: «Я охвачена отчаяньем, но я люблю тебя. Господь Бог, если пожелает, может ради своего удовольствия терзать мне душу, но последним криком моего сердца будет крик любви к тебе, мой любимый...»

Когда Клер Прадье повезли на кладбище Сен-Манде, виконт Виктор Гюго, пэр Франции, шел вместе с ее отцом в траурной процессии. Прадье в дни предсмертных мук дочери стал более нежным к ней.

В сложившейся обстановке, после недавнего скандала, для Гюго было небезопасно афишировать себя. Но он смело пошел на это, желая выразить свою привязанность к умершей и к ее матери. Писатель, преуспевший в жизни, он при всех слабостях, свойственных «удачникам», сохранил достаточно человечности, спасительной для своей души. В утешение скорбевшей Жюльетты и в память погибшей Клер он создал немало стихов:

И вот опять... Открылась та же дверь —
За дочерью моей твоя ушла.
Все повторилось, и над ней теперь —
Могильный камень и колокола...

Ушла туда, где все — голубизна,
Где утренняя даль светла, чиста,
В руке господней мирно спит она,
И запечатал сон ее уста...¹

После смерти Клер отношения поэта с Прадье стали более сердечными. Вот статья о мастерстве скульптора, продиктованная Виктором Гюго Жюльетте Друэ: «Среди скульпторов есть один, множество прекрасных произведений которого ставят его неизмеримо выше других, — это господин Прадье... Господин Прадье настоящий мастер. С ним никто не может соперничать... Талант одновременно зрелый и молодой, господин Прадье имеет такую изумительную руку, какой ваяние не обладало никогда...» Случалось, что Виктор Гюго обедал у Прадье вместе с Альфонсом Карром, так что за одним столом собирались три любовника Жюльетты Друэ. В 1845 году, когда Гюго настигли с Леони Биар, Прадье тоже застал свою жену за «преступным разговором» с неким вертопрахом. Изгнав ее из дома, он совершал прогулки с натурщицами в Медонском лесу. Тем временем Жюльетта, по-прежнему не выходявшая из дому, терзалась своим горем: «Если бы ты не любил меня, я не прожила бы и двух часов». Мать тосковала об утраченной дочери больше, чем при жизни ее: ведь в течение двадцати лет Клер почти не жила под кровлей материнского дома. Вначале Прадье поручил ее кормилице, затем ее отдали в закрытый пансион, и там она осталась помощницей воспитательницы. К отчаянию Жюльетты примешивались тайные угрызения совести.

В июне 1845 года, после происшествия с Леони Биар, виконт Гюго, почувствовав враждебную ему обста-

¹ Виктор Гюго. Клер («Созерцания»).

новку в палате пэров, произносил там свои первые речи с крайней сдержанностью. Когда о тебе идет слава как о возмутителе спокойствия, то лучше всего стать незаметным. В первой речи он говорил о фабричных марках и рисунках, и это внесло успокоение. В другой раз он принял участие в дебатах о Польше, его речь не встретила никакой поддержки. Эти высокомерные старики питали к нему злобу якобы за то, что он «втоптал в грязь их незапятнанную честь». В действительности же среди пэров было не так уж мало неверных мужей, но они не попадались. В этом все дело. Гюго смотрел на этих надменных сановников с насмешкой и, так же как о своих коллегах по Академии, отзывался о них в своих заметках с юмором. О генерале Фавье он написал: «Я думал, что передо мной предстанет лев, а оказалось — старая баба». О маркизе Буаси: «Он человек с апломбом, хладнокровен, у него хорошо подвешен язык, все данные для превосходного оратора, не хватает только одного качества — дарования». Более всего удивителен контраст между великолепной, убийственной иронией книги «Увиденное», достойной таланта Стендаля, и возвышенными парламентскими речами Гюго, построенными на антитезах и ораторских приемах. Порою Гюго — Малья должен был потешаться над Гюго — Рюи Блазом.

Тем не менее одна из его речей имела успех. Это речь, где он поддержал просьбу Жерома-Наполеона Бонапарта о разрешении его семье въезда во Францию. Гюго сослался на своего отца, «старого солдата империи», который приказал ему «подняться и произнести свое слово». Он красноречиво рассказал о мировой славе Наполеона и спросил, какое преступление тот совершил, что его потомки навсегда лишены права жить во Франции. «Вот они, эти преступления: возрожденная религия, Гражданский кодекс, возвеличенная и расширившая свои границы Франция; Маренго, Иена, Ваграм, Аустерлиц; это наиболее величественный вклад в дело могущества и славы великой нации, когда-либо внесенный одним великим человеком». Находившийся возле трибуны парламентский пристав, бывший командир батальона, плакал. Фортюне Гамлен и Леони д'Онэ, рьяные бонапартистки, — ликовали.

А он, Гюго? Кем он был на самом деле? Почитателем императорской славы? Странником буржуазной монархии? Другом отверженных? До тех пор пока че-

ловек не примет внутреннего решения, которое определит его действия, кто может знать, что он собою представляет? Нравились или не нравились Гюго порядки Июльской монархии, но он стал при ней виконтом, академиком, пэром Франции, «хорошо упитанным человеком с энергичным лицом», он обедал у министров и послов; там он видел, но на дальнем конце стола, и Альфреда де Виньи, белокурого поэта с птичьим профилем, выставившего свою кандидатуру в Академию, а потому весьма любезного с Гюго, маленького и лысого Сент-Бёва, длинноволосого Прадье, выгладевшего сорокалетним, хотя ему уже стукнуло шестьдесят, художника Энгра, которому «стол доходил до подбородка, так что казалось, будто его ленточка Командора Почетного Легиона являлась продолжением скатерти». Он присутствовал на спектаклях в Тюильри; театральный зал, более преданный наполеоновской Империи, чем зрители, сохранял прежнее убранство: лиры, грифоны, пальметты и греческий орнамент. Среди публики почти не было красивых женщин. Самой красивой оставалась «испанка» Адель, дама уже зрелого возраста. К Гюго подошла там однажды мадемуазель Жорж, когда-то гремевшая и торжествовавшая, а теперь постаревшая и печальная: «Где уж мне играть? Я так растолстела. Да и где авторы? Где пьесы? Где роли?.. Бедняжка Дорваль играет в каком-то неизвестном театре то ли в Тулузе, то ли в Карпантра, лишь бы заработать на кусок хлеба. Она дошла до того, что выступает, как и я, в каких-то сараях на шатких подмостках, при свете четырех сальных свечек, а ведь у нас обеих болят старые кости и головы-то облысели». Герцоги обращались с Гюго запросто, но дружеское их обращение уже не доставляло ему удовольствия. Слава и Смерть обеспечили ему первое место среди писателей. Кто превосходил его в литературе? В 1847 году Шатобриан уже был стариком паралитиком, которого в три часа дня вкатывали в кресле в салон ослепшей госпожи Рекамье. На похоронах госпожи Марс, которая когда-то, во время постановки «Эрнани», издевалась над поэтом, ибо она была «одухотворенная актриса, но глупая женщина», Гюго встретил парижан в блузах, выскивавших поэтов в толпе. «Этому народу необходима слава. Когда нет ни Маренго, ни Аустерлица, он хочет видеть и любить таких, как Дюма и Ламартин». И таких, как Гюго.

В общем, насыщенная жизнь. В течение десяти лет,

в промежуток между «Осенними листьями» и «Лучами и Тенями», он написал четыре сборника прекраснейших французских стихов. Роман «Отверженные» обещал сравняться с «Собором Парижской Богоматери»; у него была возможность стать министром. Ему пришлось пережить тревожное время, бури его не сломили, он выстоял, его слава не померкла. И тем не менее он не был счастлив. Возвратившись с кладбища, где похоронили юную Клер, он запечатлел в стихах суету и тщеславие светской жизни:

Речами волновать угрюмые собранья;
Сравнив с достигнутым высокий идеал,
Понять, как ты велик и как ничтожно мал,
Волною быть в толпе, душой — в бурлящем море;
Все в жизни испытать — и радости и горе;
Бороться яростно, любить земную твердь...
Потом, в конце пути,— безмолвие и смерть¹.

Выйдя из зала, в которой протекало пышное празднество, в темный сад, где при легком дуновении летнего ветерка, при волшебном свете ярких фонарей тихо колыхалась листва, он видел за оградой толпу, которая злобно и мрачно взирала на дам, сверкавших драгоценностями, на нарядных, обвешанных орденами господ. Пэр Франции, буржуа, вклады которого в государственные бумаги все время возрастали, пытался успокоить свою совесть. Разве роскошь не приносит пользу всему обществу? Разве богач фабрикант, расходуя большие суммы, не выплачивает рабочим жалованье? Однако Гюго хорошо знал, что чувствует несчастный человек, видя в окно, как танцуют счастливые люди; он знал также, что народ требует не только хлеба, но и равенства. «Когда толпа бедняков глядит на богатых, то это вызывает у нее не просто размышления,— это предвестник будущих событий». Но что же делать? Человек достиг «видного положения», и вот ловко сконструированная социальная машина захватила его своими шестернями, протаскивает от вала к валу прокатного стана и все больше расплющивает его совесть, перебрасывая с празднества на празднество, с одного званого обеда на другой. Двадцать душ возле него, женщины, дети, подопечные, которым он должен помочь жить в обществе, таком, каково оно есть. Для того чтобы вырваться из потока этой жизни, нужна была или

¹ Виктор Гюго. Жить под безоблачным иль хмурым небосводом... («Созерцания»).— Перевод Э. Линецкой.

твердая решимость, или революция. Создавая «Отверженных», Виктор Гюго думал и о том и о другом. Чувствуя себя виновным, он стремился искупить вину хотя бы ценою жестокого изгнания. Он хотел пострадать и хотел возвеличиться, самобичевание сочеталось с честолюбием.

Потеряв твердую почву под ногами, он искал забвения. Отсюда стихи «Призыв к бездне». Актрисы, дебютантки, горничные, авантюристки, куртизанки — в 1847—1850 годах его как бы томило неутолимое вожделение. Романтический любовник воспринял манеры вертопраха, стиль речей Вальмона. Так, он пишет «литературной куртизанке» Эстер Гимон, любовнице его друга Эмиля де Жирардена, фривольную записку: «Но когда же рай?.. Не побойтесь ли пятницы? Я так боюсь лишь одного, как бы не опоздать! В. Г.». У Теофиля Готье, у художника Шасерьо, у своего сына Шарля Гюго он с успехом оспаривает право на любовь самой стройной женщины Парижа — Алисы Ози.

Эта красивая, легкомысленная особа, находившаяся в любовной связи с Шарлем, которому в 1847 году исполнился двадцать один год, пожелала украсить свой альбом автографом великого поэта. Когда Гюго пришел к ней, то увидел ложе из розового дерева с инкрустациями старинного северского фарфора; Алиса получила обещанное четверостишие:

В тот час, когда закат бледнеет постепенно
И над землею сумрак золотистый,
Платон Венеру ждет, возникшую из пены,
А я — на ложе восходящую Алису.

Венера притворилась обиженной вольностью стихов, бесспорно для того, чтобы доставить удовольствие встревоженному юному Шарлю. В знак извинения было написано другое четверостишие:

Порой мечтатель оскорбит свою мечту...
Но я сегодня вопрошаю удивленно —
Как может оскорбить желанье ту,
Что стала вдруг Венерой для Платона?..

Произошло то, что должно было произойти. Отец восторжествовал над сыном, а толстяк Шарль страдал, сохраняя, однако, почтение, которое внушал ему «владыка» (как называли отца между собой сыновья Гюго). Будучи, как и отец, поэтом, он вслед за тем обличил в стихах жестокосердную красавицу:

О, как тебя люблю — люблю и ненавижу!
То страсть в твоей душе, то суетность я вижу,
«Добра ты или зла?» — терзаюсь я, скорбя.
Из крайности одной кидаюсь я в другую,
То пламенно люблю, то бешено ревную,
Но за любовников готов убить тебя!..¹

Но гений одержал победу над молодостью. Молодости пришлось смириться.

Шарль Гюго — Алисе Ози:

«Зачем вы прислали письмо отцу? С одной стороны сын с чистым сердцем, глубокой любовью, безграничной преданностью; с другой — отец в ореоле славы. *Вы избрали отца и славу.* Я за это вас не порицаю. Всякая женщина поступила бы точно так же; прошу вас только понять, что я не в силах переносить страдания, которые мне готовит *ваша любовь, разделяемая таким образом.*»

Адель Гюго, зная об этой драме, так же как и обо всех других, утешала сына; Жюльетта Друэ, которой сообщили лишь о том, что Шарль страдает из-за разбитой любви, посоветовала отправить его в Вилькье, к Огюсту Вакери. Вновь в истории семейства Гюго расплачиваться за грехи приходилось «вместо отца сыну».

Все эти интрижки, которые нельзя было оправдать страстью, оставляли после себя горечь. «Одурманиваться — не значит наслаждаться жизнью». Гюго жаждал избавиться от искушений даже ценою страдания.

После трагедии в Вилькье, после смерти Леопольдины и Клер у Гюго возникла потребность поверить в то, что он когда-нибудь встретится с усопшими. «Нежный ангел, ужель это так невозможно плиту приподнять и с тобой говорить?» Он размышлял о загробной жизни. Он стремился создать для себя философию религии, изучал оккультные науки, учившие, что даже в этом мире возможно общение с душами отошедших. Такими мыслями и объясняется тот затуманенный и отчужденный взгляд, какой бывал тогда у Гюго, человека еще молодого, сильного и по всей видимости торжествующего. Девятнадцатого февраля 1848 года, сидя в своем кресле пэра, погружившись в неопределенное раздумье, он написал на листке бумаги: «Нужда ведет народ к революциям, а революции ввергают его в нужду». Вначале он думал о возможностях борьбы, но затем, поняв, что он одинок, отказался от этой мысли. «Лучше уж не восставать, чем восставать в одиночку, — сказал он графу Дарю. — Я люблю опасность, но не желаю оказаться в смешном положении». И так он продолжал играть свою роль с болью в сердце.

¹ Перевод М. Ваксмахера.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ВРЕМЯ РЕШЕНИЙ

Глава первая

КОШЕЛЕК ИЛИ СЕРДЦЕ

То, что теряют во время жатвы, восполняют во время сбора винограда.

Виктор Гюго

В феврале 1848 года Франция, уже восемнадцать лет терпевшая режим Июльской монархии, стала выражать недовольство. Либералы и республиканцы требовали на своих банкетах избирательной реформы, засуетились легитимисты и бонапартисты; кое-кто заговорил даже о революции. Король Луи-Филипп усмехнулся. «Я ничего не боюсь,— сказал он бывшему королю Жерому Бонапарту и, немного помолчав, добавил: — Без меня им не обойтись». Виктор Гюго со спокойствием художника взирал на этот волнующийся океан. Избирательная реформа его совершенно не интересовала, социальные вопросы занимали его гораздо больше, чем парламентские дебаты. Старый король был весьма любезен с ним и охотно противопоставил бы его, как сторонника монархии, Ламартину, который свой авторитет поэта поставил на службу защиты реформ. Но Гюго не предлагал своих услуг. Чего он опасался? Что падет министерство? Что король должен будет отречься от престола? В этом случае его дорогая принцесса Елена станет регентшей, а он сам — всемогущим советником. Установление же Республики казалось ему тогда и нежелательным и невозможным.

Отправившись 23 февраля в палату, чтобы узнать новости, он встретил на улицах множество солдат и простолюдинов, которые кричали: «Да здравствует армия! Долой Гизо!» Солдаты болтали и шутили. В зале ожидания он встретил взволнованных и напуганных людей, собиравшихся кучками. Он обратился к ним: «На

правительстве лежит тяжелая вина. Оно довело дело до опасного положения... Бунт укрепляет министерство, но революция ниспровергает династию». В этот день его воображение заполнили символические образы моря. Он отметил в своей записной книжке, что во время бунта народ подобен океану, по которому плывет корабль правительства. Если корабль кажется утлой ладьей, это означает, что бунт превратился в революцию.

Вслед за тем он пошел на площадь Согласия, желая смешаться с толпой, так как был человеком мужественным, любителем зрелищ и верил лишь тому, что видел собственными глазами. Солдаты стреляли, были ранены. Среди «блузников» он заметил очаровательную женщину в зеленой бархатной шляпке, которая, приподняв юбку, обнажила прелестную ножку. Возвышенный фавн. У моста Карусель он встретил Жюля Санда — «Самого косматого из лысых», и тот спросил его: «Что вы об этом думаете?» «Бунт будет подавлен,— ответил Гюго,— но Революция восторжествует».

Великие события не мешают искать маленьких развлечений. В ту самую ночь, когда происходил мятеж, Гюго, прежде чем возвратиться в лоно семьи, отправился ужинать к божественной Алисе Ози, недавно ставшей любовницей художника Шасерьо, который обожал ее, хотя она его всячески мучила. «На ней было жемчужное кольцо и красная кашемировая шаль удивительной красоты». В присутствии своего любовника она приоткрыла корсаж для того, чтобы показать Гюго «очаровательную грудь, прекрасную грудь, какую воспевают поэты и покупают банкиры». Затем она уперлась каблучком в стол и подняла платье, так что стала видна до самой подвязки прелестнейшая в мире ножка в прозрачном шелковом чулке. Шасерьо чуть не упал в обморок. В книге «Увиденное» Виктор Гюго набросал темпераментную сцену под названием «С натуры», где Шасерьо назван Серьо, Алиса Ози — Зубири. А тем временем на бульваре Капуцинок происходила перестрелка, мятеж превращался в революцию.

Когда Гюго поздно вечером возвратился домой, под аркадами домов, окружавших Королевскую площадь, находился в засаде целый батальон. Во мраке смутно мерцали штыки. На следующее утро, 24 февраля, он наблюдал со своего балкона толпу, окружавшую здание

мэрии. Мэр округа Эрнесто Моро пригласил его к себе и рассказал о резне, происходившей на бульваре Капуцинок. Всюду воздвигались баррикады. В восемь часов тридцать минут утра, после того как пробил барабан, мэр объявил, что министерство Гизо пало и что Одилон Барро, сторонник реформы, взял власть в свои руки. На Королевской площади провозглашали: «Да здравствует реформа!», но на площади Бастилии, где Моро повторил свое сообщение, его шляпу прострелила пуля. Вместе с мэром Гюго, отважный пловец, бросился в море людское и добрался до Бурбонского дворца, где Тьер с едким сарказмом сообщил ему, что палата распущена, король отрекся от престола, а герцогиня Орлеанская провозглашена регентшей. «О, волна все поднимается, поднимается, поднимается!» — со сдержанной радостью повторял маленький Тьер, которого падение Гизо вознаграждало за все. Он горячо убеждал Гюго и мэра VIII округа, что надо отправиться в министерство внутренних дел к Одилону Барро и договориться с ним: «Ваш квартал (Сент-Антуанское предместье) может иметь в данный момент решающее значение».

Все происходило так, как представлял себе Гюго. Одилон Барро вел себя с обычной своей вялостью и, хотя стоял засунув руку за отворот сюртука, подражая Наполеону, не проявил его решимости. Регентство?

— Да, конечно,— сказал Барро,— но будет ли оно санкционировано парламентом? Нужно,— продолжал он,— чтобы герцогиня Орлеанская привезла графа Парижского в палату депутатов.

— Палата распущена,— ответил Гюго,— если герцогиня и должна куда-нибудь направиться, то в ратушу.

С этой целью Гюго и мэр поспешили в Тюильри, чтобы уговорить Елену Орлеанскую. Но, к их сожалению, она уже направилась в здание палаты.

Они быстро возвратились на Королевскую площадь, чтобы объявить там об учреждении регентства. Именно Гюго с балкона мэрии объявил толпе о том, что король отрекся от престола (*бурные аплодисменты*) и что герцогиня Орлеанская провозглашена регентшей (*глухой ропот*).

— Теперь я должен,— сказал Гюго,— пойти на площадь Бастилии, объявить там об этом событии.

Мэр был обескуражен:

— Вы же видите, что это бесполезно,— регентство

не вызвало одобрения... На площади Бастилии вы встретите революционно настроенных людей предметя, быть может, они отнесутся к вам враждебно.

Гюго ответил, что он обещал это Барро и сдержит свое слово. С помощью двух офицеров Национальной гвардии он поднялся на подмости, окружавшие Июльскую колонну. Как и предвидел мэр, сообщение встретили враждебно.

— Нет! Нет! Никакого регентства! Долой Бурбонов!

Один «блузник» прицелился в него и воскликнул:

— Долой пэра Франции!

Гюго отвечал довольно красноречиво, но допустил промах, сказав, что конституционная монархия совместима с принципами свободы:

— Вот, например, королева Виктория в Англии...

— Мы французы,— кричали ему,— не надо нам никакого регентства!

Он еще не сдавался, но игра была проиграна. Поэтом, державшим сейчас в своих руках Париж, был теперь не Виктор Гюго, а Ламартин, имя которого стало популярным благодаря его книге «История жирондистов» и который «озарил гильотину лучом своей серебряной луны». Ламартин же, когда ему предложили высказаться за или против регентства, поразмыслив мгновение, высказался в пользу Республики. Обращение, которое подписали после него Ледрю-Роллен, Гарнье-Пажес, Кремье, Мари и Дюпон де л'Эр, определило будущее страны. Решилась судьба народа. Жребий был брошен. Гюго был не очень доволен. Заменить Луи-Филиппа, которому недоставало широты кругозора, но не образованности и ума, «напуганным стариком Дюпоном»,— подобная операция казалась ему неудачной. Он вспоминал рассказы своей матери и боялся, что Республика станет анархией. Но во временном правительстве были Ламартин и Араго, которых он уважал, и на следующий день, утром 25 февраля, его охватило непреодолимое желание пойти в ратушу и вновь броситься в бурлящее море народа. Ранним утром он отправился туда со своим младшим сыном, Франсуа-Виктором. Возвышенный созерцатель, он любил гул народной толпы, напоминавший ему шум морского прибоя. Город, как ему казалось, приобрел радостный вид. Оживленная толпа со знаменами и барабанами распевала «Марсельезу» и «Умрем за родину».

На площади Ратуши шумная ватага остановила его, но командиром Национальной гвардии, обеспечивавшей порядок на этой площади, оказался ювелир Фроман Мерис, брат Поля Мериса, юного ученика Гюго. «Дорогу Виктору Гюго!» — воскликнул он, и гражданин Гюго получил возможность встретиться с гражданином Ламартином. Тот был в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, с трехцветным шарфом, повязанным крест-накрест; Гюго он встретил с распростертыми объятиями:

— А! Вы пришли к нам, Виктор Гюго, это для Республики большая подмога.

Виктор Гюго в глубокой нерешительности сказал, что *в принципе* он республиканец, но тем не менее он пэр Франции, назначенный королем. И это обязывает его проявлять крайнюю сдержанность; к тому же, полагая, что учреждение Республики является преждевременным, он искренне высказался бы за регентство, если бы представилась возможность его учредить. Ламартин объявил ему, что временное правительство назначило Виктора Гюго мэром того округа, где он живет, и что, если вместо мэрии он пожелает министерство...

— Виктор Гюго — министр народного просвещения Республики, как это было бы прекрасно!

Гюго возражал. Он не видел никакой необходимости заменять мэра VIII округа Эрнеста Моро, который вел себя так лояльно. Но все же он положил грамоту себе в карман. В этот момент на площади началась стрельба и пулей пробило стекло.

— Ах, друг мой, — сказал Ламартин, — очень трудно быть носителем революционной власти! — Он указал на площадь, где непрестанно передвигались людские толпы. — Смотрите, вот океан.

Смутно осознанное родство гениальных натур сблизило в этот день двух столь различных людей.

На следующий день Гюго бродил по Парижу, восторгаясь быстротой происшедших перемен. Впервые за шестьдесят лет господь бог так стремительно переменял на сцене декорации!

Ну как подобной шутке не смеяться —
Диктатор-шут в министры взял паяца!¹

¹ Анри Гиймен, первым опубликовавший это двустишие Гюго (ранее опущенное Гюставом Симоном, издавшим «Увиденное»), раскрывает имена тех, о ком здесь идет речь: «Диктатор-шут» — это Дюпон де л'Эр, а его паяц — это Маррас. — *Примеч. автора.*

На памятнике Людовику XIV, находившемся на площади Виктуар, красовался красный фригийский колпак. Увлеченный прогулкой, Гюго сочинил стихи:

Несется крик: «Долой Гизо и Полиньяка!»
Гамен предместий встал, и — закипает драка!
Истории балласт бессилен перед ним,
Гамен берет Париж, как раньше брал он Рим.
Защита сметена, Пусть рядом кровь и боль —
Он победил. Дитя, — но он уже король.
Он Лувром завладел, и перед ним внутри
Высокий зал и трон; он входит в Тюильри,
И, как вельможа, там гуляет он с Маррасом
У статуй царственных, по мраморным террасам ¹.

Арман Маррас, главный редактор газеты «Насьональ», будущий председатель Учредительного собрания, казался Гюго состоятельным буржуа, который разыгрывает роль революционера, образ, вызывавший у него отвращение с 1830 года. «Сотворив 24 февраля, Господь Бог для этого зачем-то взял Марраса». Гюго плохо разбирался во всех происходивших событиях, разрушавших его надежды. Он получал анонимные письма, в которых осуждались его «снобизм, надменность, аристократизм». В этом ощущался дух 1793 года. Псрой Гюго охватывало отчаянье при мысли о будущем:

Я делал, что мог; я трудился, служил,
И было порою мне горько и странно,
Что смех вызывают душевные раны
Того, кто в заботах и горестях жил.

Но спор бесконечный вести мне невмочь,
А с завистью биться уже бесполезно...
Всевышний, отверзни врата твоей бездны —
Да примет меня беспредельная ночь! ²

Тем временем его друг Эмиль де Жирарден, еще вчера сторонник регентства, но оппортунист по натуре, сразу же примкнул к временному правительству, обеспечив Республике сто двадцать тысяч читателей газеты «Ла Пресс». Это было знамение времени. Сдержанно относясь к новому режиму, Гюго все еще надеялся, что в будущем он сможет играть какую-то роль в событиях, и пытался угадать, не приведут ли всеобщие выборы, хотя и при широкой гласности, к

¹ Виктор Гюго. Заметки о февральской революции 1848 г. («Океан»). — Перевод Г. Кружкова.

² Виктор Гюго. Veni, Vidi, Vici (лат.) («Созерцания»).

утверждению монархии. Не выставляя своей кандидатуры на апрельских выборах, он выступил с «Письмом к избирателям», в котором достоинство тонко сочеталось с честолюбием:

Господа! Я принадлежу моей стране; она может располагать мною. Я полон уважения, быть может даже чрезмерного, к свободе выбора; позвольте же мне на этом основании не выставлять себя... Если мои сограждане, свободные и суверенные, сочтут уместным послать меня в качестве их представителя в Учредительное собрание, которое будет держать в своих руках судьбы Франции и Европы, я с благоговением готов взять на себя этот ответственный мандат ¹.

Он не был избран, но его имя собрало 23 апреля шестьдесят тысяч голосов. Подобный отклик на обращение Гюго делал честь парижским избирателям. Этот частичный успех обеспечил ему на майских дополнительных выборах поддержку Комитета улицы Пуатье, то есть консерваторов. Правда, поддержка была не столь уж ревностной. «Можно ли надеяться на этого поэта?» — интересовались «состоятельные люди». В своем кредо Гюго различал возможность существования двух республик:

Одна поднимет красное знамя вместо трехцветного, переплавит на десятисантиметровые монеты Июльскую колонну, низвергнет статую Наполеона и воздвигнет статую Марата, оазрушит Академии, Политехническое училище, отменит орден Почетного легиона и присоединит к величественному призыву «Свобода, Равенство, Братство» зловещие слова «или Смерть»... Другая республика, придерживаясь демократического принципа, станет священным союзом всех французов в настоящее время и всех народов в будущем, установив свободу без узурпации и насилия; равенство, которое позволит естественно развиваться каждому; братство не монахов в монастыре, а свободных людей... Эти две республики называются: одна — Цивилизация, другая — Террор. Я готов посвятить свою жизнь тому, чтобы установить первую и воспрепятствовать второй ².

Идеи были ясные, но его положение — двусмысленное. Он не любил «бургграфов с улицы Пуатье», которые снисходительно покровительствовали, но не доверяли своему кандидату; он предпочитал им Ламартина. Но люди, окружавшие его, не склоняли его на сторону Республики. Скорее наоборот.

¹ Виктор Гюго. Письмо к избирателям («Дела и речи», «До изгнания»).

² Виктор Гюго. Обращение к своим согражданам 26 мая 1848 г. («Дела и речи», «До изгнания»).

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 4 мая 1848 года:

Ничто меня так не раздражает, как эти мятежи, к которым ты столь охотно приобщаешься. Для того чтобы не было больше никаких революций, эволюций и мистификаций, я отдаю свой голос нынешнему правительству! А затем целуйте меня и стремитесь побольше заседать в моих палатах. Вы мой единственный представитель, и я прошу вас действовать последовательно и дожить тем доверием, которое я вам оказываю. Вы видите, что я на высоте своего положения и что новоявленные республиканцы ничему не могут меня научить. Если бы я пожелала, то заткнула бы за пояс и республиканцев будущего, но я этого не хочу. Я хочу лишь, чтоб вы целовали меня до потери сознания, вот и все.

6 июня 1848 года:

Чем больше я думаю о том, что происходит сейчас в Париже, тем меньше желаю тебе, мой дорогой друг, успеха на предстоящих выборах. Пусть сперва уляжется вся эта ярость народа, ибо он и сам не знает, чего он хочет, и не в состоянии отличить истинного идеала от ложного... Я убеждена, что мое сердце бьется в унисон с интересами Франции.

Виктор Гюго был избран. Какой партией? Он знал лишь, что стоит «за бедных против богатых», за порядок против анархии. Но такая нечеткая позиция его и самого не удовлетворяла. Учредительному собранию, которое состояло из умеренных представителей, казалось, что Национальные мастерские представляют собой великую опасность, источник финансового краха страны, гнездо бунтарей. Гюго пожелал высказаться об этой сложной проблеме. Речь оказалась путаной, так как ее положения не были ясно сформулированы:

«Национальные мастерские — предприятие пагубное... Нам уже была знакома праздность богатства, вы создали праздность нищеты, в сто раз более опасную как для самого нищего, так и для других. Монархия плодила праздных людей, Республика будет плодить бездельников» — вот что мы слышим. Я не поддерживаю подобные речи, слишком резкие и обидные, я не захожу так далеко. Нет, героический народ Июля и Февраля не вырождается никогда... наших благородных и разумных рабочих, читающих книги и мыслящих, умеющих рассуждать и умеющих слушать, никому и никогда не удастся превратить в лаццарони в мирное время и в нычар в случае войны¹.

Выступление неудачное — ведь именно Гюго и приписывали те фразы, которые он теперь опровергал. Не примыкая ни к одной из группировок Учредительного собрания, он не пользовался в нем авторитетом. Он говорил об идеях, о морали, а слушатели его в большинстве своем думали лишь о своих корыстных интересах.

¹ Виктор Гюго. Национальные мастерские. Речь от 20 июня 1848 г. («Дела и речи», «До изгнания»).

Он утверждал, что основной вопрос заключается в факте *демократии*, а не в слове *республика*. Гюго напомнил о нищете и безработице, о людях, живущих в трущобах без окон, о босоногих детях, о молодых девушках, занимающихся проституцией, о бездомных стариках:

Вот в чем состоит вопрос... Неужели вы думаете, что мы равнодушно взираем на эти страдания? Разве вы можете думать, что они не вызывают в нас самого искреннего уважения, глубочайшей любви, самого пламенного и проникновенного сочувствия? О! Как вы заблуждаетесь!..¹

К народу он обращался лишь с советом не форсировать событий. Однако казалось, что разглагольствования экстремистов брали верх над красноречивыми и великодушными призывами. Ламартин сказал Альфонсу Карру: «Через три дня я уйду в отставку; если я этого не сделаю, они сами прогонят меня на четвертый день».

Виктор Гюго — Лакретелю, 24 мая 1848 года:

«Ламартин совершил много ошибок, великих, как он сам, этим немало сказано! Но он отбросил красное знамя, отменил смертную казнь, в течение пятнадцати дней он был светлой личностью мрачной революции. Теперь от светлых личностей мы обращаемся к пылающим, от Ламартина — к Ледрю-Роллену, в надежде, что мы заменим Ледрю-Роллена Огюстом Бланки. Да поможет нам Бог!..»

Национальные мастерские, где играли в «пробочку» на деньги, вызывали беспокойство у великого труженика. Потому что он любил народ и презирал тех, кто его развращал нелепыми плакатами и приучал к лени. «Благородный и величественный народ, которого развращают и обманывают!.. Когда же вы прекратите опьянять его красной республикой и спаивать дешевым белым вином... Удивительная обстановка! Я предпочел бы ей день 24 февраля... Иногда я плачу горькими слезами...»

А по Королевской площади проходили толпы людей, пели «Карманьолу», слышались возгласы: «Долой Ламартина!»

Двадцать четвертого июня произошло восстание, вызванное нуждой, лишениями и всякими бедствиями. «Внезапно оно приняло неслыханно чудовищную форму». То была мрачная и жестокая гражданская вой-

¹ Там же.

на. На одной стороне отчаяние народа, на другой — отчаяние общества. Виктор Гюго, без особого энтузиазма, встал на сторону общества. Обуздать восстание — дело нелегкое. Он был решительным противником своих коллег, которые с циничным удовлетворением воспользовались случаем, чтобы утопить в крови восстание. Но он полагал, что восстание черни против народа, «бессмысленный бунт толпы против жизненно необходимых для нее же самой принципов», должно быть подавлено. «Честный человек идет на это и именно из любви к этой толпе вступает с ней в борьбу. Однако он сочувствует ей, хоть и сопротивляется!»¹

Гюго был одним из немногих депутатов, не боявшихся бывать на баррикадах, он читал инсургентам декреты; он уговаривал защитников порядка: «Пора кончать с этим, друзья! Это убийственная война. Когда смело идут навстречу опасности, то всегда меньше жертв. Вперед!» Безоружный, он появлялся среди составших, призывал их сложить оружие. Но, страстно желая социального мира, борясь за его утверждение, он не любил ни Тьера, «маленького человечка, стремившегося своей ручонкой заглушить грозный рокот революции», ни Кавеньяка, «носатого и волосатого» генерала, честного, но жестокого человека.

В одиннадцать часов утра, побывав на баррикаде, он возвратился в зал Национального собрания. Едва он занял свое место, как рядом с ним сел депутат от республиканской левой — Белле, и сказал ему:

Господин Гюго, Королевская площадь горит, ваш дом подожгли. Инсургенты проникли туда через маленькую дверь со стороны переулка Гемене.

— А моя семья?

— В полной безопасности.

— Откуда вы это знаете?

— Я только что вернулся оттуда. Меня не узнали, и я смог пройти через баррикады. Ваша семья вначале укрылась в здании мэрии. Я был там с ними. Увидев, что опасность возрастает, я убедил госпожу Гюго найти другое убежище. Она устроилась со своими детьми у трубочиста Мартиньони, — он живет рядом с вами, на углу улицы, в доме с аркадами...²

Расстроенный, бледный Гюго помчался к Ламартину.

— Что происходит?

— Мы обречены! — ответил Ламартин.

¹ Виктор Гюго. Отверженные.

² Виктор Гюго. Июньские дни («Увиденное»).

Но он заблуждался. Политики проиграли игру, но стратеги решили ее выиграть. Генерал Кавеньяк, которому была вверена вся полнота власти, сосредоточил войска в западной части города, перебросив их из восточных рабочих районов Парижа. Буржуазная Национальная гвардия дралась с ожесточением. «Фанатизм собственников уравнивал иступленность неимущих». Кавеньяк одержал полную победу. Он опозорил ее тем, что потребовал суровой расправы. Тысячи инсургентов были сосланы без суда. Кровавая пропасть пролегла между рабочими и буржуазией.

Потребовалось всего четыре месяца, чтобы соткать саван для февральской революции. Национальное собрание приняло декрет, в котором отмечались огромные заслуги Кавеньяка перед родиной, — тут понятие «родина» оказалось весьма ограниченным. Все были убеждены, что генерал Кавеньяк займет пост президента, — все, за исключением Ламартина, который наивно полагал, что если выборы будут всеобщими, то президентом изберут его самого. Для Гюго наступил мучительный, полный тревожных раздумий период жизни. Пройдя в депутаты при поддержке улицы Пуатье, он должен был голосовать за Кавеньяка, которого он решительно осуждал. «Господа генералы, — отмечает Гюго, — которые теперь управляют страной, и даже слишком сурово управляют, хотят стяжать себе славу ценой удушения свободы. Лучше бы они проявили побольше усердия в борьбе с австрийцами... Я не доверяю осадному положению. Осадное положение — это начало государственных переворотов».

Вопреки распространившимся слухам дом Гюго был спасен от огня, но его семья, напуганная восстанием, не захотела далее оставаться на Королевской площади (переименованной после февраля в Вогезскую площадь). Гюго вынужден был снять квартиру в доме № 5 на улице д'Исли, в квартале Мадлен. Адель жаловалась, что она «погибает от невыносимого шума и дыма». Фортюне Гамлен и Леони д'Онэ, проживавшие на солнечных склонах Монмартра, с восторгом говорили о тишине, царившей на их улицах, где росла трава и цвели сады. Они подыскали для Гюго превосходный особняк на улице Тур-д'Овернь, дом № 37. Вся семья поэта переселилась туда 13 октября, это была пятница; после того как сняли зеркало с камина, на стене обнаружили написанную углем цифру 13. Плохие приметы.

Последующие события подтвердили это недоброе предзнаменование. Все складывалось плохо. Национальное собрание выработало нелепую конституцию. «Будущее страны мыслилось так: Франция, управляемая только Собранием, то есть океан, управляемый ураганом... Что ни день, то выборы, время будет проходить в сплошных заседаниях...» Во главе правительства — Кавеньяк, на словах республиканец, в действительности жестокий диктатор, тупой рубака. Что же делать? Что придумать? Гюго, глава семьи, получавший ренту, оказался в трудном положении: поэт и друг несчастных, он должен был защищать личные интересы имущих, он презирал разжиревших «бургграфов», которые его окружали, с иронией отзывался об одержанной ими опасной победе:

Судачат так и сяк, за рюмкой Кло-Вужо,
О бунтах, о Бланки, Альбере, Кавеньяке и Бюжо,
Смеются...

К чему им размышлять о каждом бедняке,
Который с февраля на нищенском пайке,
Все так же бедствует и спину гнет опять,
Чтоб как-то прокормить свою старуху мать.¹

Его недовольство резко выразилось в протесте против мероприятий правительства, преследовавших цель удушения свободы печати. Премьер-министр Кавеньяк запретил одиннадцать периодических изданий и приказал арестовать Эмиля Жирардена. Генерал весьма враждебно воспринял речь Гюго в Учредительном собрании. Сразу ухудшились отношения между ними. Но к тому времени даже представителям улицы Пуатье их «спаситель» казался невыносимым. Если простой люд называл его *Кавеньяк-мясник*, то аристократы видели в нем противника интересов имущих классов. «Кавеньяк? Плот? — объяснял Монталамбер. — Нет, это прогнившая доска». Бальзак издевался: «Что касается Кавеньяка, так он просто олух... унтер-офицер, только и всего».

Гюго в палате представителей сделал генералу запрос: «Позвольте мне, мыслителю, сказать вам, представителю власти...» Палата зашумела. Все они претендовали на роль мыслителей. Члены Собрания — люди обидчивые. Что-либо разъяснить им, не вызвав их

¹ Виктор Гюго. Политика («Океан»). — Перевод Г. Кружкова.

раздражения,— искусство трудное, а Гюго этим не владел.

Он, конечно, сознавал слабость своей позиции, ибо в июле 1848 года пожелал воспользоваться другим способом воздействия на общественное мнение, основав газету «Эвенман». Он хотел превратить эту газету также в «орган мысли». В передовой статье первого номера подчеркивалось решающее значение социальных идей, но вместе с тем умалялась роль реальных фактов. Это означало забвение того, что факты и для мыслителей — упрямая вещь. В каждом номере эпиграфом служили слова: *«Страстная ненависть к анархии, нежная и глубокая любовь к народу»*. Новому органу печати большую практическую помощь оказал Жирарден, не питавший никакой вражды к своему новому собрату. Банкир Шарль Малер и в особенности ювелир Фроман Мерис предоставили основателям деньги. Виктор Гюго в особом письме пожелал газете успеха. Но отказывался писать статьи для нее, даже оказывать влияние на то, что в газете писалось. Но никто этому не верил. В редакцию входили члены его семьи и его друзья: сыновья Гюго — Шарль и Франсуа-Виктор; Шарль — тучный, «натура необычайно мягкая», Франсуа-Виктор — денди, любивший покутить; ученики поэта — Поль Мерис и Огюст Вакери. Вакери только что поставил в театре «Одеон» драму в стихах «Трагальдабас», «ужасную пьесу в юмористической манере Гюго», — говорил Бальзак. Пьеса была освистана. Бальзак писал госпоже Ганской: «Я не видел ничего более смешного в жизни, нежели обращение Фредерика Леметра к публике после шумного представления. *«Милостивые государыни и милостивые государи (самым изысканным образом), пьеса, которую мы имели честь представить вам, написана гражданином Огюстом Вакери»*. Столь же смешным было возмущение Гюго — он гневался на приятелей автора, которые нападали на свистунов и называли их ослами...» Бальзак напомнил ему о битве за «Эрнани».

В «Эвенман» были опубликованы воспоминания госпожи Гюго, две сказки ее дочери. Сент-Бёв под статьей о Шарле Нодье, которую написала «его Адель», статьей, впрочем, довольно мило написанной, сохранившейся в его архиве, сделал мелким почерком помету: *«Отчеркнутые мною места написаны не ею»*. И действительно, эти отрывки написаны в манере Гюго. Отделы

мод и светской хроники были поручены Леони д'Онэ, которая подписывалась: *Тереза де Бларю*; в ее «Светских письмах» сообщалось о том, как нужно обставлять квартиру, как выращивать цветы, как одевать детей; порою и здесь некоторые фразы были отмечены когтем льва. Читатели, пожалуй, не удивились бы, если бы отзывы о пьесах писала Жюльетта Друэ. Но все же театральный отдел был поручен Огюсту Вакери, и тот вел его не без блеска. Сотрудничать в газете был приглашен Бальзак.

Бальзак — Ганской, 11 июля 1848 года:

«По поручению Гюго ко мне обратились два благородных молодых человека, которые основали газету. Ну, теперь у нас везде будет Гюго: курс в политике — Гюго, партия — Гюго и т. д. Я должен буду написать четыре листа рассказов, продолжающих цикл «Человеческой комедии», за 400 франков вместо 2800. Вся февральская революция в этом...»

Суждение поспешное.

Читатели «Эвенман» были убеждены, что передовые статьи пишет сам Виктор Гюго, хотя он и отрицал свое участие в них. В самом деле, стиль похож, но это еще ничего не доказывает. Его манера письма была заразительна, а так как Вакери и Шарль Гюго работали близ учителя целый день, они невольно подражали ему. Но несомненно, что «ориентация журнала» была определена Гюго; в тот момент — враждебная позиция по отношению к Кавеньяку; в основном же программа была проникнута стремлением примирить порядок и справедливость, интересы имущих и жалость к неимущим, кошелек и сердце.

Глава вторая ИЛЛЮЗИИ И РАЗРЫВ

Принадлежать к этому большинству?
Пренебречь совестью и подчиниться
приказу? Нет! Ни за что!

Виктор Гюго

На дополнительных выборах в июне 1848 года одновременно с Виктором Гюго депутатом Учредительного собрания стал принц Луи-Наполеон Бонапарт. В жилах этого сына Гортензии Богарнэ и (быть может) одного голландского адмирала не было ни одной капли крови Бонапарта, но у него было магическое имя, и

толпы на бульварах распевали: «По-ле-он! По-ле-он! У нас будет он!» Эту странную кандидатуру на пост президента новой республики выставила небольшая группа преданных ему людей. В Собрании над ним сперва смеялись. В тех редких случаях, когда он появлялся на трибуне, его заспанный вид, немецкий акцент, бессвязная речь расхолаживали аудиторию. «Кретин», — пискливым голосом отывался о нем маленький Тьер. Но Тьер полагал, что «кретина» легко будет повести за собой, и из ненависти к республиканцу Кавеньяку представители правой отдали предпочтение этому фальшивому Бонапарту с тупым взглядом.

Госпожа Гамлен, альковная бонапартистка, восторгалась им. «Все объединится вокруг него», — говорила она. Заручившись поддержкой Леони д'Онэ, она стремилась вовлечь в свой лагерь Виктора Гюго и убедила Луи-Наполеона нанести поэту визит. Принц появился на улице Тур-д'Овернь с почтительной проницательностью. «Я хотел бы объяснить с вами, — сказал он. — На меня клеветают. Разве я произвожу на вас впечатление bestолкового человека? Говорят, что я хочу пойти по стопам Наполеона! Есть два человека, которых при большом честолюбии можно взять себе за образец, — Наполеон и Вашингтон. Один гениален, другой добродетелен... Наполеон более велик, но Вашингтон лучше его. Если нужно выбирать между преступным героем и честным гражданином, то я выбираю честного гражданина. Таково мое честолюбие»¹.

Гюго нашел, что принц — человек унылый и довольно безобразный, да еще какой-то растерянный, вроде лунатика, но что он деликатен, серьезен, хорошо воспитан и осторожен. Королева Гортензия не зря советовала сыну никогда не раскрывать прежде времени своих замыслов. Он с важным видом твердил: «Я свободолюбец и демократ», а слова эти производили на Гюго магическое действие. Поэт, мысливший понятиями «белое» и «черное», заблудился в сером тумане хитросплетений этого «мечтательного, но алчного авантюриста». Ему было известно, что когда-то принц обвинялся в принадлежности к карбонариям, что он написал брошюру «Об исчезновении пауперизма». Это Гюго импонировало. На мгновение ему представился четвертый акт

¹ Виктор Гюго. История одного преступления.

«Эрнани», роль романтического героя, которую он, мыслитель, должен исполнить в качестве советчика либерального императора; это была давняя мечта поэта. К тому же другой Наполеон — Наполеон I — был вдохновителем его лучших стихов. И за своим длинноносым гостем со стеклянным взглядом он видел Триумфальную арку, купол Дома Инвалидов, строфы будущих стихов.

Через несколько дней вслед за «Ла Пресс» в колесницу Наполеона впряглась газета «Эвенман». До октябрьской встречи семейная газета Гюго относилась к Луи-Наполеону сдержанно, признавала лишь престиж имени, который принадлежал дяде, а не племяннику. 28 октября позиция внезапно изменяется: в большой статье «Эвенман» вручает принцу судьбы Франции и приписывает ему былую славу императора. В палате депутатов поэт развивает энергичную деятельность, чтобы преодолеть барьер, мешающий принцу стать президентом. Он голосовал за то, чтобы президент избирался на всеобщих выборах. То было заблуждение, к которому присоединился и Ламартин, полагая, что таким образом он прокладывает путь самому себе. Он голосовал против требования присяги президента и, наконец, голосовал против проекта конституции, так как был враждебен принципу однопалатной системы.

Правая, монархическая часть палаты благосклонно отнеслась к Луи-Наполеону, так как полагала, что она быстро с ним разделается. Ведь было принято решение, что президент не может переизбираться на второй срок. Они думали, что это будет нечто вроде короткой интермедии. «Мы предоставим ему женщин, — презрительно говорил Тьер, — и будем держать его в руках». Что же касается Франции, то она была подготовлена к этой аванюре. Крестьяне и буржуа, напуганные июньскими восстаниями, увидели в «двойнике» Наполеона своего спасителя. Рабочие, после закрытия Национальных мастерских, сердились на либералов, да и в сердцах у многих из них жива была бонапартистская закваска. «Эвенман» оказала принцу усердную поддержку: «О Кавеньяке мы писали, что его боятся, о Ламартине — что им восхищаются, о Бонапарте — что его ждут». Накануне выборов «Эвенман» вышла с приложением в целую страницу, где пестрело сто раз повторенное имя Луи-Наполеона Бонапарта. Была проявлена сверхгорячая преданность. Когда подвели итоги

голосования, то выяснилось, что принц получил пять миллионов пятьсот тысяч голосов; Кавеньяк — миллион пятьсот тысяч; Ледрю-Роллен — триста семьдесят тысяч и Ламартин — семнадцать тысяч девятьсот сорок. При оглашении последней цифры монархисты разразились хохотом.

«Эвенман» торжествовала: «Наполеон не умер!» Наступило время для свершения великих дел. Гюго в манифесте, написанном в духе романтического империализма, начертал обширную программу действия, явившуюся в политике его «предисловием к Кромвелю». В области *внешней политики* он намечал: разоружение, основание Союза наций — организации, которая должна быть высшей властью для разрешения всех спорных международных вопросов; он предлагал прорыть Суэцкий и Панамский каналы, ставил задачей цивилизацию Китая, колонизацию Алжира. В области *внутренних дел* — борьба против нужды и лишений, принятие мер, способствующих развитию промышленности, подъему искусств, литературы и науки. Прекрасная мечта и даже прекрасная программа, однако Гюго был способен лишь воспеть ее, но не провести в жизнь. Бесчисленные его враги распространяли слух, что он добивался министерского портфеля. Поводом к этим нападкам послужило его обращение к президенту, которого он призывал ориентироваться на «новые и прославленные имена». Но ведь он искал для себя более значительной роли, чем пост министра. «Мы не намерены ни в чьей свите продвигаться к власти! Это и слишком высоко, и слишком низко». Нет, Гюго хотелось стать тайным духовным советником принца. Он и не подозревал, что имеет дело с человеком, для которого важно было лишь одно: любыми средствами удержаться на том пьедестале, куда его вознесла Фортуна.

Двадцать третьего декабря принц-президент давал в Елисейском дворце свой первый обед. Был приглашен и Гюго, но он несколько запоздал. Президент встал и направился к нему. «Я устроил этот обед экспромтом, — сказал он, — и пригласил лишь несколько близких друзей. Я полагал, что вы не откажетесь быть в их числе. Весьма признателен, что вы пришли». От пронизательного взгляда истого журналиста, каким являлся Виктор Гюго, не ускользнуло то, что белый фарфоровый сервиз — самый обыкновенный, а столовое серебро довольно грубое и уже не новое, как в заурядных буржу-

азных домах; новый режим вступал в свои права в бедности. После обеда президент отвел Гюго в сторону и спросил его, что он думает о настоящем моменте. Гюго сдержанно ответил, что нужно успокоить буржуазию и предоставить работу народным массам; что после трехвековой славы Франция не пожелает впасть в ничтожество; короче говоря, необходимо установить мир. «К тому же Франция — страна завоевателей. Когда она не одерживает победы силою оружия, она хочет достигнуть их силою разума. Поймите это и действуйте. Если забудете, вы погибли...» Пророк говорил свысока, президент, казалось, задумался и отошел от него. Бесспорно, он подумал: «Идеолог! Отстранить его!» Возвращаясь домой, Гюго размышлял об этом «мгновенном переселении во дворец, об этом пробном церемониале, об этой смеси буржуазного, республиканского, императорского...».

В конце недели (30 декабря 1848) он отправился к Ламартину, который устраивал прием каждую субботу. Он нашел его бледным, согбенным, озабоченным и опечаленным, постаревшим за десять месяцев на десять лет, но спокойным и примирившимся со своей неудачей. Жиарден критиковал президента и только что сформированное убогое министерство с торжественным Одилоном Барро, прославившимся своей наполеоновской манерой держать руку за отворотом сюртука. «Нет, — сказал Жиарден, — надо было составить авторитетный кабинет министров: «Сьер, Моле, Бюжо, Берье, Гюго, Ламартин...» Ламартин ответил, что он бы согласился войти; Гюго промолчал.

Через день, 1 января 1849 года, он размышлял над теми переменами, которые произошли в истекшем бурном году: Луи-Филипп в Лондоне, герцогиня Орлеанская — в Эмсе, папа Пий IX — в Гаэтэ. Католическая церковь потеряла Рим, буржуазия потеряла Париж. Алиса Ози выступала совсем нагая в роли Евы на сцене театра Порт-Сен-Мартен. В июле 1848 года умер Шатобриан, и Гюго жалел, что похороны были самые обычные: «А мне бы хотелось для Шатобриана по-королевски торжественной церемонии погребения: Собор Парижской богородицы, мантия пара Франции, мундир академика, шпага дворянина-эмигранта, цепь ордена Золотого Руна, представители всех корпораций, половина гарнизона под ружьем, задрапированные черным крепом барабаны, каждые пять минут пушечный вы-

стрел, — или уж катафалк бедняков, отпевание в сельской церкви...» Он раскритиковал похороны Шатобриана, как Шатобриан раскритиковал церемонию коронации Карла X.

Курс пятипроцентной ренты упал до семидесяти четырех франков; картофель стоил восемь су мерка. Луи Бонапарт задавал пышные обеды Тьеру, который когда-то приказал его арестовать, и графу Моле, который вынес ему обвинительный приговор. Принц Жером Бонапарт, экс-король Вестфалии, стал управителем Дома Инвалидов, он-то хоть похож был лицом на императора. Своего племянника, президента, он называл «господин Богарнэ». Как-то раз, входя во дворец Собрания, Гюго с удивлением услышал возглас часового:

— Привет врагу заговорщиков!

Это был солдат Национальной гвардии Жюль Сандо.

— Нет, — ответил Гюго, — другу заговорщиков.

На заседании Академии, где присуждались премии за поэтические произведения, Ламартин сказал ему:

— Гюго, если бы я участвовал в конкурсе, они бы не присудили мне премии.

— А меня, Ламартин, они бы и читать не стали.

— Оба были правы.

Семнадцатого февраля 1849 года Гюго с супругой был приглашен на бал к новому президенту. Адель Гюго рассказала об этом вечере в письме Жюлю Жанену, в прошлом врагу, а ныне другу их семейства: «Я встретила там почти всех, кто бывал на приемах у Луи-Филиппа. Прибавилось лишь два-три монтаньяра и несколько легитимистов — таких, как герцоги де Гиш, де Грамон и Берье, которые находились в оппозиции к прежнему королю. Но я не видела ни одного художника, ни одного философа, ни одного писателя. Я была поражена тем, что власть, всегда столь неустойчивая, предала забвению единственно бессмертную власть. Подобное упущение мне было обидно, тем более что я питаю симпатию к славному имени Наполеона; о своем муже я не говорю — он был приглашен по другим мотивам...» В газете «Эвенман» Тереза де Бларю (Леони д'Онэ) описала этот бал в стиле Готье — Мюссе и отозвалась о нем с великой похвалой. Тем не менее популярность Луи Бонапарта меркла, у него были дорогостоящие любовницы, а Собрание скупно отпускало ему

кредиты. Он играл на бирже с Ашилем Фульдом. На горизонте уже восходила звезда Генриха V. В то время маршал Бюжо подготовил небольшую книжку — «Уличная война». «Здесь изложены, — писал он, — практические советы, по форме подобные инструкциям против холеры». Каждый задавал себе вопрос, одни с беспокойством, другие с надеждой: «Что же произойдет?»

Сент-Бёв, будучи человеком благоразумным, отправился в Льеж, чтобы переждать там смутное время. Адель, которая иногда тайно с ним встречалась, писала ему туда. Она упрекала его в том, что он проявил в отношении ее слишком большую осторожность, что он невнимателен к ней, своему другу. Он оправдывался: «Мое здоровье расшатано, моя нервная система не в порядке, и весь мой организм подвержен недугам. Вы мне говорите: *«Не отвергайте и не разбивайте того, что вам дается от всего сердца...»* Как? Лишь потому, что я написал не очень понравившееся вам письмо, вы увидели в этом опасность для нашей дружбы, такую большую, что она может привести к разрыву. Мне гораздо нужнее прочная дружба, нежели более горячее, но неровное и властное чувство, какое вызывается определенным родом отношений. Если я непрестанно говорю о своей старости, значит, я отвергаю лишь эту форму наших отношений». Весьма странное письмо, которое только доказывает, что бедная Адель потерпела фиаско, проиграв все ставки.

В мае состоялись новые выборы в Законодательное собрание. Гюго был избран, заняв второе место в Париже, — он получил сто семнадцать тысяч шестьдесят девять голосов. На этот раз в палату его вознесли реакционеры. «Бургграфы» с улицы Пуатье теперь насчитывали в своем войнстве четыреста пятьдесят депутатов, в большинстве монархистов, не игравших, однако, решающей роли, так как существовал раскол между приверженцами старшей и младшей ветви династии Бурбонов. Гюго избирался по списку правых, составлявших большинство. Позиция его становилась все более ложной. Представители улицы Пуатье давали ему указания, но Гюго стремился следовать лишь голосу своей совести. Совесть позволила ему на время выборов объединиться с этой партией. К тому же в нем еще жив был предрассудок: он верил в возможность демократической монархии, он оставался «человеком порядка».

Но если в нем и сохранилось что-то от солдата Национальной гвардии — то от «Национальной гвардии героических ее времен». Тирады героев-идеалистов в его драмах выражали его подлинные чувства. Цинизм ему был отвратителен. Его возмущали подлые речи, которые раздавались не столько с трибуны, сколько в комиссиях и в кулуарах. Когда он понял истинные намерения Фаллу и Монталамбера относительно рабочего вопроса, он почувствовал к ним «какой-то ужас» и отошел от них.

Арман де Мелен, честный человек, которого его политические друзья называли сумасшедшим, после Июньского восстания 1848 года добивался, чтобы была создана большая парламентская комиссия для обследования моральных и материальных условий жизни народа. Рассмотрение этого проекта все откладывалось, и большинство депутатов уже считало его похороненным, как вдруг Мелен, к ужасу «бургграфов», сам внес свое предложение. Тотчас началось ловкое маневрирование. Прямо отвергнуть это предложение считали недипломатичным — куда умнее было выхлостить его содержание. Виктор Гюго, при котором «эти господа» говорили откровенно, считая его пешкой, человеком несколько наивным и послушным, слышал, как они заявляли, что «во времена анархии лучшее средство — это сила», что предложение Мелена — завуалированная программа социализма, что его следует похоронить приличным образом, и тому подобные милые слова.

Несмотря на поддержку избирателей улицы Пуатье, Гюго оставался представителем «отверженных». Веря лишь собственным глазам, он побывал в Сент-Антуанском предместье и в трущобах Лилля и сам увидел, что представляет собою нищета. Он пожелал не только сказать об этом, но и опровергнуть жестокие речи, которые он слышал. Какой поднялся тогда вопль негодования! Как? Член партии порядка осмелился утверждать: «Я выражаю мнение тех, кто считает, что нужду и лишения можно ликвидировать!» Более того, он предал огласке разговоры, которые велись тайно: «Речи, которые здесь произносят с трибуны, предназначаются для толпы, а закулисные сговоры предназначаются для голосования. Так вот, что касается меня, то я не желаю закулисных сговоров, когда дело идет о будущем моего народа и о законах моей страны. Я оглашаю с трибуны то, что высказывают тайком в кулуарах, я разоблачаю

скрытые влияния. Это мой долг...»¹ В зале зашумели, заволновались. Общеизвестно, что писатель всегда в какой-то степени опасен для общества, но ведь Гюго-то был допущен в святая святых. Как же он смеет выдавать семейные тайны!

«Нужно воспользоваться молчанием, к которому приведены анархические страсти, для того чтобы произнести слово в защиту народных интересов. (*Волнение в зале...*) Нужно воспользоваться исчезновением духа революции, чтобы оживить дух прогресса! Нужно воспользоваться спокойствием, чтобы восстановить мир, не только на улицах, но настоящий, окончательный мир, мир в сознании и в сердцах! Одним словом, необходимо, чтобы поражение демагогии стало победой народа»².

Во время парламентских каникул в августе 1849 года в Париже был созван Конгресс мира. На нем были представлены основные государства Европы. Виктора Гюго избрали председателем. Некоторое время он питал надежду, что в борьбе на два фронта — против бессердечных людей и против санкюлотов — ему окажет поддержку правительство. «Эвенман» высказала пожелание, чтобы была основана, помимо белой и красной, промежуточная — синяя партия, которую возглавит президент. Но никогда авторитет Гюго в палате не падал так низко, как в то время. Консерваторы прерывали его речи саркастическими возгласами и улюлюканьем; левые его не поддерживали, он оставался в одиночестве. Его пламенные речи не имели никакого значения. В Законодательном собрании имеет значение не то, что говорят, но почему это говорят. Виктор Гюго совершенно не знал правил парламентской стратегии. К тому же он заучивал свои речи, а не импровизировал их и потому не мог приноровиться к реакции аудитории. Предполагая, что в определенном месте его прервут, он ожидал этого момента, и, когда этого не происходило, он как бы терял равновесие и падал в пустоту. Луи-Наполеон был не из тех, кто согласится долго иметь соратником человека невлиятельного. Неминуемо должен был произойти разрыв, и он был резким.

Для того чтобы угодить большинству католической партии, президент организовал военную экспедицию в

¹ Виктор Гюго. Речь в Законодательном собрании от 9 июля 1849 г. О нищете («Дела и речи», «До изгнания»).

² Там же.

помощь папе, против Римской республики Мадзини. Генерал Удино захватил Рим и восстановил светскую власть папского престола. Луи-Наполеон, понимая, что воинствующий клерикализм «бургграфов» не пользуется популярностью, написал своему адъютанту Эдгару Нею письмо, которое было опубликовано: он выражал желание, чтобы в Италии была восстановлена свобода и объявлена всеобщая амнистия для итальянского народа. «Знамя Франции,— писала «Эвенман»,— обеспечит процветание свободы в Италии». Пий IX, не оказав уважения своему заступнику, опубликовал буллу «*Motu proprio*» («По собственному почину»), где он утверждал абсолютизм папской власти. Тьер посоветовал примириться с этой буллой и был поддержан большинством католической партии во главе с Монталамбером. Гюго, голосовавший против предложения Тьера, обедал 16 (или 17) октября в Елисейском дворце. Было условлено, что принц заменит свое письмо Эдгару Нею (противоречащее конституции, написанное слишком властным тоном) посланием премьер-министру Одилону Барро. Тот прочтет послание в Законодательном собрании, затем Гюго выступит в его поддержку. Принц предпочитал людей действия людям принципов, отдавал предпочтение политикам перед мыслителями, но в тот день у него не было выбора. Ни один из ораторов католической партии не согласился бы принять на себя эту опасную миссию. К несчастью, а может быть, к счастью для Гюго, президент перед заседанием Законодательного собрания договорился с Барро и Токвилем о компромиссе. Пусть Барро не зачитывает послание. Вопреки истине и правдоподобию он заявит, что письмо президента и папская булла — «*Motu proprio*», по существу, выражают одну и ту же мысль. На самом же деле они были прямо противоположны. Но недобросовестность не имеет границ, и сказать можно все что угодно.

Был ли Гюго предупрежден об изменении тактики? Может быть, он и знал об этом, но отказался подчиниться новому решению? Одилон Барро, который не любил его, мог ловко поставить ему ловушку. «Я не политик,— утверждал Гюго,— я просто свободный человек». Так или иначе, но речь он произнес неполитичную. Он защищал письмо Эдгару Нею, но признал его бестактным и непродуманным (это оскорбило президента). Кроме того, он сказал, что письмо и папская

булла противоположны по содержанию, ибо у папы просили всеобщей амнистии, а он благословил «массовое изгнание» (это шокировало Одилона Барро); он советовал Ватикану понять свой народ и свою эпоху (слова эти вызвали злобный вой большинства). «Значит, вы разрешите сооружать виселицы в Риме под сенью трехцветного знамени?.. Невозможно допустить, чтобы Франция так обращалась со своим знаменем, чтобы она расточала свои деньги, деньги народа, терпящего лишения, чтобы она проливала кровь своих доблестных солдат и пошла бы на все эти жертвы впустую... Нет, я обмолвился, ради того, чтобы все это принесло нам позор...»¹

Речь была прекрасна, но никакая речь не может убедить Собрание, которое настроено определенным образом. Левая аплодировала: Гюго лил воду на ее мельницу. Монталамбер сказал, что эти аплодисменты были карой для Гюго. Последний ответил: «Ну что ж, я принимаю эту кару и горжусь ею. (*Длиительные аплодисменты на скамьях левой.*) Было время — да позволит мне господин Монталамбер сказать это с чувством глубокой жалости к нему, — когда он более достойным образом применял свое красноречие. Он защищал Польшу, как я теперь защищаю Италию. Тогда я был рядом с ним. Теперь он против меня. Это объясняется очень просто: он перешел на сторону угнетателей, а я остаюсь на стороне угнетенных...»²

Разрыв с «бургграфами» стал, таким образом, окончательным. Незамедлительно наступил и разрыв с Елисейским дворцом. Луи-Наполеон, при своей склонности к двурушничеству, не мог одобрить прямолинейности. В последний момент он решил «занять умеренную позицию», а Виктор Гюго своей неистовостью разрушил его планы. У одного были аппетиты, у другого — убеждения. Говорили, что поэт и президент обменялись резкими словами. «Эвенман» писала: «Интриги, которые плетут правые в Елисейском дворце в течение двух дней, увенчались успехом...» Другие утверждали, что Гюго потребовал себе пост министра и, не получив его, перешел в ряды оппозиции. «На это я могу ответить

¹ Виктор Гюго. Речь в Законодательном собрании от 19 октября 1849 г. Римская экспедиция («Дела и речи», «До изгнания»).

² Виктор Гюго. Ответ Монталамберу от 20 октября 1849 г. («Дела и речи», «До изгнания»).

лишь одно: никогда в моих беседах с Луи Бонапартом или с теми, кто говорил от его имени, не возникал подобный вопрос. Пусть попробует кто-нибудь представить доказательство или хотя бы тень доказательства, что это неверно...» Но никто этого не сделал.

Двадцать пятого ноября 1849 года в «Эвенман» была напечатана следующая заметка: «С понедельника, с того дня, когда происходил обед у президента, то есть за три дня до дискуссии в Собрании, господин Виктор Гюго ни разу не был в Елисейском дворце и не вел никаких разговоров с президентом Республики...» С этого времени газета не переставала осуждать президента: «Разве господин Луи-Наполеон не замечает, что его советники — плохие советники, которые стремятся заглушить в нем все благородные порывы?» В этом изменении курса нет ничего предосудительного. Сохранять преданность вероломному правителю и по-прежнему оказывать ему поддержку, меж тем как он не оправдывает возлагавшихся на него надежд, — это означало бы изменить самому себе.

Глава третья

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА И СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ (1850—1851)

Гюго был одним из тех редкостных людей, которые всегда стремятся к свободе, как к источнику всякого блага.

Ален

Годы 1850 и 1851-й — для Гюго время острых политических схваток и душевных волнений. После разрыва с Елисейским дворцом он резко выделялся в Национальном собрании среди других политических деятелей. Левые рукоплескали ему за то, что в своих речах он блестяще защищал принципы свободы, но все же не признавали его по-настоящему своим соратником; депутаты правой его освистывали, выказывали ему презрение как перебежчику и возводили на него неслыханную клевету. На своем горьком опыте он убедился, как и Ламартин, что слава и популярность недолговечны в этом мире.

Январь 1850 года:

Пять лет назад я был близок к тому, чтобы стать любимцем короля. Ныне я близок к тому, чтобы стать любимцем народа. Это-

го не будет, как не было и благосклонности короля, потому что придет время, когда резко проявится моя независимость и верность своим убеждениям, и я вызову гнев уличной толпы, как в прошлом вызывал недовольство в королевском дворце».

Луи-Наполеон с холодной расчетливостью осуществлял свой замысел. Его цель — захватить власть. Его тактика — стать главнокомандующим армии и главой полиции, то есть заменить «бургграфов» «мамелюками», всецело преданными его особе. Проводя эту операцию, он для успокоения большинства Собрания по видимости поддерживал их программу. «Необходимо, — сказал он Монталамберу, — осуществить Римскую экспедицию внутри страны». Иначе говоря, следует изгнать из школ учителей-республиканцев, как это было сделано в Риме. Луи-Наполеон бросил эту кость на съедение «бургграфам». Ведь, по существу, закон Фаллу устанавливал не свободу преподавания, а монопольное право клерикалов в деле школьного образования. Словом, союз Конгрегации с партией Золотой середины. Виктор Гюго в блестящей речи выступил против этого закона. Он внес ясный проект на всех ступенях — бесплатное обучение, обязательное на первой ступени; «общение сердца народа с мозгом Франции», отделение церкви от государства в их обоюдных интересах.

Гюго не желал упразднить религиозное воспитание, скорее наоборот: «Уничтожить на земле нужду, побуждать всех людей обратить взоры к небесам». Но он признавал религию, а не клерикализм: «О, я отнюдь не отождествляю вас, клерикальную партию, с церковью, так же как я не смешиваю омелу с дубом. Вы — паразиты церкви, вы — язва церкви... Вы не приверженцы, а схизматики религии, которую вы не понимаете. Вы режиссеры религиозного спектакля. Не впутывайте церковь в ваши дела, в ваши коварные происки, в ваши стратегические планы, в ваши доктрины, в ваши честолюбивые замыслы. Не называйте церковь своею матерью, превращая ее в свою служанку. Не истязайте церковь под предлогом приобщения ее к политике. А главное — не отождествляйте ее с собой. Поступая так, вы наносите ей вред...»¹.

В апреле 1850 года «мамелюки» Елисейского дворца предложили проект закона о ссылке за политические

¹ Виктор Гюго. Речь от 15 января 1850 г. «Свобода преподавания» («Дела и речи», «До изгнания»).

преступления и заключении в тюрьму по месту ссылки. Проект этот предварял собою составление будущих проскрипционных списков. Февральская революция отменила смертную казнь за политические преступления. Ее заменили медленной смертью.

«— Вот перед вами человек,— сказал Гюго,— осужденный особым судом... этот человек, этот осужденный, преступник — по мнению одних, герой — по мнению других, ибо в этом несчастье нашего времени... (*Громкий ропот справа.*)

— После того как правосудие сказало свое слово,— воскликнул председатель Законодательного собрания Дюпен-старший,— преступник становится преступником для всех, и героем его могут называть только сообщники! (*Одобрительные возгласы правых.*)

— Я позволю себе,— сказал Гюго,— напомнить господину председателю Дюпену следующее: правосудие объявило преступником маршала Нея, осужденного в тысяча восемьсот пятнадцатом году. В моих глазах он герой, а ведь я не его сообщник... (*Продолжительные аплодисменты слева.*)»¹.

Реплика оказала воздействие. Председатель безмолвствовал. Гюго в тот день был олицетворением возмущенной человеческой совести.

— Я знаю, господа, что каждый раз, когда мы вкладываем в слово *совесть* тот значительный смысл, который, на наш взгляд, оно имеет, это, к несчастью для нас, вызывает улыбку у весьма крупных политических деятелей. На первых порах эти великие политики еще не считают нас неизлечимыми; мы внушаем им сострадание, они согласны врачевать недуг, которым мы поражены,— совесть — и елебно противопоставляют ему государственную необходимость. А вот если мы упорствуем — о, тогда они начинают гневаться, тогда они заявляют нам, что мы ничего не смыслим в делах, что у нас нет политического чутья, что мы люди несерьезные, и... как бы мне выразиться... впрочем, скажу! Они бросают нам в лицо бранное слово, самое что ни на есть оскорбительное, какое только могут найти: они называют нас *поэтами*...²

В 1848 году во Французской республике было введено всеобщее избирательное право; «бургграфы» сожалели о прежней системе ограниченных выборов. И вот принц-президент преподнес им в подарок избирательный закон, по которому одним взмахом, посредством различных цензов, в частности ценза оседлости, количе-

¹ Виктор Гюго. Речь от 5 апреля 1850 г. «Ссылка» («Дела и речи», «До изгнания»).

² Там же.

ство избирателей сокращалось на четыре миллиона человек — за счет рабочих и представителей интеллигенции, а ответственность за эту реформу очень ловко возлагалась на комитет из семнадцати «бургграфов». Гюго, разумеется, выступил на защиту всеобщего избирательного права, считая его единственным «регулятором народной стихии», единственным способом формирования законной власти, оплотом против анархии, точкой опоры среди волнений и бурь. Он высмеял президента: экий Нума Помпилий, которому подают советы не одна, а семнадцать Эгерий. Ну хорошо, говорил он правым депутатам, вы избавитесь от четырех миллионов голосов, но «вам никуда не уйти от того, что время движется вперед, что наступил ваш последний час, что Земля вращается... Что ж, приносите народ в жертву! Нравится вам это или нет, но прошлое есть прошлое. Пытайтесь починить его расшатанные оси и ветхие колеса, запрягайте в него, если хотите, семнадцать государственных мужей. Тащите его сюда, и пусть сегодняшней день озарит его своим светом. И что же? Что окажется на поверку? Прошлое останется прошлым! Только еще яснее будет видна его ветхость, вот и все...»¹.

Против нападков Гюго большинство Собрания избрало два способа защиты: его подвергали осмеянию и ему напоминали его прошлое. Монталамбер сказал, что Гюго поддерживал все партии, а затем от всех отрекался. Он отверг это обвинение и блестяще защищался. Но тем не менее его жизни угрожала опасность. В Собрании распространились зловещие слухи. Большинство депутатов желало спровоцировать, хотя бы с помощью полиции, мятеж, для того чтобы потопить его в крови.

Случайный выстрел мог сразить любого мешающего человека. Полковник Шаррас (либерал) сказал Гюго: «Остерегайтесь». Он ответил: «Ну вот еще! Да пусть они посмеют явиться ко мне, в моей келье одни только стихи да незавершенные строфы валяются повсюду, я лишь посмеюсь над ними». Ему дружески посоветовали не выступать по поводу избирательного закона. «Ну уж нет, я непременно выступаю, а там будь что будет. Огромная сабля, которой потрясают маленькие людишки, события 93-го года, происходящие в 1850 году,

¹ Виктор Гюго. Речь от 21 мая 1850 г. «Всеобщее избирательное право» («Дела и речи», «До изгнания»).

Тьер, породивший нечто чудовищное, — это даже забавно...» Он находил, что его противники просто комичны. Он заблуждался. Они были комичны, но и страшны.

Он чувствовал бы себя более сильным в общественной жизни, будь его личная жизнь менее сумбурной и достойной осуждения. Долг, признательность, любовь, желание делали его рабом прежних привязанностей и мимолетных увлечений. Три женщины, почти три супруги — Адель, Жюльетта и Леони, — жили недалеко друг от друга, на склонах Монмартра, в тесном кругу; каждой из них он должен был уделять время и навещать одну вслед за другой, всегда рискуя встретить, когда он идет под руку с Жюльеттой, свою жену или Леони, которые подружились на почве вражды к Жюльетте, наиболее опасной сопернице.

Жюльетта, оставаясь в тени, следила за похождениями своего повелителя и «смиренно таила свою великую любовь» в глубине квартала Родье, в мрачном тупике, где она жила «в непрестанном одиночестве и скуке». Редко выпадало на ее долю счастье сопровождать своего друга в парламент или в Академию, слушать там его речи либо изредка принимать его у себя дома. Каждое утро она отправлялась посмотреть издали на два окна его кабинета — Гюго разрешил ей наконец (в 1845 г.) выходить из дому на прогулку. Она еще не знала, какую роль в его жизни играет Леониди д'Онэ, и с недоверием относилась к другим женщинам, ибо он не мог устоять перед теми, кто искал с ним близкого знакомства: кафешантанная певичка Жозефина Фавиль; светская дама госпожа Роже де Женет; Элен Госен, осужденная за воровство; поэтесса Луиза Колле; экспансивная незнакомка Натали Рену; авантюристка Лора Депрес; артистка Комеди-Франсез Сильвани Плесси; особа, именовавшая себя виконтессой дю Валлон, о которой Вьель-Кастель сказал, что «она выдала трех своих дочерей-красавиц замуж так, словно совершила хорошую коммерческую сделку»; куртизанка Эстер Гимон; быть может, Рашель. Гюго, который в дни добродетельной молодости придавал большое значение целомудрию, высказывал теперь на любовь взгляды в духе Шелли:

Любовь... Кто повелел двоим любить?
Спроси у быстрых вод, спроси у ветерка,
У опаленного свечою мотылька,

У золотых лучей, у виноградных лоз,
У взбудораженных апрелем гнезд,
У всех, кто ждет, поет и шепчет в тишине...
В смятенье сердце крикнет: — Неизвестно мне!..¹

Когда 29 апреля 1851 года умерла от апоплексического удара Фортюне Гамлен, «в смятенье сердце» кричало на все голоса. Смерть эта явилась печальным событием для Гюго, который потерял верного друга, а для Леони — катастрофой; после развода с мужем Леони нашла в лице этой умной женщины близкого друга, проводила с ней почти все вечера либо дома, либо в театре. Лишенная помощи многоопытной светской красавицы, которая с годами обрела мудрость, бывшая госпожа Биар, поразмыслив о своей судьбе, решила, что она погубила свою жизнь ради Виктора Гюго, а поэтому он должен посвятить ей большую часть своей жизни и уж по крайней мере должен ради нее пожертвовать Жюльеттой. Она не раз пыталась добиться от своего любовника этого разрыва, но всегда наталкивалась на решительный отказ.

Когда в 1849 году она стала угрожать Гюго, что все откроет Жюльетте, он грубо ее одернул.

Вчера вы очень резко сказали мне, что если я это сделаю, то такой дурной поступок лишит меня вашего уважения. Но ведь я имею право так поступить, ведь я столько страдала и так терпеливо ждала четыре года. И все же, как бы ни были несправедливы ваши слова, какое бы чувство любви вы ни проявляли к другой, я не решаюсь пойти на этот шаг, так как ваша угроза более страшна для меня, нежели смерть. Хорошо, я не поступаю так, как хотела поступить. Ценой сверхчеловеческих усилий я буду оберегать счастье и иллюзии той женщины, которую ненавижу больше всего на свете, женщины, которую я задушила бы с великой радостью, даже если мне пришлось бы отвечать за это перед богом! Женщины, в жертву которой принесено счастье моей жизни...

Леони досаждала Гюго мучительными вопросами:

Если она (Жюльетта) не пользуется правами любовницы, ей остается узнать очень немногое. Если же она имеет эти права, я в таком случае не смогу действовать иначе, чем решила. Раз вы не желаете, чтобы ей стало все известно, значит, вы предоставили ей те права, которые принадлежат мне. Я отрекаюсь от всего. Лучше умереть, нежели разделять с ней вашу любовь.. Я готова пойти на то, чтобы она оставалась *вашим другом*, а вы осмеливаетесь говорить мне, что с моей стороны будет *гадко*, если я совершу поступок, благодаря которому все встало бы на свое место! Ну хорошо, я отказываюсь от своего намерения, не будем больше гово-

¹ Виктор Гюго. Любовь («Созерцания»).

рить об этом.. Более четырех лет я нахожусь в позорном положении, так как она убеждена, что является единственной женщиной, которую вы любите.. Бог вам судья! Пусть все будет так, как вы хотите.. Я буду проводить дни своей жизни в отчаянье, но по крайней мере избавлюсь от укоров совести и не уроню свою честь. Я собрала все ваши письма. Вы можете прислать за ними.

Два года спустя настроение у Леони д'Онэ изменилось, и, вместо того чтобы отказаться от своего намерения, она нанесла удар. 29 июня 1851 года в дом № 20 по улице Родье прибыл пакет с письмами, перевязанный лентой и запечатанный печаткой Виктора Гюго, с гербом, который он сам нарисовал, и с его девизом: «Ego Hugo». В жестоком смятении Жюльетта вскрыла пакет. То был почерк обожаемого и почитаемого человека. Она прочитала письма и с ужасом узнала, что в 1844 году ее любовник любил другую женщину, писал ей страстные письма, столь же очаровательные, как и те, которые в течение восемнадцати лет были для нее единственным счастьем и честью: *«Ты мой ангел, и я целую твои ножки, целую твои глаза... Ты свет моих очей, ты жизнь моего сердца...»* Те же самые выражения, которые были и в письмах к Жюльетте. Леони сама вложила в пакет короткую записку, сообщив в ней, что любовные отношения продолжают и теперь, «что к ним относятся с уважением как в обществе, так и в доме Виктора Гюго, а посему госпожа Друэ, пожалуй, поступила бы разумно, если бы первая порвала узы дружбы, продолжать которую поэт больше не хочет и которая стала для него обузой...». Нельзя вообразить ничего более ужасного в жизни женщины, посвятившей себя единственной любви, нежели это доказательство постоянного предательства, скрываемого в течение семи лет! Жюльетта вышла из своего дома вся в слезах, близкая к помешательству, весь день она бродила по Парижу и возвратилась только вечером, разбитая спасительной усталостью. Она надеялась, что появится Виктор, и решила после необходимых объяснений уехать к своей сестре в Брест.

Гюго ничего не отрицал, умолял Жюльетту простить его и пообещал отвергнуть ее соперницу. Но при этом он расхваливал красоту и образованность госпожи д'Онэ и дал понять, что к ней уважительно относились и его жена, и сыновья; все это еще более усилило горе Жюльетты. Она была слишком горда для того, чтобы принять любовь, которая окажется жертвой с его стороны.

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 28 июля 1851 года:

Во имя всего самого святого для тебя, во имя моей глубокой скорби, друг мой, не проявляй ложного великодушия, не наноси рану собственному сердцу, желая избавить меня от страданий. Сколь бы ни была искренна твоя жертва, она не введет меня надолго в заблуждение, и я никогда не прошу себе, что поддалась иллюзии и пожертвовала твоим счастьем... Господи Боже, если ты считаешь, что я достаточно искупила то, что невольно совершила преступление, появившись на свет, жалься надо мной, жалься надо мной, Господи, избавь меня от последней капли горечи, не дай мне увидеть, как по моей вине страдает человек, которого я люблю больше всего на свете, который мне дороже моего счастья, дороже даже райского блаженства; пусть он будет счастлив с другой, нежели несчастлив со мною. Господи, будь милостив, молю тебя, пусть он свободно решит, как ему поступить, вложи в его сердце истинное великодушие, истинное чувство долга, даруй ему истинное счастье, и я благословляю свою судьбу, безропотно приму свой удел.

Началось соперничество в великодушии. Когда Жюльетта после печальных размышлений заговорила о разрыве, Гюго, как и все мужчины в подобных случаях, попросил пожалеть его. Он сослался на бессонницу, на болезнь горла, его тревожила судьба сыновей, преследуемых правительством. Тень Леони, роковой женщины с детским лицом, витала над ним при этом состязании в самопожертвовании.

Жюльетта — Виктору Гюго, 30 июля 1851 года:

«Я благодарна этой женщине за то, что она была столь беспощадна, приведя доказательства твоей измены. Она по самую рукоятку возила в мое сердце кинжал, показав, какое чувство обожания ты питал к ней в течение семи лет. Это было цинично и жестоко с ее стороны, но вместе с тем и честно. Эта женщина успешно выполнила роль моего палача. Все удары отличались точностью...»

Две женщины, влюбленные в одного и того же мужчину, ненавидят, но и вместе с тем и уважают друг друга за фанатизм в любви.

Так как поэт и Жюльетта были и оставались романтиками, так как он провозглашал право на страсть, очень искусно придавая своим любовным утехам некий мистический характер, и так как он умел, когда хотел этого, быть «веселым, легким, ласковым и обаятельным». Жюльетта, вновь очарованная, согласилась, чтобы они вдвоем провели «испытательный срок», после которого Гюго должен определить свой выбор. На это отводилось четыре месяца (начиная с фатального дня 29 июня), что обеспечивало герою драмы приятный период отсрочки, в течение которого он мог свободно

встречаться с обеими женщинами. Леони предъявляла свои права, Жюльетта «придавала значение только любви».

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 9 сентября 1851 года:

Я счастливее той особы, которая писала тебе вчера, мой любимый: я не предъявляю никаких прав на тебя, и девятнадцать лет моей жизни, которые я отдала тебе, не стоят даже капли твоего покоя, счастья, уважения.

22 сентября 1851 года:

До сих пор не могу понять, что могло тебя заставить отказаться от женщины, которую ты находишь очаровательной, молодой, одухотворенной, возвышенной, женщины, любовь которой, верность и преданность не вызывают в тебе сомнения, отвергнуть ее из-за какого-то жалкого создания, не идущего с нею ни в какое сравнение... Ради такого ничтожества ты, человек справедливый, добрый по натуре, великодушный, человек высокого ума, намерен отвергнуть бедную молодую женщину, которая любит тебя до смерти и за семь лет близости приобрела права на тебя, у которой есть и настоящее и будущее, — неужели ты можешь всем этим пренебречь ради несчастного существа, которое плачет горькими слезами, думая о своем прошлом, и удел которой — неизбывное отчаянье, в настоящем и в будущем.

Нужно было чувствовать себя еще достаточно сильной, чтобы так разговаривать с Гюго. Для Гюго же испытание состояло в том, что он должен был «привести обеих женщин по всяческому мосту любви, чтобы испытать его прочность», — то было сладостное покаяние. По утрам он работал в своем кабинете, а в это время Жюльетта переписывала у себя дома «Жана Вальжана», затем она встречалась с Гюго на паперти собора Нотр-Дам-де-Лорет и сопровождала его, когда он ходил по своим делам. Обедал он дома в кругу семьи, вечер проводил с Леони, о чем на следующий день рассказывал Жюльетте с обидным для нее оживлением. Испытание должно было длиться четыре месяца, однако судьба распорядилась иначе, заставив Гюго принять решение ранее назначенного срока, оказав на него воздействие косвенным путем, подчинив его непредвиденным обстоятельствам.

Для Гюго наступил тогда исключительно трудный момент в его общественной деятельности. С февраля 1851 года он стал выступать в Законодательном собрании не только против правительства, но и против самого Луи-Наполеона. «Голосуя за Наполеона, мы не имели в виду былой славы Наполеона, мы голосовали за человека, зрелого политика, сидевшего в тюрьме, писавшего

замечательные книги в защиту бедных классов... Мы возлагали на него надежды. Мы обманулись в своих надеждах...»¹

Он признавался, что долго не решался выступить за Республику. Затем, видя, что ее «предательски схватили, связали, сковали, заткнули ей кляпом рот», он «склонился перед ней». Ему говорили: «Берегитесь, вы разделите ее судьбу». Он отвечал: «Тем более! Республиканцы, расступитесь, я хочу встать в ваши ряды». Разве это только слова? Разве это сказано назло врагу? В какой-то мере, возможно, и так, но прежде всего тут отвращение к «имущим классам», бесстрашие перед опасностью и святой гнев. У ворот Бурбонского дворца уже звякали солдатские штыки. Законодательное собрание готовилось покончить жизнь самоубийством. Оно терпело кабинет министров, составленный из «мамелюков»; оно передало принцу-президенту все рычаги управления. Собрание знало, что этот авантюрист, лишенный права быть избранным вторично, вот-вот совершит государственный переворот, и оно допустило, чтобы он отстранил Шангарнье от командования войсками, тогда как только Шангарнье мог защитить Собрание. «Кого захочет погубить Юпитер, того он разума лишает...» Законодательное собрание уже давно дошло до состояния безумия.

Окружение президента, предводители его шайки желали совершить переворот силой. Луи-Наполеон одобрительно относился к этому замыслу, но боялся рисковать, не будучи уверенным в полном успехе. Ему нужно было посадить префектом полиции своего человека — Мопá, военным министром — Сент-Арно, губернатором Парижа назначить Маньяна. Выжидая момента, когда будут выполнены его предписания, он вел переговоры, пытаясь разрешить проблему законным путем: добиться пересмотра конституции, с тем, чтобы обеспечить за собой власть на десять лет и установить гражданский статут, достойный статута императора. Ведь его дядя шел именно по этому пути. Всем было известно, что он вел страну к Империи. Но для того чтобы пересмотреть конституцию, заговорщики должны были получить в Законодательном собрании две трети голосов. А ведь многие роялисты возлагали надежды на

¹ Виктор Гюго. Речь от 6 февраля 1851 г. («Дела и речи», «До изгнания»).

1852 год. Луи-Наполеон требовал от Собрания миллионы франков и продления полномочий на годы. Тьер отвечал: «Ни одного су, ни одного дня». Разрыв стал неминуем.

Семнадцатого июля Виктор Гюго решительно выступил против пересмотра конституции, и правые вели себя во время его речи издевательски. Шум, хохот, оратора прерывали — все было пущено в ход против великого писателя. Бесспорно, он осудил тогда как принцип наследственной, «легитимной» монархии, так и «монархию славы», как называли бонапартисты Империю.

Вы говорите — «монархия славы». Вот как! У вас есть слава? Покажите нам ее! Любопытно, о какой славе может идти речь при таком правительстве!.. Только потому, что жил человек, который выиграл битву при Маренго и потом взшел на престол, хотите взойти на престол и вы, выигравший только битву при Сатори!.. Как? После Августа — Августу! Как? Только потому, что у нас был Наполеон Великий, нужно, чтобы мы имели Наполеона Малого? ¹

Впервые в Законодательном собрании осмелились произнести такие слова. Этот гневный протест, разумный по существу, смущал стыдливых заговорщиков, ведь монархисты, такие, как Монталамбер, тайно примкнули к Империи. Левые аплодировали, правые горланили. Шум стоял «невыразимый», как сообщал об этом «Монитор». Один из представителей правых подошел к подножию трибуны и заявил:

— Мы не желаем больше слушать эти рассуждения. Дурная литература ведет к дурной политике. Мы протестуем во имя французского языка и во имя французской трибуны. Отправляйтесь с вашими речами в Порт-Сен-Мартен, господин Виктор Гюго.

— Вам известно мое имя, — воскликнул Гюго, — а я вот не знаю вашего. Как вас зовут?

— Бурбуссон.

— Это превосходит все мои ожидания. (Смех.)

Проект пересмотра конституции был отвергнут. Так как легальный путь был закрыт, подражатель Наполеона загорелся желанием совершить насильственный переворот. Если это ему удастся, то, как говорил когда-то генерал Мале, его поддержит вся Франция, измученная парламентскими распрями. Гюго, ставший на сторону

¹ Виктор Гюго. Речь в Законодательном собрании от 17 июля 1851 г. «Пересмотр конституции» («Дела и речи», «До изгнания»).

обреченной Республики, не боялся навлечь на себя бедствия. Неправедное правосудие тотчас подвергло преследованию редакторов «Эвенман». Франсуа-Виктора Гюго приговорили к девяти месяцам тюрьмы, на такой же срок приговорили Поля Мериса, Огюста Вакери — на шесть месяцев (Шарль Гюго уже был в это время за решеткой). Газета «Эвенман» была запрещена, но стала выходить новая газета — «Авенман дю Пёпль». Виктор Гюго ежедневно навещал своих сыновей и своих друзей, заключенных в тюрьму Консьержери. Он пил с ними красное вино, купленное в лавке для арестантов. Вскоре, несомненно, наступит и его черед. Впереди — *«крестный путь и терновый венец»*. В этом образе он находил горестное утешение. С одной стороны, это освобождало его совесть «от угрызений, вызываемых рабством, которое он терпел с отвращением», с другой — «мысль об изгнании уже давно занимала его воображение». Много раз мотив изгнания, то грустный, то торжественный, был лейтмотивом его жизни: Лагори — изгнанник, Эрнани — изгнанник, Дидье — изгнанник, Наполеон Великий — изгнанник. *«О, не изгоняйте никого, изгнание — бесчестье!»* Для обыкновенных смертных — это истина, но для поэта-мечтателя не является ли изгнание освобождением, уходом, способом разрешения проблем, величественным и романтическим, столь привлекательным для него?

Нужно было все кончить и в личной жизни. Испытание чувств завершилось в пользу Жюльетты. Леони д'Онэ, развенчанная за свой проступок, утратила свои позиции. Любовь Жюльетты была более драматичной. Паломничество к могилам усопших. Клятва в вечной верности во имя двух ангелов-хранителей (Леопольдины и Клер). Тайные свидания с Жюльеттой на улице Тур-д'Овернь, поцелуи и ласки почти на глазах у супруги. «Я не виню тебя ни в чем, я лишь полна к тебе любви. Если мой образ померк в твоём воображении, я не хочу этого видеть, мое сердце всецело заполнено тобой...» Осенью, с 20 по 24 октября, было совершено паломничество в лес Фонтенбло: «Мое сердце покрылось опавшими листьями моих иллюзий. Но я чувствую, как сок жизни течет по моим жилам, он поднимается в ожидании тебя, чтобы появилось яркое цветение». Вслед за тем возникли великолепные стихи Виктора, посвященные Жюльетте:

Пускай к тебе придет — на смену горьких лет —
Заря — сестра ночей, любовь — скорбей сестра.
Пускай сквозь тьму пробьется свет,
Сквозь плач — улыбка — луч добра...¹

И наконец, письмо от 12 ноября 1851 года, достойное стиля Жюли де Леспинас.

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго:

«Я преисполнена истинной любви, и поэтому во мне нет ни капельки эгоизма. Я собираю свое счастье по зернышкам, где бы ни находила их: на всех углах улиц и в канавах, днем и ночью, я его оберегаю и молю о нем бога во весь голос с душераздирающей настойчивостью; я протягиваю руку, и мое сердце ждет хоть малого подаяния от вашего милосердия, я бесконечно вам благодарна за него, каким бы способом вы ни оказывали его мне. Мое достоинство и моя гордость состоят в том, чтобы любить вас больше всего на свете; без хвастовства могу сказать, что достаточно преуспеваю в этом. Мое честолюбие выражается лишь в том, что я хотела бы умереть ради вас...»

Леони д'Онэ не проявляла такой сердечности. Великая любовь победоносно выдержала испытание. Судьба ускорила развязку.

Глава четвертая МУЖЕСТВЕННЫЕ ЛЮДИ

Страна, которая может быть спасена только каким-нибудь героем, не сможет долго так существовать, даже при помощи этого героя; более того, она не заслуживает, чтобы ее спасали.

Бенжамен Констан

В декабре 1851 года государственный переворот стал неизбежным. Луи-Наполеон хотел сохранить власть, банда сообщников решила его поддержать. Но не для того, чтобы восторжествовали какие-либо идеи или мнения, — хозяин и его подручные поставили перед собой единственную цель: пожить на широкую ногу, и притом как можно дольше. Законодательное собрание отказало им в дотации и в продлении полномочий президента. Оставалось одно — прибегнуть к силе. А сила у них была. Армия повинует приказам, а Собрание своим безумным решением подчинило командующего парижским гарнизоном президенту. Кто же стал бы защищать свободу? Монархисты? Выборы, предстоящие в

¹ Виктор Гюго. Созерцания. XXIV.

мае 1852 года, внушали им страх. Народ? Июньские дни отделили его от либеральной буржуазии. Начиная с осени 1851 года заговорщики безнаказанно могли совершать государственный переворот. Но военный министр Сент-Арно советовал подождать, пока в Париже соберутся все члены Национального собрания, и тогда арестовать их ночью, вытащив из постелей. К тому же 2 декабря — годовщина Аустерлица и день коронации Наполеона — были для бонапартистов особо торжественны. Они избрали именно этот день.

Гюго понимал, что ему грозит опасность. Сыновья его были в тюрьме. Верная Жюльетта ловила слухи, чтобы не пропустить «момент государственного переворота», и была поглощена мыслью, как спасти своего возлюбленного. 2 декабря Гюго проснулся в восемь часов утра и, лежа в постели, писал стихи. С испуганным видом вошел слуга.

— Представитель народа пришел... Хочет поговорить с вами.

— Кто такой?

— Господин Версиньи.

— Просите.

Версиньи, мужественный и проникательный человек, вошел и рассказал следующее: Бурбонский дворец был оцеплен ночью, квесторы арестованы, председатель Законодательного собрания Дюпен оказался трусом, прокламация, извещавшая о государственном перевороте, расклеена на всех углах. Депутаты, решившиеся оказать сопротивление, должны собраться на улице Бланш, 70, в доме баронессы Коппен.

В то время как Гюго поспешно одевался, пришел безработный столяр-краснодеревщик Жирар, один из тех, кому он помогал. Жирар побывал на улицах. Гюго спросил его:

— Что говорит народ?

Народ безмолвствовал. Люди читали прокламации и шли на работу. Какие-то господа, находившиеся возле каждого плаката, объясняли:

— Реакционное большинство разогнано.

Прохожие удивлялись. Гюго сказал:

— Начнется борьба.

Затем он вошел в комнату жены, она, лежа в постели, читала газету. Гюго объяснил, что происходит. Она спросила:

— Что ты собираешься делать?

— Исполню свой долг.

Она поцеловала его и сказала:

— Иди!

Она держалась мужественно, а ведь у нее два сына сидели в тюрьме, и государственные перевороты не щадят женщин. Однако Адель всегда отличалась смелостью.

В доме № 70 на улице Бланш Гюго встретил Мишеля де Буржа и других депутатов, среди них Бодэна и Эдгара Кине. Вскоре гостиная заполнилась народом. Гюго говорил первым, предложив сейчас же начать уличную борьбу, на удар ответить ударом. Де Бурж был против.

— Теперь не 1830 год, — сказал он. — Выступившие тогда депутаты — двести двадцать один человек — действительно являлись представителями народа. Сейчас Законодательное собрание непопулярно.

Необходимо дать народу время, чтобы он разобрался. Гюго, как всегда, хотел верить лишь собственным глазам. Он направился к бульварам. Около заставы Порт-Сен-Мартен собралась огромная толпа. На бульвар вступила колонна пехоты во главе с барабанщиками. Один из рабочих узнал Гюго и спросил, что нужно делать.

— Срывайте крамольные прокламации о государственном перевороте и кричите: «Да здравствует конституция!»

— А если в нас будут стрелять?

— Вы прибегнете к оружию...

Раздались громкие возгласы:

— Да здравствует конституция!

Один из друзей Гюго, пришедший с ним, убеждал его быть благоразумнее и не давать солдатам Луи-Наполеона повод расстреливать толпу.

Он возвратился на улицу Бланш, рассказал обо всем своим коллегам и предложил опубликовать немногословную прокламацию. Десять строк. Он продиктовал: «*К народу*: Луи-Наполеон Бонапарт — предатель. Он нарушил конституцию. Он — клятвопреступник. Он вне закона... Пусть народ выполнит свой долг. Республиканские депутаты пойдут во главе народа...»¹. Полиция следила за домом. Депутаты перешли в другое место — к Лафону, в дом № 2 по улице Жемап. Был избран комитет из левых представителей Законодатель-

¹ Виктор Гюго. История одного преступления.

ного собрания: Карно, Флот, Жюль Фавр, Мадье де Монжо, Мишель де Бурж, Гюго. Кто-то предложил назвать его Комитетом восстания...

— Нет,— сказал Гюго,— Комитет сопротивления. Мятежник — это Луи Бонапарт.

Вскоре Прудон вызвал Гюго на улицу и сказал ему:

— Как друг я должен вас предупредить. Вы заблуждаетесь. Народ в стороне от борьбы. Он не шевельнется.

Гюго отстаивал свою позицию. Он хотел, чтобы борьба началась уже на следующий день. Наступила полночь. Куда идти? Молодой человек, Роельри, предложил ему ночлег. Госпожа Роельри уже спала, но она встала, чтобы принять его, «восхитительная блондинка, бледная, с распущенными волосами, в капоте, очаровательная, свежая, взволнованная событиями, но, несмотря на это, любезная». Как только в дело вступала женщина, он и в опасности находил нечто романтическое. Ему приготовили постель на слишком коротком диване. Ночью он почти не спал. Рано утром направился к себе. Изидор, его слуга, воскликнул:

— Ах, это вы, господин Гюго? Сегодня ночью приходили, хотели вас арестовать!

Третье декабря было днем баррикад. Бодэн погиб на баррикаде, произнес знаменитые слова: «Вы сейчас увидите, как умирают за двадцать пять франков». Депутаты, еще находившиеся на свободе, приняли декрет, где было сказано, что его заслуги перед родиной велики и он будет погребен в Пантеоне. Нужно отметить, что эти депутаты рисковали своей головой. В то время как Гюго на площади Бастилии в пламенной речи убеждал группу офицеров и полицейских, к нему подошла Жюльетта, не оставлявшая его в эти дни. Сжав его руку, она сказала:

— Вы добьетесь того, что вас расстреляют.

Четвертое декабря, решающий день, стало днем массовых убийств. Сопротивление, оказанное буржуазно-либеральными кругами, было жестоко подавлено. В Париже погибло не менее четырехсот человек. Гюго утверждал, что убито было тысяча двести человек; Вьель-Кастель говорит, что две тысячи. Для цензуры очень просто — дать ложные сведения о количестве жертв подавленного вчера восстания. Как во времена «белого террора», «ультра» требовали от президента

«не проявлять милосердия и жалости, быть несгибаемым, изваянным из бронзы» и пройти наш век с «карающим мечом в руке». В этом кровавом хаосе Жюльетта непрестанно следила за Гюго. Было что-то патетическое и возвышенное в этой женщине, еще красивой, но поблекшей и уже седой, женщине, которая повсюду следует за любимым человеком, чтобы в нужный момент броситься вперед и грудью заслонить его от пули. Подвергаясь опасности, она теряла его и вновь находила. «Госпожа Друэ делала все, всем жертвовала для меня,— пишет Виктор Гюго,— благодаря ее поразительной преданности я остался в живых в декабрьские дни 1851 года. Я обязан ей жизнью». Восемь лет спустя, в 1860 году, на корректурных оттисках «Легенды веков», которые Гюго подарил Жюльетте, он написал в качестве посвящения:

Если я не был схвачен, а затем и расстрелян, если я жив и поныне,— этим я обязан Жюльетте Друэ, которая, рискуя собственной жизнью и свободой, ограждала меня от преследований, опасностей, неустанно оберегала меня, всегда умела подыскать для меня надежное убежище и спасла меня, проявив такую исключительную находчивость, рвение, героическую храбрость, о которых один Господь Бог знает, и он вознаградит ее! Она бодрствовала днем и ночью, одна бродила во мраке по парижским улицам, обмывала часовых, сбивала со следа шпионов, бесстрашно переходила бульвары во время перестрелки, постоянно угадывала, где я нахожусь, и, когда речь шла о моем спасении, всегда находила меня...

Она не желает, чтоб об этом говорили, но тем не менее необходимо, чтобы эти факты были известны.

Шестого декабря Жюльетта привела его в дом № 2 по улице Наварен, к госпоже Саразен де Монферье, с которой она познакомилась в Метце. Супруги Монферье, люди крайне правых взглядов, пять дней укрывали у себя мятежника. Отыскав для него это надежное убежище, Жюльетта приносила ему туда сытный ужин и все необходимые вещи.

Виктор Гюго — Жюльетте Друэ, 31 декабря 1851 года:

Как ты была прекрасна, дорогая Жюльетта, в те жестокие и мрачные дни! Если я жаждал утешения.. ты озаряла меня любовью, да благословит тебя Бог! В опасные дни, когда давали мне приют добрые люди, после тревожной ночи, я слышал, как тихо щелкает ключ и ты отпираешь мою дверь, и мне казалось тогда, что уже опасности больше не существует, что мрак исчез, что свет проник в мою комнату. О, мы никогда не забудем это страшное и вместе с тем чудесное время, когда ты находилась около меня в перерывах между сражениями. Всю жизнь мы будем вспоминать эту маленькую полутемную комнату, старые ковры на

стенах, два кресла, поставленных рядом, ужин на уголке стола (ты приносила мне холодного цыпленка), беседы, такие нежные, твои ласки, твоё волнение, твою преданность. Ты удивлялась тогда моему безмятежному спокойствию. Знаешь ли, кто вселял в меня это безмятежное спокойствие? Это ты...

Однако надо было покинуть страну. Человек, преданный Жюльетте, Жак-Фирмен Ланвен, отправился в полицейскую префектуру, чтобы получить паспорт для поездки в Бельгию, где он якобы собирался работать в типографии Лютеро. Именно с этим паспортом Виктор Гюго в четверг 11 декабря уехал из Парижа с Северного вокзала, под именем «Ланвена (Жака-Фирмена), наборщика книжной типографии, проживающего в Париже по улице Женер, дом № 4, сорока восьми лет от роду. Рост — 170 см. Волосы — седеющие. Брови — каштановые. Глаза — карие. Борода — седеющая. Подбородок — круглый. Лицо — овальное». На пассажире был чёрный картуз рабочего и широкий темно-синий плащ. Можно ли было узнать его? А что, если его и не хотели узнать? Кто скажет? Несомненно лишь то, что во время мятежа его намеревались арестовать. Адель, младшая дочь Гюго, в письме к отцу сообщала об «ужасной ночи, когда пришли за тобой». Но его исчезновение было менее опасным для режима, нежели его преследование.

Госпожа Гюго лежала больная и не могла принять участие в борьбе. Вместе со своей дочерью она каждую минуту ждала прихода полиции, тщательно оберегала все то, что было оставлено на её попечение, и не переставала сообщаться «со своими дорогими узниками»: Шарлем, Франсуа-Виктором и Огюстом Вакери. Трудно поверить, но в самый разгар борьбы Вакери мог ещё отправлять ей письма через рассыльного тюрьмы Консьержери:

Мы полны надежд и чувствуем себя хорошо. Сообщите о себе. Уже два часа, а мы ещё не получали от вас никаких вестей. Не выходите из дому. Переселитесь ко мне либо ещё куда-нибудь. В письмах не называйте имени вашего мужа. Если что-либо о нём узнаете, напишите так: «У нас все благополучно». Мы ведь не знаем, кому попадают в руки наши письма. Мы читаем газеты, но, так как выходят лишь правительственные газеты, мы не знаем, чему верить. Сообщайте нам о себе почаще. Единственное, о чём мы тревожимся, — это ваше положение. О нас не беспокойтесь. Ваш на всю жизнь...

Четыре часа...

Перестрелка приблизилась. Дерутся на площади вокруг нас. Народ захватывает все большую территорию. Мы в безопасно-

сти за толстыми стенами тюрьмы. Надеюсь, что вам тоже не угрожает опасность. К нам привезли человек пятьдесят раненых и арестованных. Они размещены в большом коридоре, который тянется от канцелярии до наших камер. Только не выходите на улицу! Я больше всего беспокоюсь о вашей безопасности. Попробуйте через рассыльного сообщить нам о себе, чтобы мы знали, что с вами происходит. *Ваш О.*

Как видно, в тюрьме Консьержери режим был не очень строгий.

Двенадцатого декабря Виктор Гюго прислал письмо своей жене и сообщил адрес: *Брюссель. Господину Ланвену. До востребования.* Письмо было адресовано: *Париж, улица Тур-д'Овернь, дом № 37, госпоже Ривьер.* То была хитрость, шитая белыми нитками.

Адель — Виктору Гюго, 13 декабря 1851 года:

Дорогой друг, мы поем Осанну! Радуюсь письму, которое я получила благодаря Всевышнему!.. Никакого обыска у нас не было. Обыск был лишь на улице Лаферьер, что привело в сильное волнение нашу бедную старушку. Я буду в точности выполнять все твои указания, но ты не беспокойся: пока я жива, все в твоём доме будет в полной сохранности...

«Бедная старушка» — зашифрованное имя Леони д'Онэ. Итак, Адель заботилась о ней, но вместе с изгнанником в Брюсселе находилась Жюльетта, блестяще выдержавшая испытание огнем.

Виктор Гюго — своей жене, 31 декабря 1851 года:

Истекший год завершился великими испытаниями для всех нас: два наших сына в тюрьме, я в изгнании! Это жестоко, но хорошо. Заморозки не вредят жатве. Что касается меня, то я благодарю Бога. Завтра Новый год, меня не будет с вами, я не смогу обнять вас, мои дорогие, любимые мои. Но я буду думать о вас. Всем сердцем я буду с вами... Я окружен теми же лицами, что и в Париже. Сегодня утром у меня собрались бывшие наши депутаты и бывшие министры. Бедный мой дорогой друг, нежно целую тебя и моих дорогих детей. Шлю вам свою преданную любовь. На прилагаемом письме напиши на конверте адрес: «*Бордо. До востребования. Госпоже д'Онэ*» — и вели опустить его в почтовый ящик.

Откровенное письмо, почти ликующее. «Ибо радость — плод могучего древа скорби». С первых же дней изгнания он был уверен в конечной победе. Во Франции новый правитель казался в то время непобедимым, но поэт уже тогда возвещал, что его торжество не будет долговечным:

Все кончится. Как сон дурной пройдет...
И с облегчением вздохнет народ
И скажет: «Больше нет его!»

СОДЕРЖАНИЕ

✓ ОЛИМПИО, или ЖИЗНЬ ВИКТОРА ГЮГО. Роман. Перевод Н. Немчиновой (части I—V) и М. Трескунова (части VI—VII) 6

Моруа А.

М 79 Собр. соч. в шести томах. Том 5. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. Части I—VII. Роман: Перев. с фр. / Сост. и общ. ред. М. Ваксмахера.— М.: Пресса, 1992.— 352 с.
ISBN 5—253—00564—1

Пятый том Собрания сочинений Андре Моруа «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго» посвящен великому французскому писателю-романтику, оставившему свой неповторимый след в истории мировой литературы.

4703010101—2710
М 080(02)—92 2710—92 84. 4 Фр.

Литературно-художественное издание

МОРУА Андре

Собрание сочинений в шести томах

Том пятый

ОЛИМПИО, или ЖИЗНЬ ВИКТОРА ГЮГО

Части I—VII

Составитель

Морис Николаевич Ваксмахер

Редакторы С. А. Суркова, Г. Ф. Фролова

Оформление художников А. В. Лепятского, Л. В. Брылева

Художественный редактор Л. В. Брылев

Технический редактор К. И. Заботина

ИБ 2710

Сдано в набор 11.12.91. Подписано к печати 21.02.92. Формат 84×108^{1/32}. Гарнитура «Академическая». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 19,11. Уч.-изд. л. 20,67. Тираж 770 000 экз. (2-й завод: 251 000—500 000). Заказ 419. Цена 10 руб.

Набрано и сматрицировано в типографии издательства «Пресса», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Советская Сибирь», 630048, г. Новосибирск, 48. ул. Немировича-Данченко, 104.

